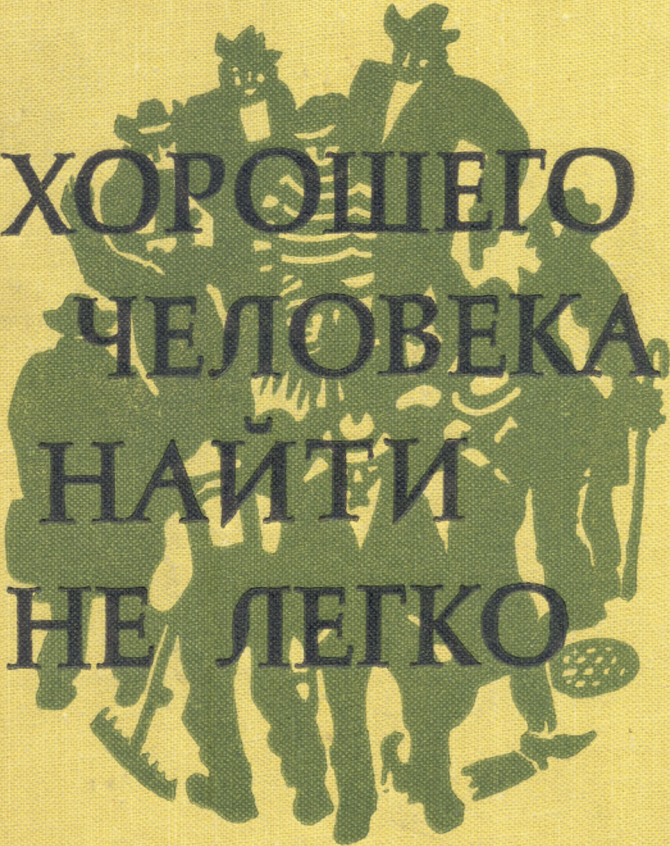


ФЛАННЕРИ
О' КОННОР



ХОРОШЕГО
ЧЕЛОВЕКА
НАЙТИ
НЕ ЛЕГКО



ФЛАННЕРИ
О' КОННОР

ХОРОШЕГО
ЧЕЛОВЕКА
НАЙТИ
НЕ ЛЕГКО

Рассказы



Издательство «Прогресс» Москва 1974

Составитель *А. Зверев*

Предисловие *М. Тугушевой*

Редакторы *Е. Калашникова и М. Лорие*

Рассказы, включенные в настоящий сборник,
изданы на языке оригинала до 27 мая 1973 г.

© Издательство «Прогресс», 1974

© Перевод на русский язык «Прогресс», 1974

$\frac{7-3-4}{105-74}$

ГРОТЕСКИ ФЛАННЕРИ О'КОННОР

Признание пришло к ней после опубликования первого же рассказа. Ее необыкновенный талант покорял и критиков и читателей. Конечно, не всех. Те, кто привык к более оптимистическому взгляду на вещи и обязательному «счастливному концу», находили, что повеллы и романы Фланнери О'Коннор, пожалуй, слишком мрачны. Иных из любителей эксцентрической прозы не удовлетворяла строгая простота и доступность ее стиля. Некоторые наивные души жаловались на Фланнери О'Коннор самой Фланнери О'Коннор и получали краткую, но весьма язвительную отповедь.

Фланнери О'Коннор родилась в 1925 году в г. Саванне, штат Джорджия. В 1964 году, тридцати девяти лет, она умерла от тяжелого недуга в больнице городка Милледжвилля, того же южного штата. Джорджию О'Коннор покидала лишь несколько раз, и ненадолго: учеба на писательских курсах Университета Айовы, поездка в Нью-Йорк, в Коннектикут, паломничество в Лурд.

Ее творческое наследие — два романа: «Мудрая кровь» (1952), «Яростные разрушают» (1962) и два сборника рассказов: «Хорошего человека найти не легко» (1958) и, вышедший посмертно, «На вершине все тропы сходятся» (1964). Ей же принадлежат несколько статей о назначении писателя и литературном мастерстве, ранее прочитанных как лекции на писательских симпозиумах и в женских колледжах Юга, а впоследствии опубликованных в критических сборниках. Действие произведений писательницы проходит в родной Джорджии и в граничащем с ней штате Теннесси. Джорджия была для нее тем же миром, что и округ Йокнапатофа у Фолкнера. Фланнери О'Коннор всегда считала, что успех ей сопутствовал потому, что пишет она о местах и нравах, хорошо ей известных.

С самого начала литературного пути у писательницы была тщательно продуманная и блестяще проверенная на практике эстетическая система, свой мир образов, который жил по предустановленным ею самой законам. Это не означает, конечно, что ее творчество лишено корней в родной американской литературе. Напротив, корни, питающие его, уходят в глубинный пласт традиции. Любимый писатель Фланнери О' Коннор — американский

романтик XIX века Нэтэниел Готорн. Из писателей США XX века О'Коннор в какой-то мере близок Шервуд Андерсон, создатель образов «гротескных людей».

Но есть корни и более локальные. Фланнери О'Коннор — «южная» писательница. И по месту рождения, и некоторыми элементами мировоззрения она принадлежит литературной школе американского Юга, из которой вышли У. Фолкнер, Э. Колдуэлл. Писатели послевоенного поколения Карсон Маккаллерс и Трумен Капоте. Значительное влияние на формирующиеся взгляды О'Коннор оказало знакомство с писателями-южанами Р. П. Уорреном, Алленом Тейтом и Кэролайн Гордон.

В конце 20-х годов Уоррен и Тейт входили в литературную группировку «Нэшвиллских беглецов». Они считали своим долгом поддерживать южный, в их понимании «патриархальный», образ жизни против так называемого «северного» или «механизированного». Неслучайно властителем дум «Беглецов» был поэт Т. С. Элиот. Характерная элиотовская мрачная неприязнь к буржуазному миру особенно импонировала «Беглецам» и укрепляла их неприязнь Севера.

Впоследствии, в 50-х годах, Аллен Тейт отмечал, что целью «Беглецов» была не только борьба против трансформации Юга по северному образцу, но и создание «христианского единства», которое объединило бы всех южан на основе веры и стойкого сопротивления технической «цивилизации».

Идеал «христианского единства», противопоставление эмоции рассудочному началу, недоверие к науке, как спутнику разрушительного буржуазного прогресса, войдут существенными компонентами и в мировоззрение Фланнери О'Коннор. определяют некоторые основные тенденции ее творчества. Большую роль в отношении писательницы к окружающему миру сыграет и ее католицизм.

В ее родных местах, в так называемом «библейском», то есть протестантском, «поясе» страны, католицизм — религия не только чуждая, но и враждебная. В цитадели пресвитериан, методистов, фундаменталистов, баптистов, евангелистов, ревивалистов и других сект вера в бога — это постоянное, воображаемое единоборство с «сатаной», предощущение неумолимой и страшной, как адское пламя, вечности. Вот почему в творчестве О'Коннор такое обилие персонажей, которые живут и священнодействуют в духе библейских пророков. Среди них есть и христолюбцы и христорборцы, усомнившиеся, бросающие вызов Христу, требующие, чтобы он засвидетельствовал свою божественность, — таковы герой романа Ф. О'Коннор «Мудрая кровь» Хейзел Моутс и Изгой («Хорошего

человека найти не легко»). Все эти «герои» с их страстью пророчествовать, тягой к мессианству гротескны и образ их действий тоже необычен и гротескен. Нельзя не заметить, что именно гротеск ярче всего выявляет приверженность писательницы к определенной «готорновской» и «андерсоновской» традиции. Готорн любил изображать человека, находящегося в невероятной ситуации, совершающего немислимые, эксцентричные поступки. В основе гротеска у Ф. О'Коннор, как и у Готорна, тоже лежит «странное», но это странное находится в глубокой, иногда потаенной, но тем не менее всегда реальной связи со «странностями», отклонениями от нормы в окружающем мире (что сближает Ф. О'Коннор с такими мастерами гротеска, как Андерсон, Фолкнер и Колдуэлл). Природа гротеска определяется в их творчестве все возрастающей аномалией, ущербностью человеческого характера в буржуазном обществе.

«Евангелический» пыл бесноватых страсотерпцев не просто колоритный материал для писательницы. Ее многоликие, разнообразные гротески и образ их действий — эмоциональный заряд, посылаемый писательницей в толщу равнодушия и апатии читателя. Этот заряд должен вернуть читателю утраченное представление о настоящих ценностях человеческого существования; для Фланнери О'Коннор это — любовь и участие к ближнему (настоящая любовь, а не «легкое сочувствие»), сознание братства с людьми, бескорыстие, смирение. Но чтобы «заряд» дошел по назначению, Ф. О'Коннор прибегает к своеобразной «шоковой терапии». Надо равнодушного заставить ужаснуться. Вот почему так часто способ действия ее персонажей — физическое насилие. Она утверждает, что задача писателя — «заставить общество увидеть уродства, которые оно привыкло считать чем-то вполне естественным. Поэтому писатель вправе прибегнуть к... устрашающим средствам воздействия, чтобы донести до общества свое видение».

Так, насилие порой приобретает у нее характер религиозного ритуала, оно — цена искупления вины. По сути дела, каждый сюжет О'Коннор — аллегория «искупительного» странствия. Это символическое странствие очень часто сочетается с путешествием в буквальном смысле слова.

Едет во Флориду несчастная, обреченная на роковую встречу с убийцей семья: бабушка, отец и мать с тремя детьми. Уезжают в свадебное путешествие мошенник Шифтлет и его слабоумная жена, отправляется на прогулку с лжепродавцом Библий Хулга Хоупвел, пускается в свой последний путь мать Джулиана.

Путь к «искуплению» или «откровению» тернист и опасен. Внезапное ясное понимание истины часто дается вместе со смертью

или страшным душевным потрясением. В том и состоит долг писателя, по мнению О'Коннор, чтобы все, что он пишет, было бы таким же откровением для читателя, как яростные слова Мэри Грейс, брошенные в лицо самодовольной миссис Терпин («Откровение»).

По мнению О'Коннор, как бы ни были гротескны ее богоискатели, они все же естественнее, чем общество приспособленных к сосуществованию со злом. Вот почему ее герои не могут созерцать окружающий мир с устоявшимся, самодовольным благодушием «хорошо пригнанных» к обществу людей, всех этих собственников. Именно они, заботящиеся только о материальном преуспевании, равнодушные чужаки — постоянная мишень ее сатиры, например миссис Фримен («Соль земли»), или миссис Терпин, у которой «всего понемногу» и которая презирает неимущую белую «голытьбу», или миссис Май, никак не желающая примириться с тем, что дети ее батрака Гринлифа такие же люди, как она сама («Весной»).

Ненависть Ф. О'Коннор к прагматизму и буржуазной чванливости заставляет ее предпочитать фанатизм слепой веры и презрение к житейским благам, ибо в них она видит одно из проявлений жизни духа, а в погоне за материальным успехом — смерть души. А то, что ее «мессии» и христоробцы на своем пути совершают преступления, Ф. О'Коннор относит на счет общества. Оно мешает людям любить друг друга, сеет между ними рознь, корыстолюбие и ненависть, и оно в первую очередь ответственно за насилие.

Критика современного общества «гарантированного успеха» у Ф. О'Коннор часто облачена в религиозные одежды, она усложнена аллегорией и символикой, но тем не менее остается критикой. Приверженность католической догме и тяга к реализму мирно уживаются у О'Коннор лишь до известного предела, и часто реалистическое начало вырывается из прокрустова ложа догмы.

Когда появился второй роман О'Коннор, «Яростные разрушают», ортодоксальная католическая печать подвергла его резкой критике. Писатель-католик Роберт О. Боуэн отмечал в частности: «Это не просто не католический роман, это роман — антикатолический». Герой романа юноша Таруотер не желает подчиниться последней воле фанатика деда, который повелевает ему стать проповедником. Как и многие персонажи О'Коннор, Таруотер взыскует истины и в поисках ее обращается к своему дяде, учителю Рейберу. Но в самую трудную минуту Рейбер, сухой педант, воздвигший между собой и миром непроницаемую для чувств стену рационализма, «науки», предает племянника. Интересно отметить, что в новелле «Хромые ввидут первыми», по сути дела, задан тот же самый

конфликт: между озлобленным подростком Руфусом Джонсоном и ученым педагогом Шепардом. Шепард, «знаток» детской психологии, лишает своего единственного сына Нортон, сироту, простой отеческой любви. Хотя материальных благ у мальчика предостаточно, он одинок и несчастен. Фанатик Руфус, напротив, сумел расположить к себе Нортон и заставил уверовать в существование райского блаженства. И вот — страшная расплата Шепарда за равнодушие: самоубийство Нортон, повесившегося, чтобы ускорить «встречу» с любимшей его и умершей матерью там, «в вечности».

Любовь Ф. О'Коннор категорически противопоставляет рассудку. Причем, как она говорила, «любовь безрассудную, любовь, которая явно не имеет будущего и поэтому бессмысленна, любовь, которая существует потому, что этого требует сама природа любви; любовь-захватчицу, любовь-повелительницу, которая в одно мгновение превращает человека в глупца».

О'Коннор — враг не только безлюбивой рациональности, но и той ложной мудрости, что делает человека черствым себялюбом, вроде Эсбери («Озноб»), которого из бездны эгоизма спасает опять-таки простая, искренняя, нерассуждающая любовь матери. Нет, О'Коннор не против разума вообще, но разум должен покорно идти в упряжке веры. Такова была позиция О'Коннор, но смысл многих ее произведений — в обличении не только «холодной» власти науки, но и поработавшей человеческий дух, ломающей волю человека, не брезгующей насилем для утверждения своей духовной власти религии.

Эту противоречивость позиции и победу над католической догмой видим мы в лучших новеллах писательницы: «Соль земли», «Хорошего человека найти не легко», «На вершине все тропы сходятся». Нужно иметь в виду, что в произведениях О'Коннор всегда несколько уровней смысла. Первый — это то, что сразу бросается в глаза, — главный конфликт. В рассказе «Соль земли» — это столкновение доктора философии Хулги Хоупвел с мнимым продавцом Библий. У Хулги «самое высшее образование», какое только может быть. Она уверена, что нет ничего непознаваемого, что нет бога, а есть лишь «ничто». У нее свое вероучение, по ее «выкладкам», причастность к науке уже спасение и сила, ибо позволяет видеть «суть вещей». Трагический парадокс состоит в том, что как раз об окружающем мире и людях сама Хулга ничего не знает и горько обманывается в первом же встречном — жестоком мерзавце, который питает извращенный интерес к калекам.

В начале рассказа писательница замечает, говоря о Хулге, что она «чуть скашивала льдиисто-голубые глаза с таким видом, будто

ослепла усилием воли и прозревать не намерена». А устами лжепродавца выносятся и окончательный приговор ее «духовной слепоте»: «И чего я тебе еще скажу, Хулга: ты уж не строй из себя. Заладила: ничто, ничто — да я сроду ни во что не верю». Так Фланнери О'Коннор уравнивает интеллектуальную «гордыню» с предельным невежеством и глухостью души. И жаловаться Хулге вроде бы не на что: ее неверие, только грубо и примитивно «сдублированное», обратилось против нее же. Но это — первый «уровень» смысла. Исключительная, острогротескная ситуация рассказа отнюдь не лишена социально-разоблачительного смысла и, объективно, даже того духа сомнения и неверия, которого так опасалась О'Коннор. Ведь столь несоразмерны «наказание» искалеченной в детстве Хулги и ее «преступление», состоящее главным образом в том, что она несчастна, одинока и ищет утешения в знании, а не в вере и надежде. А главное, писательница ополчается не столько против «дьявола образованности» — термин самой О'Коннор, — сколько против обывательского равнодушия и самодовольства, расхожего легковесного оптимизма мещан и собственников. Отвращение и ужас внушает О'Коннор не только лжепродавец Библий, но и миссис Фримен, которая является типичной представительницей этих «добрых» обывателей. К ней писательница испытывает прямо-таки ненависть, холодную, сдержанную и непреодолимую. Останавливает внимание и сама фамилия «Фримен», что значит «свободный человек». Характерно, что у новеллиста 20-х годов сатирика Ринга Ларднера «Фримен» — имя почти нарицательное для преуспевающего буржуа, глухого к добру, начисто лишённого сердца. «Фримен» у О'Коннор тоже пародирует представление о настоящем, «стопроцентном», американце, воплощающем дебоческое трезвомыслие и мертвенность, «несвободу» духа.

В рассказе «Хорошего человека найти не легко» мы встречаемся с особенно гротескной фигурой христорбца. Герой в противовес евангельскому Христу — «Христос наоборот», воплощение зла. В разговоре с одной из своих жертв он упрекает Христа за то, что тот «перевернул все вверх тормашками»: умер якобы во искупление зла и спасение человечества, а зло продолжает существовать. Более того, люди находят, по словам Изгой, особую радость в том, чтобы причинить другому «пакошь». Как и сам Изгой. Ему нипочем убить неповинных людей, в том числе грудного младенца. То, что, убив целое семейство, Изгой не испытывает «счастья» и не находит «спасения», по замыслу писательницы, очевидно, и должно доказывать несостоятельность его бунта. Однако опять за этим страшным актом «богоборчества» вырисовывается другое значение конфликта между Изгоем и несчастным семейством. Все они —

в какой-то мере продукт современной «цивилизации» отчуждения и разрушенности «братских», родственных связей между людьми. Даже у бабушки сохранились лишь остатки инстинктивной привязанности к сыну, но больше всего она любит себя и в конечном счете думает среди разразившегося по ее вине несчастья только о себе. Правда, под угрозой неминуемой смерти у нее «в голове прояснилось» и она почувствовала какое-то странное родственное чувство к Изгою: «Ты ведь мне сын. Ты один из детей моих?» Но прозрение пришло слишком поздно. В ответ на человеческий жест — она касается плеча Изгоя — следует трехкратный выстрел, а затем и «надгробное» слово убийцы: «Хорошая была бы женщина, если бы в нее каждый день стрелять...»

Анализируя рассказ, один из американских критиков подчеркивал его неправдоподобность: трудно себе представить, — говорил он, — что по дорогам Америки рыщут убийцы, которые, обсуждая теологические проблемы, попутно отправляют на тот свет целые семейства. Но опять-таки, каким бы невероятным ни представлялся сюжет (а он, кстати, не так уж невероятен: достаточно вспомнить документальную повесть Т. Капоте «Обыкновенное убийство»), создается впечатление значительной жизненной правды, поданной в намеренно заостренной форме. Изгой носит такое имя не только потому, что в окружающем его мире он «ни при чем»; он — жертва общества «хорошо пригнанных», которые, попавшись ему в руки, сами становятся жертвой, «искупают» безразличие общества ко всем неприкаянным.

Интересно, что и этот рассказ Ф. О'Коннор вызвал неудовольствие ортодоксальных католиков. Очевидно, им не понравилась не только «святотатственная» антитеза Изгой — Христос, но и то, что религия в данном случае — орудие социальной критики и служит таким конкретным, «мирским» целям, как разоблачение общества «чужих», общества «одиночек», о котором впоследствии напишет американский публицист Вэнс Пэккард, озабоченный распадом «добрососедских» связей между людьми в современном американском обществе.

В творчестве писательницы-южанки не могла не отозваться и проблема расовых взаимоотношений. Мы нигде не найдем у Фланнери О'Коннор «лобового», прямолинейного разоблачения расовых предрассудков. Более того, и ей, как, например, Фолкнеру, свойственна в какой-то степени тоска по прошлому, когда, казалось, расовые взаимоотношения были «упорядочены». Теперь же, под напором торгашеского «северного» духа, они, эти «патриархальные» отношения, выродились и распались. И вместе с тем писательница свидетельствует непреложность перемен и объективную необходи-

мость и закономерность равенства. Да, она отвергает расовую агрессивность и озлобленность негритянки из рассказа «На вершине все тропы сходятся» или артиста из «Судного дня», но для нее столь же неприемлемо и высокомерное пренебрежение к «черным» мистера Хеда из «Гипсового негра». Все расовые беды имеют источником именно неравенство, считает Ф. О'Коннор. Вот почему умирающую мать Джулиана «ждут» в вышней вышине и дедушка-плантатор и добрая старая няня-негритянка, а ужасный «судный день» для Тэннера, всю жизнь отвергавшего именно равенство между собой и негром, является днем возмездия: символично, что он умирает словно «в колодках» (с заклиненными между стойками перил руками) — умирает, как умирали в Америке тысячи безвестных невольников — в «колодках» рабства. О'Коннор-реалист показывает и питательную среду расовых предрассудков — мещанскую ограниченность и сознание собственного «белого» превосходства. А такая замечательная новелла, как «Перемещенное лицо», уже явный пример того, как реалистическая сторона дарования О'Коннора решительно одерживает верх над религиозным ригоризмом.

Да, и здесь мы встречаем характерные элементы о'конноровской католико-символической образности, и здесь есть тема откровения, тема мессианства и пророчества. Но в данном случае это лжепророчество и лжепророчица, — ненавидящая «перемещенных» за то, что они «не похожи на других», жестокая, невежественная, глядящая «ничего не видящим взором» миссис Шортли, решившая не уступать ни пяди своей религиозной, а заодно и «американской» избранности «отсталым» пришельцам. Победа Ф. О'Коннор-реалиста и заключается в том, что она показывает теснейшую связь между духовной, религиозной нетерпимостью миссис Шортли и ее сугубо эгоистическими инстинктами собственницы, которой и видение является по ее образу и подобию, словно воплощая ненавистнические, мещанские, «разрушительные» инстинкты.

Как это часто бывает у Ф. О'Коннор, одна фигура иллюстрирует другую, схожую, но — с еще более укрупненными «родовыми» качествами. Так, миссис Шортли дополняется миссис Макинтайр, девиз которой: что одному беда — другому выгода. Для миссис Макинтайр и «Христос — перемещенное лицо». И все-таки нельзя сказать, что у нее нет бога. Ее бог — выгода, и ему она рьяно служит. Она извлекает выгоду из всего: из невежества и покорности негров-работников, из тяжелого положения поляка Гизака, бежавшего из Европы в Америку от нацистских погромов, даже из своего вдовства — оно дает ей необходимое внутреннее удовлетворение: осталась после смерти мужа с разоренной фермой, а теперь это

крепкое хозяйство. О'Коннор мастерски рисует конфликт, «жертвой» которого становится миссис Макинтайр: страсть к наживе вступает в борьбу с расовой нетерпимостью. Гизак неосторожно пообещал работнику-негру Салку выдать за него замуж свою племянницу, лишь бы тот помог ему вызволить ее из концентрационного лагеря. А этого миссис Макинтайр никак не может допустить даже в мыслях. Но и расчитать хорошего работника Гизака, способствующего процветанию фермы, она не может. И Гизак погибает, раздавленный трактором, а по сути дела, смертоносным механизмом нетерпимости, жадности и эгоизма. Рассказ подкупает удивительной правдивостью. Даже конец его не обычное в духе О'Коннор «искупление», ибо смерть Гизака, потрясая миссис Макинтайр, все же не приводит ее к перерождению. Потеряв ферму, она с той же цепкостью и эгоизмом пытается сохранить свой последний «капитал» — убывающее здоровье...

Хотя О'Коннор — автор двух романов, она справедливо считается прежде всего мастером реалистической американской новеллы, чуткой, совершенной, «оперативной», с такими ее характерными чертами, как правдивость, использование сатирических приемов иронии и гротеска, глубокий психологизм.

Существенную роль в новелле Ф. О'Коннор играет символическая образность. Символ, по словам писательницы, — «скрытый двигатель» рассказа, таящий в себе «зерно», смысл конфликта. Символичны (и часто ироничны) имена персонажей у О'Коннор, их поступки. Движение, которым Джулиан выдергивает свою руку у опирающейся на нее матери, символизирует его грядущее отступничество от нее, когда он лишит мать и нравственной опоры. Солнце, «пронзительными» лучами освещающее фигуру Шифтлета, идущего по дороге к одинокой ферме, к «добыче», как бы предупреждает старуху хозяйку об опасности. Но она символическим жестом надвигает на глаза шляпу, словно не желая видеть очевидное. В рассказе «Хорошего человека найти не легко» символичны гротескный образ обезьяны, ловающей и поедающей блох, — символ мрачной, абсурдной безысходности и завершенности «круга», по которому мечется Изгой; символичен и образ ныне не существующего поместья — воплощения былого южного великолепия и благополучия.

Новелла Ф. О'Коннор, во многом традиционная по форме, очень современна по тематике. Ей свойственны темы все возрастающей индивидуалистической разобщенности людей в буржуазном обществе, искажения и разрушения эмоциональных связей между ними; разоблачение мещанской ограниченности, пагубности бур-

жуазного успеха — а это темы, привлекающие внимание всей большой реалистической литературы США.

Рассказы О'Коннор прекрасно написаны, их мрачному колориту великолепно соответствует строгая, несколько ироничная манера повествования (этим, кстати, они близки новеллистике другой известной американской писательницы Д. К. Оутс). Но, несмотря на эту сдержанность, рассказ О'Коннор звучит подчас как вопль отчаяния при виде попорченной, изуродованной человечности; он полон жажды другой, более возвышенной, гармоничной, исполненной братских чувств жизни.

Трудно сказать, в каком направлении развивалось бы далее творчество Ф. О'Коннор, которая не раз признавалась, что голос «дьявола» — сомнение — смущает ее, тот самый голос, который будил дух протеста в Таруотере, протеста против насилия над природой человека, и физического, и духовного. Однако бесспорно одно — ей было очень трудно примирить жесткую католическую догматику с пытливой честностью и скептицизмом реалиста.

Однажды О'Коннор спросили, почему она пишет. И, очевидно на краткий миг забыв о своей религиозной миссии, она ответила просто и лаконично: «Потому, что у меня хорошо получается». Она действительно писала хорошо: в ее рассказах и романах много жизненной правды, запечатленной в острой, гротескной форме, правды о современном американском обществе, правды, которая уже подарила миру столько честных, страстных и нужных книг. К ним относится и наследие американской писательницы Ф. О'Коннор.

М. Тугушева



I

Павлин шел за миссис Шортли вверх по дороге. Медленно выступая друг за другом, они вдвоем составляли целую процессию. Одолев подъем, женщина остановилась и, скрестив руки на груди, застыла на своих исполинских ногах, словно нагромождение гранитных глыб, суживающееся кверху, к двум излучающим ледяной свет голубым точкам, от пронзительного взгляда которых ничто не могло укрыться. Преисполненная неколебимой уверенности в себе, она высилась, точно великанша — хранительница здешних мест, вышедшая на шум узнать, что стряслось. Не устаивая вниманием белесое послеполуденное солнце, которое, словно незваный гость, пряталось за зубчатой стеной облаков, она обратила свой взор на ответвлявшийся от шоссе рыжий преселок.

Павлин остановился у нее за спиной. Хвост его чуть-чуть приподнялся над землей и, ниспадая по обе стороны,

будто шлейф, сверкал на солнце золотисто-зелеными и синими переливами, а сам он, откинув назад голову на длинной и тонкой, как тростинка, шее, казалось, разглядывал вдаль нечто, не видимое больше никому.

Миссис Шортли смотрела, как черный автомобиль свернул с шоссе и въехал в ворота. У сарая с инвентарем, футах в пятнадцати от ворот, оба негра, Астор и Салк, бросив работу, тоже главели на автомобиль. За большой шелковицей их совсем не было видно, но миссис Шортли все равно знала, что они там.

С крыльца навстречу машине спускалась миссис Макинтайр. Она усердно улыбалась во весь рот, однако миссис Шортли даже издали разглядела, что у нее нервно кривятся губы. Эти люди всего-навсего наемные работники, ничуть не лучше семейства Шортли или негров, а вот, поди ж ты, сама хозяйка спешит им навстречу. Вырядилась в свое лучшее платье, нацепила бусы и несется, растянув рот до ушей.

Машина остановилась на дорожке одновременно с миссис Макинтайр, и первым вышел священник — длинноногий старик в черном костюме, в белой шляпе и в рубашке с воротником задом наперед, как всегда носят священники, когда хотят, чтобы их сразу узнавали. Он-то и устроил сюда этих людей. Священник открыл заднюю дверцу, и из машины выскочили дети — мальчик и девочка, а вслед за ними неторопливо вышла женщина в коричневом платье, фигурой напоминавшая арахис. Потом отворилась передняя дверца и появился мужчина — само Перемещенное Лицо. Он был маленького роста, сутуловатый, в очках с золотой оправой.

Миссис Шортли сощурила глаза так, чтобы в поле ее зрения остался только он один, а потом постепенно включила в групповой портрет женщину с обоими детьми. Прежде всего ее поразило, что они ничем не отличались от всех других людей. Каждый раз, как она пыталась представить себе этих Перемещенных Лиц, в ее воображении возникали три медведя, идущие гуськом по дороге, в деревянных башмаках наподобие тех, какие носят голландцы, в матросских шапках и ярких куртках со множеством блестящих пуговиц. Но на этой женщине было платье, в каком миссис Шортли могла бы выйти и сама, а ребята были одеты точно так же, как все их сверстники в округе. Мужчина был в брюках защитного цвета и в

голубой рубашке. Когда миссис Макинтайр с ним здоровалась, он вдруг перегнулся в поясе и поцеловал её руку.

Миссис Шортли резким движением поднесла к губам собственную руку, но тут же ее отдернула и энергично вытерла о платье сзади. Вздумай мистер Шортли поцеловать руку миссис Макинтайр, она б наверняка послала его подалее. Конечно, мистер Шортли и не стал бы ей руку целовать. Недосуг ему такой чепухой заниматься.

Прищурившись, она взгляделась пристальней. Мальчик стоял в центре группы и говорил. Известно было, что он знает английский, потому что выучился еще в Польше, и теперь он слушал, что отец скажет по-польски, и повторял это по-английски, а потом слушал, что миссис Макинтайр скажет по-английски, и повторял это по-польски. Священник сказал миссис Макинтайр, что мальчика зовут Рудольф и что ему двенадцать лет, а девочку зовут Жужа и ей девять. По мнению миссис Шортли, имя Жужа больше подходило для жука и звучало так же странно, как если бы кто-нибудь назвал своего сына Тараканом. Ну а фамилию ихнюю вообще могли выговорить только они сами да еще, пожалуй, священник. Насколько она разобрала, их звали Гусаки. По крайней мере всю ту неделю, что они с миссис Макинтайр готовились к их приезду, они только так их и называли.

Подготовиться к их приезду было не так-то просто: ведь у них не было ничего своего — ни мебели, ни простыней, ни посуды, — и все это пришлось выискивать среди вещей, которые сама миссис Макинтайр давно уже выбросила. Они собрали кое-какую старую мебель, а на занавески для окон пошли мешки из-под куриного корма — получились две красные и одна зеленая, потому что красных мешков не хватило. Миссис Макинтайр сказала, что она денег не печатает и занавески покупать им не может.

— Они и говорить-то еще не умеют, так где им цвета различать, — сказала миссис Шортли.

А миссис Макинтайр добавила: после того, мол, что этим людям пришлось пережить, они за все должны быть благодарны. Пусть радуются, что им вообще удалось отсюда убежать да еще попасть в такое место.

Миссис Шортли вспомнила виденную когда-то кинохронику: небольшая комната, набитая сваленными в кучу голыми трупами — руки и ноги переплелись, то тут, то там

вылезает голова, колено или какая-нибудь часть тела, которую полагается прикрывать, или торчат пальцы, цепляясь за пустоту. Но только до вас начало доходить, что все это действительно настоящее, как кадр на экране уже сменился и чей-то глухой голос произнес: «Время идет вперед!» И такие вещи каждый день происходят в Европе, где все люди отсталые — не то, что здесь у нас, — и миссис Шортли, которая со своей удобной позиции наблюдала за собравшейся внизу кучкой людей, вдруг осенило, что эти Гусаки, как крысы, переносящие тифозных блох, легко могли привезти из-за океана все эти кровожадные повадки. Раз они приехали из страны, где так поступали с ними, кто может поручиться, что они не вздумают поступать так же с другими? Огромная важность этого открытия потрясла ее до глубины души. В животе у нее задрожало так, словно в недрах горы произошел геологический сдвиг, и, машинально спустившись вниз, миссис Шортли пошла знакомиться с Перемещенными Лицами, словно хотела сразу же выяснить, чего от них можно ожидать.

Она приближалась, выпятив живот, откинув назад голову и сложив на груди руки. Голенища стоптанных сапог легонько хлопали ее по толстым икрам. Шагах в пятнадцати от жестикулирующей группы она остановилась и вперила взор прямо в затылок миссис Макинтайр, давая тем знать о своем прибытии. У миссис Макинтайр, шестидесятилетней маленькой женщины, было круглое морщинистое личико; рыжая челка спадала на лоб почти до самых оранжевых бровей. Ротик у нее был крошечный, как у куклы, а глаза, казавшиеся нежно-голубыми, когда она широко их раскрывала, принимали оттенок вороненой стали или гранита, когда она, прищурясь, заглядывала в молочный бидон. Одного мужа она похоронила, с двумя другими развелась, и миссис Шортли уважала ее как человека, которого еще никому не удалось обвести вокруг пальца, никому, кроме — ха-ха-ха — кроме разве семейства Шортли.

Миссис Макинтайр протянула руку в сторону миссис Шортли и сказала мальчику по имени Рудольф:

— А это миссис Шортли. Мистер Шортли работает у меня на молочной ферме. Где же он? Я хочу познакомить его с Гизаками, — проговорила она, когда жена мистера Шортли, все еще не отнимая скрещенных рук от груди, подошла поближе.

Ага, значит, теперь они уже Гизаки. Небось в глаза она их Гусаками не зовет.

— Чанси в коровнике,— ответила миссис Шортли.— У него нет времени по кустам прохладиться, не то что у этих черномазых.

Взгляд ее сначала скользнул по макушкам Перемещенных, а потом медленно по спирали пошел вниз — так ястреб-стервятник кружит в воздухе, прежде чем опуститься на падаль. Она держалась на порядочном расстоянии — а то он еще и ей вздумает руку целовать. Своими зелеными глазами он посмотрел ей прямо в лицо и улыбнулся щербатым с одной стороны ртом. Миссис Шортли, не отвечая на его улыбку, взглянула на девочку, которая, поводя плечами, стояла возле матери. Ее длинные косы были подвязаны баранками, и — ничего не скажешь — хоть имя у нее какое-то жучье, она куда красивее обеих дочек миссис Шортли, четырнадцатилетней Энни Мод и шестнадцатилетней Сары Мэй. Правда, Энни Мод ростом не вышла, а Сара Мэй косит на один глаз. Но зато этот заграничный мальчишка — ничто против ее сына Г.К. Г.К. уже двадцать лет, он носит очки, а сложением весь в нее. Учится он в библейской школе и, когда кончит, сам станет проповедником. У него приятный сильный голос, он замечательно поет гимны и любого в чем хочешь убедит. Миссис Шортли посмотрела на священника и вспомнила, что у этих людей религия какая-то отсталая. Веруют они невесть во что — ведь в религии ихней не было никакой реформации, и никто не знает, какой вздор в ней еще остался. Ей опять представилась комната, до потолка заваленная трупами.

Священник тоже разговаривал как-то по-иностранному — вроде бы и по-английски, но так, словно набил себе полный рот сена. У него был длинный нос, прямоугольное голое лицо и такой же голый череп. Когда миссис Шортли подошла, он вдруг разинул рот, уставился ей куда-то за спину и, тыча пальцем, воскликнул: «Аххх!»

Миссис Шортли быстро обернулась. В нескольких шагах позади нее, слегка откинув голову набок, стоял павлин.

— Какая прекрасная птица! — пробормотал священник.

— Лишний рот — только и всего,— отозвалась миссис Макинтайр, взглянув в сторону павлина.

— А когда же он распускает свой великолепный хвост? — спросил священник.

— Когда ему вздумается,— отвечала она.— Их у меня тут штук двадцать или тридцать было, но они все передохли. Терпеть не могу, когда они вдруг начинают кричать среди ночи.

— Такой красавец,— сказал священник.— Хвост, полный солнц.

Он на цыпочках подкрался к павлину и посмотрел ему на спину, откуда начинался блестящий золотисто-зеленый узор. Павлин стоял неподвижно, словно неземное виденье, снизошедшее к ним с лучезарных высот. Священник наклонился, и его простодушная красная физиономия так и засияла от восторга.

Миссис Шортли презрительно скривила губы.

— Эка невидаль — павлин,— проворчала она.

Миссис Макинтайр подняла свои оранжевые брови и обменялась с нею взглядом, ясно говорившим, что старик впал в детство.

— Ну а теперь мы покажем Гизакам их новый дом,— нетерпеливо сказала она, заталкивая приезжих обратно в машину.

Павлин отошел к шелковице, за которой прятались негры, священник оторвал от него свой замороженный взгляд, сел в машину и повез Перемещенных Лиц в отведенную им лачугу.

Миссис Шортли подождала, пока машина скрылась из виду, после чего обошла шелковицу и остановилась в нескольких шагах за спиной негров — старика, державшего в руках ведро с кормом для телят, и желтолицего парня, чья похожая на деревянный обрубок голова была втиснута в круглую фетровую шляпу.

— Ну-у-у,— протянула она,— нагяделись небось. Что скажете?

Астор — так звали старика — поднялся.

— Мы смотрели,— проговорил он с таким видом, словно сообщал ей какую-то новость.— Они кто же будут?

— Из-за океана приехали,— махнув рукой, отвечала миссис Шортли.— Называются Перемещенные Лица.

— Перемещенные Лица...— повторил негр.— Ишь ты. А что же это значит?

— Это значит, что они не там, откуда родом, и что им вообще негде быть. Ну, например, если бы тебя отсюда прогнали и больше никуда не захотели бы взять.

— Однако они вроде тут, — задумчиво сказал старик. — А раз они тут, значит, они уже где-то есть.

— Точно, — подтвердил второй негр. — Они тут.

Миссис Шортли всегда раздражала неспособность негров логически мыслить.

— Они не там, где им место, — сказала она. — Им место за океаном, где все так, как они привыкли. Здесь все не такое отсталое, как там у них. Ну а вы лучше глядите в оба, — добавила она, качая головой. — Таких, как они, теперь мильон трильонов, а я-то помню, что миссис Макинтайр говорила.

— А что она говорила? — спросил молодой негр.

— Работу нынче найти нелегко — будь ты хоть белый, хоть черный, но я-то хорошо слышала, что она сказала, — нараспев произнесла она.

— Да уж вы-то как есть все услышите, — заметил старик. Он подался вперед, словно уже пошел, но остановился на ходу.

— Я слышала, как она сказала: «Надеюсь, это внушит страх божий нашим черномазым бездельникам!» — звонким голосом проговорила миссис Шортли.

Старик зашагал прочь.

— Она уж много раз это самое говорила, — буркнул оп. — Ха-ха-ха. Говорила, точно говорила.

— Ступай в коровник да помоги мистеру Шортли, — сказала миссис Шортли молодому негру. — И за что только она тебе деньги платит.

— Так ведь он же меня сам сюда послал. Он мне совсем другое дело делать велел, — отвечал тот.

— Вот бы ты за него и принимался, — сказала миссис Шортли.

Она дождалась, пока негр ушел, а потом постояла еще немного, погрузившись в раздумье и глядя невидящим взором на висящий перед нею хвост павлина, который тем временем успел взлететь на дерево. На хвосте нестерпимым блеском искрились бесчисленные планеты, и с каждой смотрел обведенный зеленым ободком глаз на фоне яркого солнца, переливающегося всеми оттенками, от золотисто-зеленого до розовато-оранжевого. Однако миссис Шортли не замечала этой развернутой перед нею карты вселенной, как не замечала синевы неба, проглядывавшего сквозь матово-зеленую листву. Перед ее внутренним взором возникло другое виденье: она представила себе, как

миллионы перемещенных лиц пробиваются сюда, на новые места, а она, исполинский ангел с крыльями шириною в дом, говорит неграм, что им пора искать себе новое пристанище. И, продолжая раздумывать на эту тему, она повернула к коровнику с выражением надменного самодовольства на лице.

Она подходила к коровнику сбоку, чтобы заглянуть в него прежде, чем ее заметят. Мистер Чанси Шортли, сидя на корточках у двери, прилаживал доильный аппарат к вымени большой черно-белой коровы. С середины его нижней губы свисал окурок длиною с полдойма. Миссис Шортли с полсекунды пристально его рассматривала.

— Если она увидит или узнает, что ты куришь в коровнике, она от злости лопнет, — заметила она.

Мистер Шортли поднял изборожденное глубокими морщинами лицо с провалами на щеках и с длинными складками, спускавшимися по обе стороны истресканных губ.

— Ты, что ли, ей донесешь? — поинтересовался он.

— У нее и свой нос есть, — отвечала миссис Шортли.

Мистер Шортли кончиком языка небрежно слизнул с губы окурок, втянул его в рот, плотно сжал губы, вышел из коровника, долгим одобрительным взглядом окинул свою супругу и выплюнул тлеющий окурок в траву.

— Ох, Чанси, — хихикнула она и, выкопав носком башмака небольшую ямку, втоптала окурок в землю.

Дело в том, что этим способом мистер Шортли выражал свои чувства. Когда он за ней ухаживал, он не тренькал на гитаре, не дарил ей ничего на память, а просто, не говоря ни слова, садился на ступеньку, точно паралитик, которого пристроили на крыльцо побаловаться сигаретой. Выкурив сигарету до нужного размера, он обращал глаза на будущую миссис Шортли, открывал рот, втягивал сигарету и, глядя на нее самым что ни на есть влюбленным взглядом, продолжал сидеть, делая вид, что проглотил окурочек. Это приводило ее в неистовый восторг, и всякий раз, как он проделывал эту штуку, ей хотелось нахлобучить его на глаза шляпу и задушить его в объятиях.

— Знаешь, — сказала миссис Шортли, входя вслед за мужем в коровник, — эти Гусаки уже здесь, и она хочет тебя с ними познакомить. «Где мистер Шортли?» — спрашивает, а я ей: «Некогда ему...»

— ...пустяками заниматься, — подхватил мистер Шортли, снова опускаясь на корточки возле коровы.

— Как ты думаешь, может он водить трактор, если он даже по-английски не понимает? По-моему, они и расходов-то не окупят. Мальчишка, тот разговаривает, да уж больно он хлипкий. Который может работать, не может говорить, а который может говорить, не может работать. Ничуть не лучше, чем взять еще парочку черномазых.

— Я б на ее месте лучше черномазого взял,— сказал мистер Шортли.

— Она говорит, их еще с десятков миллионов, перемещенных-то этих. Говорит, священник может их ей сколько угодно предоставить.

— Зря она с этим священником якшается,— сказал мистер Шортли.

— Ничего в нем умного нету. Придурковатый он какой-то,— сказала миссис Шортли.

— Я не позволю, чтоб папа римский мне тут на ферме свои порядки устанавливал,— сказал мистер Шортли.

— Так ведь они же не итальяшки, а поляки. Из Польши, где все эти мертвецы навалены были. Помнишь мертвецов-то этих?

— Три недели — больше они тут не продержатся,— сказал мистер Шортли.

Три недели спустя миссис Макинтайр и миссис Шортли поехали смотреть, как мистер Гизак будет опробовать на тростнике новую силосорезку, которую только что приобрела миссис Макинтайр, поскольку, сказала она, у нее на ферме наконец появился человек, способный управляться с этой машиной. Мистер Гизак водил трактор, умел обращаться с рулонным санным прессом, с силосорезкой, с комбайном и вообще со всеми машинами, какие только у нее были. Он был первоклассным механиком, каменщиком и плотником. Он был бережлив и энергичен. Миссис Макинтайр говорила, что, по ее расчетам, он на одном только ремонте сэкономит ей двадцать долларов в месяц. Она сказала, что ей крупно повезло в жизни, когда она заполучила этого человека. Он и с доильным аппаратом справиться может. Он безупречно чистолюден. И не курит.

Она остановила машину у самых тростниковых зарослей, и обе женщины вышли. Салк, младший негр, соединял с силосорезкой прицеп, а мистер Гизак соединял силосорезку с трактором. Закончив, он оттолкнул негра и сам

занялся прицепом, сердито показывая жестами, чтобы Салк подал ему гаечный ключ или отвертку. Никто не мог за ним угнаться. Медлительные негры выводили его из себя.

Неделю назад мистер Гизак выследил Салка, когда тот во время обеда забрался с мешком в индюшатник. Он увидел, как Салк выбрал подходящего на жаркое индюшонка, затолкал его в мешок и спрятал мешок под куртку. Потом мистер Гизак прокрался за Салком вокруг сарая, схватил негра за руку, притащил к заднему крыльцу хозяйского дома и разыграл перед миссис Макинтайр всю сцену, а Салк тем временем бормотал, что разрази его гром, если он собирался украсть этого проклятого индюка, он просто хотел намазать ему шею сапожной ваксой, потому что у него на шее чирей вскочил. Разрази его гром, если это не святая истинная правда. Миссис Макинтайр велела ему отнести индюшонка на место, а потом долго втолковывала поляку, что все негры воруют. В конце концов ей пришлось позвать Рудольфа и объяснить ему это по-английски, чтобы он объяснил отцу по-польски, после чего недоумевающий и раздосадованный мистер Гизак удалился во свояси.

Теперь миссис Шортли стояла рядом с хозяйкой и ждала, что с силосорезкой будут неполадки, но никаких неполадок не было. Все движения мистера Гизака были быстрыми и точными. Он с ловкостью обезьяны вскочил на трактор, повел большую оранжевую силосорезку в заросли тростника, и из трубы в прицеп тотчас полилась зеленая струя силоса. Машина с треском проехала мимо, скрылась из виду, и шум ее вскоре затих вдали.

Миссис Макинтайр даже вздохнула от удовольствия.

— Первый раз в жизни у меня есть человек, на которого можно положиться, — сказала она. — Сколько лет я мучаюсь с этими никчемными людишками. И с белыми и с черными. Они из меня всю кровь выпили. До вас тут были Рингфилды, Коллинзы, Джереллы, Перкины, Пинкины, Геррины и невесть еще кто. И не было случая, чтоб, уезжая, они не прихватили что-нибудь из моих вещей. Ни единого случая!

Миссис Шортли могла слушать все это спокойно, потому что, если бы миссис Макинтайр и ее причисляла к никчемным людишкам, она бы с ней так не говорила. Они обе презирали таких людей. Миссис Макинтайр между тем

продолжала монолог, который миссис Шортли слышала уже бессчетное множество раз.

— Я тут тридцать лет веду хозяйство,— сказала миссис Макинтайр и, нахмурившись, окинула взглядом ряды тростника,— и все эти годы оно только-только окупается. Люди, верно, думают, будто я деньги печатаю. А у меня налоги. И страховка. И за ремонт плати. И за корма.

Подавленная этим тяжким бременем, она умолкла, сложив под грудью коротенькие ручки.

— С тех пор как скончался судья,— продолжала она,— я едва свожу концы с концами, а эти люди как уедут, так непременно что-нибудь утащат. Черномазые, те не уезжают, они сидят на месте и воруют. Для черномазого у кого есть, что украсть, тот уже богач, а для этой белой голытьбы богач всякий, кто может себе позволить нанимать ничемных людишек, вроде них самих. А у меня только и добра, что земля под ногами!

«Ты не только нанимаешь, но, бывает, и увольняешь тоже»,— подумала миссис Шортли, но она не всегда высказывала вслух то, что думала. Вот и теперь она стояла и ждала, когда миссис Макинтайр кончит, однако на этот раз хозяйка кончила совсем не так, как кончала прежде.

— Но теперь я наконец спасена. Что одному беда, то другому выгода. Этот человек,— тут миссис Макинтайр показала пальцем в сторону Перемещенного,— этот человек вынужден работать! И он хочет работать! — Она повернула к миссис Шортли свое оживленное морщинистое личико.— Этот человек — мое спасение!

Миссис Шортли смотрела прямо перед собой, словно проникая взглядом сквозь тростниковые заросли и даже сквозь самую толщу холма.

— А я бы остереглась спасения, если оно от дьявола,— произнесла она медленно и равнодушно.

— Что вы, собственно, хотите этим сказать? — спросила миссис Макинтайр, метнув сердитый взгляд на собеседницу.

Миссис Шортли покачала головой, но ничего не ответила. Отвечать ей, в сущности, было нечего, ибо она только сейчас до этого додумалась. Прежде она никогда не размышляла о дьяволе всерьез, ибо считала, что религия нужна только тем, у кого не хватает мозгов избежать неприятностей без ее помощи. Для таких же, как она, для людей деловых и здравомыслящих, религия — всего лишь

предлог, чтобы собраться вместе и попеть гимны, но если бы она дала себе труд задуматься на этот счет, то наверняка сочла бы главным дьявола, а бог был бы просто так, сбоку припека. С приездом этих Перемещенных Лиц ей пришлось заново о многом поразмыслить.

— Я только знаю, что Жужа моей Энни Мод говорила, — начала она, но, видя, что миссис Макинтайр нарочно не спрашивает, что же именно та говорила, а вместо этого нагибается, отрывает веточку сассафраса и начинает ее покусывать, продолжала с таким видом, будто сообщает далеко не все, что ей известно. — Жужа говорила, что им тут долго не продержаться — вчетвером-то на семьдесят долларов в месяц.

— Такому не жалко и прибавить, — сказала миссис Макинтайр, — Он мне деньги экономит.

«А Чанси ей, стало быть, не экономит. Чанси встает в четыре часа утра доить ее коров и в летний зной и в зимнюю стужу — и так уже два года подряд. У нее еще никто столько времени не уживался. И вот благодарность — намеки, что ей, видите ли, денег не экономят».

— Как мистер Шортли, лучше ему сегодня? — спросила миссис Макинтайр.

Миссис Шортли считала, что ей давно пора бы задать этот вопрос. Мистер Шортли уже два дня как лежал в постели с приступом. Мистер Гизак в придачу ко всем своим обязанностям работал за него на молочной ферме.

— Ничуть не лучше, — отвечала она. — Доктор сказал, что это у него от переутомления.

— Если мистер Шортли переутомился, значит, он работает еще и на стороне, — сказала миссис Макинтайр и поглядела на миссис Шортли прищуренным глазом, как будто рассматривала дно молочного бидона.

Миссис Шортли не сказала ни слова, но закравшееся ей в душу подозрение сгустилось, как черная грозовая туча. Мистер Шортли и в самом деле работал еще и на стороне, да только у нас свободная страна, и пусть миссис Макинтайр в чужие дела не суется. Мистер Шортли гнал самогон. У него был небольшой самогонный аппарат где-то на задворках фермы, правда на земле миссис Макинтайр, но на земле, которой она только владела, а не пользовалась, на пустой земле, от которой никому не было никакого проку. Мистер Шортли работы не боялся. Он вставал в четыре часа утра и доил ее коров, а в обед, когда

считалось, что он отдыхает, он возился со своим самогонным аппаратом. Не всякий захочет столько работать. Негры знали про его аппарат, но и он тоже знал про их аппараты, и потому между ними никогда не было недоразумений. Вот когда тут появляются иностранцы — люди, которые всюду суют свой нос и ничего не понимают, которые приехали из страны, где все время воюют, где никто не реформировал религию, — с такими людьми надо все время держать ухо востро. Не мешало бы даже издать против них какой-нибудь закон. Сидели бы там у себя и работали бы вместо тех, кого перебили на ихних дурацких войнах.

— Но это еще не все, — вспомнила она вдруг. — Жужа еще говорила, что, как только ее папочка накопит денег, он купит подержанный автомобиль. А когда они купят подержанный автомобиль, только вы их и видели.

— С того, что я ему плачу, он много не накопит, — сказала миссис Макинтайр. — Насчет этого я не беспокоюсь. Конечно, — добавила она, — если мистер Шортли не сможет работать, мне придется использовать мистера Гизака на молочной ферме, и тогда нужно будет дать ему прибавку. Он не курит.

За последнюю неделю она уже пятый раз это повторяет.

— Нет человека, который бы столько работал, так умел бы обращаться с коровами и был бы таким хорошим христианином, как Чанси, — внушительным тоном произнесла миссис Шортли. Она скрестила руки и устремила пронзительный взор вдаль. Грохот трактора и силосорезки усилился, и с другой стороны из-за тростниковых зарослей выехал мистер Гизак.

— Чего нельзя сказать о других, — проворчала она. Интересно, что будет, если поляк наткнется на самогонный аппарат Чанси — догадается он, что это такое, или нет? Беда с этими людьми — никогда не поймешь, что они знают, а чего не знают. Всякий раз как мистер Гизак улыбался, в воображении миссис Шортли возникала Европа — таинственная и зловеющая опытная станция сатаны.

С грохотом, скрежетом и скрипом мимо них проехал трактор, силосорезка и прицеп.

— Подумайте, сколько бы ушло времени, если б тут работали люди и мулы! — прокричала миссис Макинтайр. — А при такой скорости мы тут все за два дня уберем.

— Может, и уберете, если только ничего страшного не случится,— буркнула миссис Шортли. Она думала о том, как трактор обесценил мулов. Нынче мула никто и даром не берет. Следующая очередь за черномазыми, напомнила она себе.

Вечером она объяснила Астору и Салку, какая участь их ожидает. Негры убирали коровник и складывали навоз в навозоразбрасыватель. Она уселась под навес возле бочонка с солью, сложив руки на животе, который свисал ей на колени.

— Вы, черномазые, глядите в оба,— сказала она.— Небось знаете, сколько нынче за мула дают.

— Ничего, как есть ничего,— отозвался старик.

— Пока не было тракторов, годились и мулы. А пока не было перемещенных лиц, годились черномазые. Придет время, когда о черномазых и думать забудут,— продолжала она пророчествовать.

— Так оно и есть,— вежливо ухмыльнулся старик.— Ха-ха-ха.

Молодой негр не сказал ни слова. Он только посмотрел исподлобья, а когда миссис Шортли ушла в дом, проговорил:

— Толстобрюхая хочет показать, будто все наперед знает.

— А тебе-то что? На твое место вряд ли кто позарится, уж больно оно незавидное,— заметил старик.

Своими опасениями насчет самогонного аппарата миссис Шортли поделилась с мужем только тогда, когда он поправился и снова начал работать на молочной ферме. Как-то вечером, когда они оба уже лежали в постели, она сказала:

— Этот тип всюду все высматривает.

Мистер Шортли скрестил руки на своей костлявой груди и лежал неподвижно, как труп.

— Все высматривает,— повторила она и ткнула его коленом в бок.— Кто их знает, что они понимают, а что нет? Ты уверен, что он не пойдет прямо к ней доносить про аппарат, если на него наткнется? Ты уверен, что они там, в Европе, самогонку не гонят? Трактор водить они умеют. Всякие машины себе раздобыли. Ну, чего молчишь?

— Ты ко мне теперь не приставай,— отозвался мистер Шортли.— Я и так до смерти устал.

— Он своими заграничными гляделками все насквозь видит. Да еще плечами пожимает.— Она лежа подергала плечами.— И чего он плечами пожимает — никак я не пойму.

— Если б все так уставали, как я, никто бы ни о чем не тревожился,— сказал мистер Шортли.

— А тут еще этот священник,— пробормотала она и, с минуту помолчав, продолжала: — В Европе, наверно, самогонку совсем другим способом гонят, да только я так думаю, что они все способы знают. Даже самые жульнические. Они всегда были отсталые. И веру ихнюю никто не реформировал — как была она тыщу лет назад, так и теперь осталась. Наверняка это все дьявольские штучки, иначе и быть не может. Вечно друг с другом воюют. Все чего-то поделить не могут. И еще нас в свои дела втягивают, а мы-то, дураки, к ним туда ездим, ихние свары улаживаем, а потом они сюда лезут, по всем углам рыщут, вот найдут твой аппарат и бегом к ней. Да еще чуть что — ручку ей целуют. Слышишь ты, что я тебе говорю, или нет?

— Нет,— отвечал мистер Шортли.

— А еще я вот что тебе скажу,— продолжала она.— По-моему, он все твои слова отлично понимает — хоть ты по-английски говори, хоть нет.

— Я иначе, как по-английски, говорить не умею,— буркнул мистер Шортли.

— Сдается мне, что тут скоро ни одного черномазого не останется. А если хочешь знать, так по мне уж лучше черномазые, чем эти поляки. И еще я тебе скажу, что, когда придет время, я за наших черномазых горой стоять буду. Помнишь, когда этот Гусак только приехал, он с ними за руку здоровался, будто он вовсе и не понимает, что к чему, будто он и сам такой же черномазый, а как увидел, что Салк индюшат таскает, он тут же побежал и донес. Я всегда знала, что он их таскает. Я и сама могла бы ей донести.

Мистер Шортли дышал ровно, делая вид, что уснул.

— Черномазый, он не понимает, кто ему друг,— продолжала она.— И я тебе вот еще что скажу. Я у этой Жужи много чего выпытала. Жужа мне рассказывала, что в Польше они жили в каменном доме и однажды вечером пришел человек и велел им к утру оттуда убраться. Ты думаешь, они и вправду в каменном доме жили? Зада-

ются они, вот что. Слишком уж они задаются. Мне так и деревянный дом хорош. Чанси, да повернись ты сюда. Я не могу смотреть, как обижают и выгоняют черномазых. Я черномазых и бедняков очень даже жалею. Сам скажи, разве не так? И когда придет время, я за черномазых горой стоять буду,— заключила миссис Шортли.— Это уж точно. Я ни за что не позволю, чтоб этот священник выгнал отсюда всех черномазых.

Миссис Макинтайр купила новую лапчатую борону и трактор с подъемником, потому что, сказала она, у нее наконец-то появился человек, который умеет обращаться с машинами. Взяв с собой миссис Шортли, она поехала посмотреть, сколько он успел набороновать накануне.

Миссис Макинтайр очень изменилась с тех пор, как наняла Перемещенное Лицо, и миссис Шортли неотступно следила за этими изменениями. Хозяйка стала вести себя как человек, который тайком от всех начал богатеть, и уже не была с миссис Шортли так откровенна, как прежде. Миссис Шортли подозревала, что во всем виноват священник. Все они жулики, все до единого. Сначала обратит ее в свою веру, а потом запустит лапу к ней в карман. Ну и пусть, так этой дуре и надо! У миссис Шортли тоже была своя тайна. От некоторых известных ей проделок поляка у миссис Макинтайр наверняка глаза на лоб полезут.

— Можете не сомневаться, что он всю жизнь за семьдесят долларов в месяц на вас работать не станет,— сказала она. А уж что они с мистером Шортли знают, то знают и никому об этом докладывать не собираются.

— Ну что ж,— отозвалась миссис Макинтайр.— Может, придется уволить кого-нибудь из других работников и платить ему больше.

Миссис Шортли кивнула, желая показать, что ей все это давным-давно известно.

— Черномазым это, конечно, по заслугам,— сказала она.— Они, правда, стараются как умеют. Черномазому всегда можно сказать, что делать, а потом нужно только проследить, чтоб он все сделал.

— Вот и судья так говорил,— сказала миссис Макинтайр и глянула на нее одобритительно.

Судья был ее первый муж, после которого ей досталась эта ферма. Миссис Шортли слышала, что она вышла замуж за судью, когда ей было тридцать лет, а ему семь-

десять пять. Она надеялась после его смерти разбогатеть, но старик оказался изрядным прохвостом и, когда после смерти привели в порядок его дела, от его состояния не осталось ни цента. Вдова получила только дом и пятьдесят акров земли. Но она всегда отзывалась о судьбе уважительно и любила повторять его поговорки, вроде того, что «несчастье одного — счастье другого» или «знакомый черт лучше незнакомого».

— И вообще, знакомый черт лучше незнакомого, — заметила миссис Шортли и отвернулась, чтобы миссис Макинтайр не увидела ее улыбки.

О кознях Перемещенного она выведала у старика Астора, но рассказала о них только мистеру Шортли. Мистер Шортли восстал из постели, как Лазарь из гроба.

— Не ври! — сказал он.

— Я не вру! — сказала она.

— Врешь! — сказал он.

— Нет! — сказала она.

Мистер Шортли снова повалился на постель.

— Поляк навряд ли сам это придумал, — сказала миссис Шортли. — Его наверняка священник подговаривает. Это его работа.

Священник частенько навещал Гизаков и всякий раз наносил визит миссис Макинтайр. Прогуливаясь с ним по ферме, она показывала ему все свои усовершенствования и слушала его раскатистую трескотню. Миссис Шортли вдруг осенило: уж не хочет ли он пристроить на ферму еще одну польскую семью. Когда их будет две, здесь, пожалуй, кроме польского, ничего и не услышишь! Негров уволят, и здесь будут сразу две польские семьи против них с мистером Шортли. Она представила себе войну слов, увидела, как польские и английские слова наступают друг на друга, упрямо продвигаясь вперед, — причем не фразы, а именно отдельные слова, отрывистые, резкие, визгливые, — а потом они схватились вплотную. Она увидела, как польские слова — грязные, не ведавшие реформации всезнайки — швыряют мусор в чистые английские, пока все не становится одинаково грязным. Потом она увидела, что все они свалены в кучу в одной комнате, все грязные мертвые слова — их слова и ее слова тоже — свалены, совсем как те голые трупы в кинохронике. Боже, спаси меня от гнусной власти сатаны! — возопила она про себя и с этого дня с новым рвением принялась за чтение Библии. Она упива-

лась Апокалипсисом, начала цитировать пророков и вскоре более глубоко проникла в смысл своей собственной жизни. Она ясно увидела, что в основе мироздания лежит некий таинственный план, и ничуть не удивилась догадке, что в этом плане особое место уделено и ей, ибо она — человек сильный и твердый. Она поняла, что всемогущий господь создал сильных людей, чтобы они выполняли назначенное им, и почувствовала, что, когда ее призовут, она будет готова. А пока ее дело — следить за священником.

Его посещения раздражали ее все больше и больше. Прошлый раз он ходил и подбирал с земли перья. Он нашел два павлиньих пера, четыре или пять индюшачьих и одно старое коричневое куриное, сложил их в букет и увез с собой. Эта дурацкая выходка не обманула миссис Шортли. Вот он тут весь как на ладони — приводит на чужие земли орды иностранцев сеять распри, разгонять черномазых, водворять вавилонскую блудницу в самую гущу праведников! Всякий раз, как он появлялся на ферме, она норовила куда-нибудь спрятаться и не сводила с него глаз, пока он не уезжал.

А в один воскресный вечер ей было виденье. У мистера Шортли болела нога, и ей пришлось вместо него загонять коров. Она медленно брела по выгону, скрестив на груди руки и глядя на далекие низкие облака, которые напоминали рыб, выброшенных волною на берег большой голубой бухты. Поднявшись на невысокий холм, она в изнеможении вздохнула — вес у нее был огромный, а годы уже немолодые. Порой миссис Шортли чувствовала, как сердце, словно кулачок ребенка, сжимается и разжимается в груди, и, когда у нее появлялось это чувство, мысли полностью выключались, а она двигалась неизвестно куда и зачем, словно гигантская пустая оболочка собственного существа. Однако сейчас она, не дрогнув, преодолела подъем и, чрезвычайно довольная собой, остановилась на гребне холма. Вдруг она увидела, что небо раздвинулось, словно занавес в театре, и перед нею предстала гигантская фигура, золотисто-белая, как солнце в послеполуденный час. Фигура не имела определенной формы, и вокруг нее быстро вращалось несколько огненных колес, в центре которых сверкали свирепые черные глаза. Необъятные размеры фигуры мешали разобрать, движется она вперед или назад. Миссис Шортли зажмурилась, чтобы лучше видеть, и тогда фигура стала кроваво-красной, а колеса — белыми.

Громовой голос произнес одно-единственное слово: «Пророчествуи!»

Она стояла на холме, слегка пошатываясь, но все еще держалась очень прямо. Глаза у нее были крепко закрыты, кулаки сжаты, соломенная шляпа низко надвинута на лоб.

— Дети нечестивых народов будут истреблены, — громко произнесла она. — Ноги на месте рук, ступня на лице, ухо в ладони. Кто уцелеет? Кто уцелеет? Кто?

Потом она открыла глаза. Небо было полно белых рыб. Они лениво лежали на боку, и невидимое течение уносило их прочь, а кусочки солнца, утонувшие где-то позади, время от времени всплывали на поверхность, словно их смывало в противоположную сторону. Тяжело передвигая одеревеневшие ноги, миссис Шортли пересекла выгон и добралась до коровника. Словно в забытьи, она прошла сквозь коровник, не сказав ни слова мистеру Шортли, выбралась на дорогу и остановилась только тогда, когда увидела перед домом миссис Макинтайр автомобиль священника.

— Опять он здесь, — пробормотала она. — Явился, разрушитель.

Миссис Макинтайр и священник прогуливались по двору. Чтоб не столкнуться с ними, миссис Шортли свернула налево и зашла в кормовой склад, небольшой сарайчик, в одном углу которого были свалены разноцветные мешки с отрубями, в другом валялась куча устричных раковин, а на стенах висели грязные старые календари с рекламой кормов для телят и различных патентованных средств. На одном календаре был изображен бородастый джентльмен в сюртуке, с бутылкой в руках, а под ним стояла надпись: «Этот пищеварительный бальзам сделал меня человеком!» Миссис Шортли всегда питала симпатию к этому почтенному джентльмену, словно он был ее добрый знакомый, но сейчас все ее мысли были сосредоточены на опасности, которой грозило присутствие священника. Она встала перед щелью в дощатой стене и сквозь нее увидела его и миссис Макинтайр, подходивших к индюшатнику, который находился за кормовым складом.

— Аххх! Посмотрите на этих птичек! — воскликнул священник и, подойдя к индюшатнику, заглянул за проволочную сетку.

Миссис Шортли скривила губы.

— Так вы не думаете, что Гизаки захотят от меня уйти? — спросила миссис Макинтайр. — Что они захотят уехать в Чикаго или куда-нибудь еще?

— Ну зачем же им уезжать? — Прижавшись длинным носом к сетке, священник скрюченным пальцем подманивал индюшонка.

— Из-за денег, — сказала миссис Макинтайр.

— А-а-а-а... Ну, прибавьте им плату, — равнодушно отозвался он. — Надо же им как-то сводить концы с концами.

— Мне тоже надо сводить концы с концами, — проворчала миссис Макинтайр. — Придется, значит, избавиться кой от кого другого.

— А эти Шортли вас устраивают?

Индюки явно интересовали его гораздо больше, чем она.

— За последний месяц я пять раз заставляла мистера Шортли в коровнике с сигаретой, — сказала миссис Макинтайр. — Пять раз.

— А негры разве лучше?

— Они лгут, воруют, и за ними все время нужен глаз.

— Тц-тц-тц. Так кого же вы хотите уволить?

— Я решила завтра предупредить мистера Шортли, что через месяц он свободен, — объявила миссис Макинтайр.

Священник, казалось, почти ее не слушал. Он просунул в сетку палец и безостановочно крутил им, подманивая индюшат. Миссис Шортли так тяжело плюхнулась на открытый мешок с отрубями, что вокруг нее поднялись клубы пыли. Она вдруг осознала, что смотрит прямо перед собой на противоположную стену, где джентльмен с календаря рекламировал свое изумительное открытие, но совершенно его не видит. Она смотрела перед собой, не видя ничего вообще. Потом она вскочила и бросилась к дому. Лицо ее стало багрово-красным, как раскаленная лава.

Дома она распахнула все шкафы, вытащила из-под кроватей картошные коробки, старые потрепанные чемоданы и принялась без передышки бросать в них содержимое шкафов, даже не сняв своей широкополой шляпы. Обеих девочек она заставила работать тоже. Когда мистер Шортли вошел в дом, она на него даже не взглянула. Одной рукой продолжая укладывать вещи, она указала другую на дверь.

— Подведи машину к заднему крыльцу! — крикнула она. — Нечего тут сидеть и ждать, когда тебя выгонят!

Мистер Шортли еще ни разу в жизни не усомнился во всеведении своей жены. Сразу поняв, в чем дело, он только скорчил кислую мину, вышел из дома и отправился за автомобилем.

Они привязали на крышу машины обе кровати, поставили между ними два кресла-качалки, засунув в середину свернутые тюфяки, а поверх всего водрузили корзину с курами. В кузов затолкали старые чемоданы и ящики, оставив небольшое местечко для Энни Мод и Сары Мэй. На погрузку ушел весь вечер и полночи, но миссис Шортли твердо решила уехать с этой фермы не позже четырех часов утра, чтобы мистеру Шортли больше не пришлось возиться с доильным аппаратом. Лицо ее все это время попеременно краснело и бледнело.

Незадолго до рассвета, когда начал моросить дождик, семейство Шортли было готово к выезду. Все четверо влезли в машину, кое-как втиснувшись между свертками, ящиками и узлами с постелью. Старомодный черный автомобиль тронулся с места, скрежеща сильнее обычного, словно сердито протестуя против непосильного груза. Сзади на ящиках примостились обе белобрысые костлявые девчонки, а где-то внизу под узлами — щенок гончей и кошка с двумя котятами. Словно перегруженный, давший течь ковчег, автомобиль медленно отошел от лачуги Шортли, миновал белый дом, где крепко спала миссис Макинтайр, не ведая о том, что нынешним утром мистер Шортли не придет доить ее коров, оставил в стороне торчавшую на вершине холма лачугу поляка и выехал на дорогу к воротам. По дороге плелись друг за другом оба негра — они шли помогать мистеру Шортли доить коров. Негры взглянули на машину и пассажиров, но даже в то короткое мгновение, когда тусклые желтые фары осветили их лица, они, казалось, вежливо ничего не заметили или, во всяком случае, ничего не поняли, словно то была не набитая домашним скарбом машина, а всего лишь сгусток тумана, что клубится на дороге в предрассветный час. Не оглядываясь и не замедляя шага, они тихонько поплелись дальше.

Темно-желтое солнце начинало всходить на небе, таком же гладком и сером, как шоссе, по обеим сторонам которого простирались безжизненные, заросшие сорняками поля.

— Куда ехать? — в первый раз за все время спросил мистер Шортли.

Миссис Шортли сидела, подогнув одну ногу, а вторую поставив на ящик под таким углом, что колено вдавилось ей в живот. Локоть мистера Шортли приходился у нее под самым носом, а босая левая нога Сары Мэй торчала над спинкой переднего сиденья, касаясь материнского уха.

— Куда ехать? — снова спросил мистер Шортли и, снова не получив ответа, обернулся и посмотрел на жену.

Багровый румянец медленно заливал ей лицо — казалось, будто жаркая кровь, набирая силу, готовится к последнему яростному броску. Хотя одна нога у нее была поджата, а колено второй чуть ли не упиралось в подбородок, миссис Шортли сидела очень прямо. Ее льдисто-голубые глаза как-то неестественно потускнели. Можно было подумать, что они обратились внутрь. Внезапно она схватила локоть мистера Шортли, ногу Сары Мэй и изо всех сил потащила их к себе, точно хотела приспособить себе две лишние конечности.

Мистер Шортли выругался и быстро затормозил, Сара Мэй взвизгнула, но миссис Шортли, очевидно, решила незамедлительно навести порядок в машине. Она дергалась из стороны в сторону, хватая все, что попадалось ей под руку — голову мистера Шортли, ногу Сары Мэй, кошку, край торчащего из узла белого одеяла, свое толстое лунообразное колено, — и тянула все это к себе. Внезапно выражение ярости на ее лице сменилось изумлением и она бессильно выпустила все из рук. Один ее глаз повернулся к другому, потом оба остановились и она затихла.

Девчонки, не понимая, что с ней происходит, наперебой спрашивали: «Куда мы едем, ма? Куда мы едем?» Они думали, что она дурачится, а отец, молча уставившийся ей в лицо, притворяется мертвым. Они не понимали, что совершилось величайшее событие ее жизни и что она навеки перемещена из того мира, который был ее миром. Их пугало расстилавшееся впереди гладкое серое шоссе, и они все более тонкими голосами твердили: «Куда мы едем, ма? Куда мы едем?» — между тем как их мать, всем своим грузным телом отвалившись на спинку сиденья, голубыми стекляшками глаз, казалось, созерцала впервые раскрывшиеся перед ней бесконечные просторы ее истинной родины.

— Ну что ж,— сказала миссис Макинтайр старому негру.— Обойдемся без них. Все они так, приходят и уходят — что черные, что белые.

С граблями в руках она стояла посреди телятника, который Астор чистил, и то выгребала откуда-нибудь из дальнего угла кукурузный початок, то тыкала в пропущенную им грязную лужу. Узнав об отъезде Шортли, она очень обрадовалась. Значит, ей не придется их увольнять. Люди, которых она нанимала, всегда рано или поздно от нее уходили — такой уж это народ. Из всех ее работников Шортли были лучшими — если не считать Перемещенного Лица. Они ведь не совсем голытьба, а миссис Шортли просто хорошая женщина, и, пожалуй, без нее будет даже скучновато, но, как говаривал, бывало, судья, нельзя одновременно и невинность соблюсти и капитал приобрести, а мистер Гизак вполне ее устраивает.

— Да, видали мы, как они приходят и уходят,— с удовольствием повторила она.

— А мы с вами как были тут, так и есть,— отозвался старик. Он нагнулся и начал выгребать мусор из-под кормушки.

По его тону миссис Макинтайр прекрасно поняла, что он хочет сказать. Лучи солнца, пробиваясь сквозь щели в потолке, падали ему на спину, как бы разрезая ее на три части. Она смотрела на сплюснутое лицо старика и на длинные руки, крепко вцепившиеся в мотыгу. Может, ты и был тут до меня, подумала она, но я наверняка останусь здесь, когда тебя давно уже не будет.

— Я полжизни провозилась с никчемными людишками,— строго проговорила она,— но теперь с меня хватит.

— Что черные, что белые — разницы нет,— сказал старик.

— С меня хватит,— повторила миссис Макинтайр, одергивая ворот темного халата, который она накинула на плечи вместо плаща. На голове у нее была широкополая черная соломенная шляпа. Двадцать лет назад она заплатила за нее двадцать долларов, а теперь прикрывалась ею от солнца.

— Деньги — корень всех зол,— продолжала она.— Судья это каждый день повторял. Он говорил, что лучше

бы их совсем не было. Что вы, черномазые, оттого так и обнаглели, что в обращении ходит слишком много денег.

Старик негр хорошо помнил судью.

— Судья, он говорит, что мечтает дожить до того дня, когда у него не будет больше денег нанимать черномазых,— сказал он.— Когда, говорит, такой день настанет, мир опять перевернется с головы на ноги, вот что он говорил.

Миссис Макинтайр наклонилась вперед, подбоченившись и вытянув шею.

— Ну так вот, у нас этот день, можно сказать, почти что настал. Я вам давно говорю — смотрите в оба. Я больше со всякими бездельниками возиться не стану. У меня теперь есть человек, которому нужно работать!

Старик знал, когда ответить, а когда и промолчать. Немного выждав, он сказал:

— Видали мы, как они приходят и уходят.

— Впрочем, Шортли еще далеко не худшие,— сказала она.— Я отлично помню этих Герринов.

— Это те, что были перед Коллинзами.

— Нет, перед Рингфилдами.

— Ох уж эти Рингфилды! — вздохнул старик.

— Вся эта публика попросту не хочет работать,— сказала миссис Макинтайр.

— Видали мы, как они приходят и уходят,— повторил он, словно рефрен,— но такого, как этот,— тут он нагнулся, чтоб заглянуть ей в лицо,— такого, как этот, у нас еще отродясь не бывало.

Кожа у старого негра была цвета корицы, а глаза до того потускнели от старости, что казалось, будто они завешаны паутиной.

Миссис Макинтайр пристально на него посмотрела и не отводила глаз до тех пор, пока он снова не нагнулся и не выгреб из-под тачки кучу стружек.

— Поляк уже вычистил коровник за то время, что мистер Шортли только еще раздумывал да собирался,— с расстановкой проговорила она.

— На то он и есть из Полячии,— проворчал старик.

— Не из Полячии, а из Польши.

— В Полячии не то, что у нас, у них там все по-другому,— сказал он и принялся бормотать что-то невнятное.

— Что ты там болтаешь? Если хочешь что-нибудь про него сказать, говори громко.

Неестественно согнув колени, старик отскребал снизу дно кормушки.

— Если ты видишь, что он делает что-нибудь дурное, ты должен сразу же мне сказать.

— Не то чтоб дурное, а так... другие так не делают, — пробормотал старик.

— Ничего ты про него не знаешь, — отрезала миссис Макинтайр. — Он здесь, здесь и останется.

— Такого, как он, у нас еще отродясь не бывало, — сказал старик и вежливо усмехнулся.

— Времена меняются. Знаешь, что сейчас делается с земным шаром? Он просто пухнет. На нем развелось столько народу, что выжить могут только самые ловкие, бережливые и энергичные, — сказала она, отстукивая по ладони в такт словам «ловкие, бережливые и энергичные».

В дальнюю дверь стойла ей была видна дорога, ведущая к коровнику. У открытого коровника стоял мистер Гизак с зеленым шлангом в руках. Во всем его облике чувствовалась какая-то скованность, заставлявшая миссис Макинтайр даже в мыслях подходить к нему с опаской. Наверно, это оттого, что с ним так трудно разговаривать, решила она. Когда ей нужно было что-нибудь ему сказать, она сразу начинала кричать, мотать головой и размахивать руками, и всякий раз при этом чувствовала, что из-за ближайшего сарая подглядывает или подслушивает кто-нибудь из негров.

— Нет и нет, — заявила она, усаживаясь на кормушку. — Я теперь твердо решила, что бездельников с меня хватит. Очень мне надо на старости лет возиться со всякими Шортли, Рингфилдами и Коллинзами, когда на свете полно людей, которым нужно работать.

— А откуда вдруг взялось столько лишних? — спросил негр.

— Люди думают только о себе, — отвечала она. — Слишком много детей наплодили. Это в наше время ни к чему.

Старик взялся за тачку и, пятясь, покатил ее из телятника. На пороге он остановился, наполовину в тени, наполовину на солнце, и принялся жевать беззубыми деснами, словно позабыв, куда хотел ехать.

— Вот вы, цветные, никак не поймете, что вся эта ферма только на мне и держится. Будете плохо работать — у меня не хватит денег и я не смогу вам платить. Все вы тут

от меня зависите, а ведете себя так, словно дело обстоит наоборот.

По лицу старого негра невозможно было определить, слышал он ее слова или нет. В конце концов он вместе с тачкой выбрался из телятника.

— Судья всегда говорил, что знакомый черт лучше незнакомого, — проворчал он и покатил прочь.

Миссис Макинтайр встала и пошла за ним. На самой середине ее лба прямо над рыжей челкой внезапно обозначилась глубокая вертикальная складка.

— На этой ферме давно уже не судья платит по счетам! — крикнула она ему вслед.

Из всех ее негров один только Астор знал судью и считал, что это придает ему вес. О других ее мужьях, мистере Крумсе и мистере Макинтайре, он был весьма невысокого мнения и в свойственной ему туманной манере выражал ей одобрение по поводу обоих разводов. Когда он находил нужным высказаться, он начинал что-нибудь делать у нее под окном и, пускаясь в подробное рассмотрение интересующего его предмета, задавал вопросы и сам же на них отвечал, сопровождая каждый ответ хитроумным комментарием. Однажды миссис Макинтайр молча встала и с таким грохотом захлопнула окно, что старик с перепугу свалился с ног. Или он вступал в беседу с павлином. Павлин ходил за ним по пятам, не сводя глаз с початка кукурузы, который торчал у него из заднего кармана, или сидел рядышком и чистил перья. Однажды из окна кухни она услышала, как старик говорил птице: «Я еще помню те времена, когда вас тут штук двадцать расхаживало, а теперь только ты один да еще две павы остались. При Крумсе вас было двенадцать. При Макинтайре пять. А теперь только ты да еще две павы».

Тут миссис Макинтайр вышла на крыльцо и сказала:

— *Мистер Крумс и мистер Макинтайр.* Не смей никогда называть их иначе. И запомни раз и навсегда: когда этот павлин околеет, других здесь больше не будет.

Она оставила этого павлина только из суеверного страха, что судья может рассердиться, лежа в могиле. Судья любил смотреть, как по ферме расхаживают павлины, и говорил, что, глядя на них, чувствует себя богатым. Из троих ее мужей один лишь судья, казалось, все время оставался при ней, хотя только одного его уже не было в живых. Он покоился на фамильном кладбище — малень-

ком, обнесенном изгородью клочке земли посреди кукурузного поля где-то на задах фермы — вместе со своими родителями, с дедом, с тремя тетками и двумя умершими в младенчестве двоюродными братьями. Второй ее муж, мистер Крумс, сидел в сумасшедшем доме штата милах в сорока от фермы, а последний, мистер Макинтайр, наверняка валялся пьяный в какой-нибудь флоридской гостинице. Но судья, вместе со своими родными зарытый в землю на кукурузном поле, всегда оставался дома.

Она вышла за него, когда он был уже стариком, вышла ради денег, но существовала еще одна причина, в которой она тогда не хотела признаться даже самой себе, — судья ей нравился. Этот неопрятный, обсыпанный табаком слугитель правосудия, слышший в округе богачом, зимой и летом носил один и тот же серый в черную полоску костюм, сапоги, узкий галстук и порыжелую соломенную шляпу. Волосы и зубы у него были табачного цвета, а медно-красная физиономия пестрела таинственными пятнами и рябинами, словно его выкопали из земли вместе с другими окаменелостями доисторических времен. От него постоянно исходил специфический запах пропитанных потом засаленных банкнот, хотя он никогда не имел в кармане ни цента. Несколько месяцев она проработала у него секретаршей, и старик своим острым глазом разглядел, что перед ним женщина, которой он нравится сам по себе. Три года, которые они прожили после свадьбы, были самыми счастливыми и благополучными в ее жизни, но, когда судья умер, выяснилось, что он полный банкрот. Вдове достался в наследство заложенный дом и пятьдесят акров земли, на которых судья незадолго до смерти ухитрился вырубить весь лес. Он как бы унес с собой в могилу все свое достояние, завершив этой последней победой свой безоблачный жизненный путь. Но миссис Макинтайр все-таки сумела выстоять. Она выстояла, несмотря на вереницу таких арендаторов и работников молочной фермы, с какими даже и сам судья едва ли бы смог совладать. Она сумела выдержать постоянный натиск угрюмых негров, от которых никогда не знаешь, чего ожидать, и ухитрялась даже не поддаваться на улещания всевозможных случайных кровопийц вроде гуртовщиков, лесоторговцев, а также продавцов и покупателей всяческого товара, когда они, отчаянно сигналив, въезжали во двор на собранных из разнокалиберных частей грузовиках.

И вот сейчас миссис Макинтайр, слегка откинувшись назад и сложив под халатом руки, с довольным видом наблюдала, как мистер Гизак отключил шланг и скрылся в коровнике. Она жалела этого несчастного, который был изгнан из Польши, бежал через всю Европу и теперь вынужден ютиться на чужбине в лачуге арендатора. Но разве это ее вина? Ей самой в жизни тоже приходилось нелегко. Она знает, что такое борьба. Все люди должны бороться. Мистер Гизак вряд ли много боролся. Ему, наверно, и так все давали — и по дороге через Европу и здесь, в Америке, тоже. Она дала ему работу. Она не знала, благодарен он ей или нет. Она вообще не знала о нем ничего, кроме того, что он делает свое дело. По правде говоря, он все еще казался ей не вполне реальным. Он был словно чудо, происшедшее у нее на глазах, о котором она могла говорить, но в которое так до сих пор и не поверила.

Она увидела, как он вышел из коровника и поманил к себе Салка, который появился на краю загона. Мистер Гизак начал жестикулировать, потом вытащил из кармана какой-то предмет и они оба стали его рассматривать. Миссис Макинтайр направилась к ним. Долговязый расхлябанный негр по-идиотски вытянул шею, на которой сидела круглая голова. В сущности, он был почти слабоумный, но такие всегда хорошо работают. Судья говорил: всегда нанимай слабоумных черномазых, у таких не хватит соображения бросить работу. Поляк продолжал энергично жестикулировать. Потом он ушел, оставив что-то в руках у молодого негра, и не успела миссис Макинтайр свернуть с дороги на тропинку, как раздался треск заводимого трактора. Мистер Гизак выезжал в поле. Негр все еще стоял как вкопанный и, вытаращив глаза, рассматривал то, что было у него в руке.

Миссис Макинтайр прошла сквозь коровник, одобрительно разглядывая мокрый, безупречно чистый бетонный пол. Всего половина десятого, а у мистера Шортли и до одиннадцати никогда ничего не было вымыто. Выйдя через противоположную дверь на другую сторону, она увидела перед собой Салка. Он медленно брел по тропинке, которая под косым углом пересекала дорогу, все еще не сводя глаз с того, что дал ему мистер Гизак. Не замечая миссис Макинтайр, Салк остановился, присел на корточки и стал облизывать губы. В руке он держал какую-то фотографию и водил по ней пальцем. Потом поднял глаза, увидел мис-

сис Макинтайр и мгновенно застыл, ослабившись и вытянув палец кверху.

— Почему ты не пошел в поле? — спросила миссис Макинтайр.

Он выпрямился, поднял одну ногу, еще шире разинул рот, а рука с фотографией потянулась к заднему карману штанов.

— Что это у тебя? — спросила миссис Макинтайр.

— Ничего, — пробормотал он, но машинально протянул ей снимок.

Со снимка спокойно и ласково смотрела светлоглазая девочка лет двенадцати, в белом платье и с венком на белокурой голове.

— Кто эта малютка? — спросила миссис Макинтайр.

— Она ему племянница, — тонким голосом ответил негр.

— Ну, а ты-то тут при чем?

— Она за меня замуж пойдет, — еще более тонким голосом объявил он.

— За тебя?! — вскричала миссис Макинтайр.

— Я плачу половину, чтоб она приехала, — пояснил негр. — Три доллара в неделю. Она теперь большая. Ему племянница. Она за кого хочешь выйдет, только бы оттуда уехать.

Высокий голос как бы взмыл в воздух судорожной звуковой струей, но тут же упал, когда негр увидел лицо миссис Макинтайр. Глаза ее сверкали, как голубой гранит под лучами яркого солнца, но она смотрела не на него, а на дорогу, с которой доносился отдаленный гул трактора.

— Только я думаю, она все равно не приедет, — промямлил негр.

— Я позабочусь, чтоб ты получил обратно все свои деньги до последнего цента, — тихим ровным голосом проговорила миссис Макинтайр и пошла прочь, сжимая в руке сложенную пополам фотографию. По ее маленькой прямой фигурке совсем не было видно, как глубоко она потрясена.

Добравшись до дому, она легла на кровать, закрыла глаза и прижала руку к сердцу, словно стараясь удержать его на месте. Рот у нее открылся, и она издала несколько хриплых нечленораздельных звуков, потом, минутой спустя, села на кровати и громко сказала:

— Все эти люди одинаковы! Всегда одно и то же! — При этих словах она снова упала навзничь. — Двадцать лет одни сплошные неудачи, один сплошной обман! Даже его могилу — и ту ограбили! — Вспомнив об этом, она тихонько заплакала, вытирая глаза полем своего халата.

Речь шла об ангеле на могиле судьи. Это был голый гранитный херувим, которого старик однажды увидел в городе в витрине похоронного бюро. Он сразу пленился этим херувимом — отчасти потому, что усмотрел в его лице сходство с женой, а отчасти потому, что хотел украсить свою могилу настоящим произведением искусства. Возвращаясь домой, он поставил херувима рядом с собой на плюшевое сиденье вагона. Миссис Макинтайр не находила в херувиме ни малейшего сходства со своей персоной. Она считала его просто уродом, но, когда Геррины украли его с могилы судьи, была прямо-таки вне себя от возмущения. Миссис Геррин херувим казался очень хорошеньким, и она часто ходила на кладбище им любоваться, а когда Геррины уехали, херувим уехал вместе с ними — весь, кроме пальцев ног, потому что топор, которым старик Геррин его отбивал, нанес удар чуть повыше, чем надо. Миссис Макинтайр так и не смогла собраться со средствами и купить нового.

Наплакавшись вволю, она встала и прошла в кабинет — тесное, похожее на чулан помещение, в котором было темно и тихо, как в часовне, — и присела на краешек черного вращающегося кресла судьи, опершись локтем о его письменный стол. Стол этот представлял собой огромное сооружение с откидной крышкой и множеством отделений, набитых пыльными бумагами. Из выдвинутых наполовину ящиков торчали старые чековые книжки и запыленные гроссбухи, а посередине, словно дарохранительница, стоял пустой, но запертый маленький сейф. После смерти судьи эта часть дома оставалась нетронутой. Это был как бы памятник ему — священное место, где судья занимался делами. При малейшем движении кресло начинало скрипеть, словно старый скелет. Звук этот очень напоминал голос судьи, когда тот, бывало, жаловался на свою нищету. У него было правило говорить о себе как о самом несчастном бедняке, и миссис Макинтайр тоже усвоила это правило — не только потому, что его придерживался судья, но еще и потому, что это вполне соответствовало действительности. Когда она сидела здесь, обратив к пустому сейфу нахму-

ренное лицо, она не сомневалась, что беднее ее нет никого на свете.

Миссис Макинтайр просидела за столом минут десять-пятнадцать, после чего, словно набравшись сил, поднялась, села в машину и поехала на кукурузное поле.

Дорога шла через тенистую сосновую рощу и заканчивалась на вершине холма, откуда веером опускалась вниз, а потом снова взбегала по склону густая кудрявая зелень. Мистер Гизак двигался кругами от края поля к центру, где в зарослях кукурузы едва можно было заметить маленькое кладбище, и миссис Макинтайр увидела его на дальнем конце поля, где снова начинался подъем. Он сидел на тракторе, за которым тряслась силосорезка с прицепом. Время от времени ему приходилось слезать с трактора и забираться на прицеп, чтобы разровнять силос, потому что негр еще не пришел. Стоя перед своей черной двухместной машиной, миссис Макинтайр сложила руки под халатом и с нетерпением ждала, пока мистер Гизак, медленно продвигаясь по краю поля, не приблизился к ней на такое расстояние, что можно было знаком приказать ему сойти с трактора. Он остановил трактор, спрыгнул и побежал к ней, вытирая ветошью обветренные щеки.

— Мне надо с вами поговорить, — сказала миссис Макинтайр, подзывая его в тень на опушке рощи.

Мистер Гизак снял шапку и пошел за ней, улыбаясь, но улыбка его мгновенно угасла, когда она обернулась и посмотрела ему прямо в лицо. Ее брови, тонкие и жесткие, как паучьи лапы, угрожающе сошлись, а из-под рыжей челки к переносице пролегла глубокая вертикальная складка. Она вынула из кармана сложенную фотографию и молча протянула ее поляку, потом отступила назад и проговорила:

— Мистер Гизак! Вы хотите выписать сюда это бедное невинное дитя и выдать за слабоумного вонючего негра, который еще и вор к тому же. Что вы за чудовище!

Мистер Гизак взял фотографию, и на лицо его медленно вернулась улыбка.

— Моя племянница, — сказал он. — Тут двенадцать. Первое причастие. Теперь шестнадцать.

Чудовище, повторила она про себя и посмотрела на него так, словно увидела в первый раз. Лоб и лысина у него были белыми в тех местах, где их защищала от солнца шапка, а остальная часть лица была красной и заросла короткой желтой щетиной. Глаза, словно две шляпки от гвоз-

дей, блестели под очками в золотой оправе, которая была сломана и скреплена проволокой на переносице. Лицо, казалось, было шито на скорую руку из лоскутков нескольких разных лиц.

— Мистер Гизак,— начала она медленно, постепенно ускоряя свою речь, пока наконец не задохнулась посередине слова.— Нельзя, чтобы этот черномазый женился на белой девушке из Европы. И нечего вам разговаривать с ним так. Вы только зря его взбудоражите, и, кроме того, вообще так нельзя. Возможно, у вас в Польше по-другому, но у нас так нельзя и вам придется это прекратить. Все это сплошные глупости. У этого черномазого пусто в голове, и вы его только взбудо...

— Она в лагерь три года,— сказал он.

— Нельзя, чтобы ваша племянница приехала сюда и вышла замуж за моего негра,— решительно заявила она.

— Шестнадцать год,— сказал поляк.— Из Польши. Папа умер, мама умер. Она ждет в лагерь... Три лагерь.

Он вынул из кармана бумажник, порылся в нем и вытащил другую фотографию той же девочки, но уже на несколько лет старше. Одета в какой-то темный бесформенный балахон, она стояла у стены рядом с низенькой, явно беззубой женщиной.

— Она мама,— сказал он, указывая на женщину.— Она умер в два лагерь.

— Мистер Гизак,— сказала миссис Макинтайр, отталивая фотографию,— я не допущу, чтобы моих негров сбивали с толку. Я могу обойтись без вас, но без них я обойтись не могу, и если вы еще раз заговорите с Салком об этой девочке, вы не будете больше у меня работать. Понятно вам или нет?

На лице мистера Гизака не выразилось никакого понимания. Казалось, он собирает в уме все ее слова, пытается сложить из них законченную мысль.

Миссис Макинтайр вспомнила слова миссис Шортли: «Он все отлично понимает, он только притворяется, будто не понимает, чтобы все делать по-своему», и на лице ее опять появилось прежнее выражение негодования и ужаса.

— Не понимаю, как человек, называющий себя христианином, может притащить сюда бедную невинную девочку и отдать ее за подобную тварь. Не понимаю я этого. Не понимаю — и все!

Перемещенный пожал плечами и устало опустил руки.

— Ей все равно, что черный. Она три год в лагерь,— сказал он.

Миссис Макинтайр почувствовала в ногах какую-то странную слабость.

— Мистер Гизак,— сказала она,— надеюсь, я не должна буду еще раз говорить с вами на эту тему. Иначе вам придется искать себе другое место. Вы понимаете?

Лоскутное лицо ничего не выражало. У нее было такое впечатление, будто он вообще ее не видит.

— Эта ферма моя,— сказала она.— И мне решать, кто сюда приедет, а кто нет.

— Да,— сказал он, надевая шапку.

— Я не могу отвечать за бедствия всего мира,— добавила миссис Макинтайр, словно эта мысль только сейчас пришла ей в голову.

— Да,— сказал он, слегка пожал по своему обыкновению плечами и вернулся к трактору.

Она смотрела, как он садится на трактор и снова въезжает в кукурузу. Когда трактор проехал и стал удаляться, двигаясь по краю поля, она взобралась на гребень холма и, скрестив руки, мрачным взором окинула все вокруг.

— Все они одинаковы — хоть из Польши, хоть из Теннесси. Но я управлялась с Герринами, Рингфилдами и Шортли. Управляюсь и с Гизаком,— пробормотала она и так сильно прищурила глаза, что уменьшающаяся фигурка на тракторе виднелась как бы сквозь прорезь ружейного прицела. Всю свою жизнь она боролась против всяких излишеств, и вот теперь у нее самой появилось излишество — этот поляк.

— Ты ничуть не лучше всех остальных, ты только ловкий, бережливый и энергичный, но ведь и я такая же. А ферма эта моя,— сказала миссис Макинтайр.

Она стояла на холме, скрестив на груди руки,— маленькая женщина в черной шляпе и в черном халате, с лицом стареющего херувима — стояла, готовая ко всему. Но сердце ее стучало так сильно, как будто внутри у нее уже что-то сломалось. Она широко раскрыла глаза и увидела все поле, на фоне которого фигурка на тракторе казалась чуть побольше кузнечика.

Так она постояла еще некоторое время. Поднялся ветерок, и кукуруза закачалась высокими волнами. Большая силосорезка с монотонным гулом продолжала выбрасывать в прицеп ровную струю измельченного фуража. К вечеру

мистер Гизак пройдет кругами все поле и на склонах обоих холмов не останется ничего, кроме стерни, а внизу, посередине, островком поднимется кладбище, где под оскверненным памятником, ухмыляясь, покоится судья.

III

Священник, подперев одним пальцем свою длинную, слащавую физиономию, уже десять минут рассуждал о чистилище, а миссис Макинтайр, сидя напротив, смотрела на него прищуренным негодующим взглядом. Они пили лимонад на террасе ее дома, и она беспрерывно побрякивала кубиками льда в стакане, побрякивала своими бусами, побрякивала браслетом — как застоявшаяся лошадка звенит сбруей. У меня нет никаких моральных обязательств перед этим человеком, — твердила она про себя, — абсолютно никаких. Внезапно она вскочила на ноги и звук ее голоса перекрыл ирландское рокотанье священника, как визг дрели перекрывает мерное гудение механической пилы.

— Послушайте! Я не богослов, я деловая женщина! — воскликнула она. — Я хочу поговорить с вами о деле.

— Ахх, — вздохнул он и со скрипом умолк.

Чтобы выдержать его затянувшийся визит, миссис Макинтайр налила в свой лимонад примерно на палец виски и теперь неловко опустила в кресло, которое оказалось к ней ближе, чем она ожидала.

— Мистер Гизак меня не устраивает, — заявила она.

Старик в притворном изумлении поднял брови.

— Он лишний, — продолжала миссис Макинтайр. — Он здесь не к месту. Мне нужен человек, который будет к месту.

Священник осторожно повернул лежавшую у него на коленях шляпу. Он умел минуту переждать, а потом снова ловко направить разговор в желательное для себя русло. Ему было лет восемьдесят. Миссис Макинтайр прежде никогда не зналась со священниками, да и с этим познакомилась, только когда решила заполучить на ферму Перемещенное Лицо. Он достал ей поляка, а потом — как она и ожидала — воспользовался этим деловым знакомством, чтобы попытаться обратить ее в свою веру.

— Дайте ему время, — сказал старик, — он привыкнет и тогда будет к месту. Где ваша великолепная птица? Аххх, вот она!

Он встал и посмотрел на лужайку, где сосредоточенно шагали павлин и две павы, и их длинные взъерошенные шеи — ярко-синяя у павлина и серебристо-зеленые у обеих пав — блестели в предвечернем солнце.

— Мистер Гизак очень хороший работник, — продолжала миссис Макинтайр ровным, лишенным всякого выражения голосом. — Это я должна признать. Но он не понимает, как надо обращаться с неграми, и они его не любят. Я не могу допустить, чтобы он разогнал моих негров. И мне не нравится его поведение. Он ничуть не благодарен за то, что находится здесь.

Священник держал руку на раздвижной двери и теперь открыл ее, собираясь ретироваться.

— Если бы я нашла белого, который понимает негров, я бы отпустила мистера Гизака, — сказала миссис Макинтайр и тоже встала.

Старик обернулся и посмотрел ей прямо в лицо.

— Ему некуда деваться, — сказал он и, немного помолчав, добавил: — Сударыня, я достаточно хорошо вас знаю. Вы не выгоните его из-за каких-то пустяков.

Не дожидаясь ответа, он поднял руку и громким раскатистым голосом произнес благословение.

С досадливой усмешкой миссис Макинтайр сказала:

— Но ведь не я же поставила его в такое положение.

Священник снова обратил свой взор на птиц, которые дошли уже до середины лужайки. Неожиданно павлин остановился, выгнул шею, поднял хвост и с прерывистым шелестом его распустил. Гирлянды маленьких плодоносных солнц поплыли в золотисто-зеленой дымке над его головой. У священника отвисла челюсть, и он в изумлении застыл. Миссис Макинтайр подумала, что в жизни не видывала такого старого дурака.

— Вот так придет Христос! — весело провозгласил он и, вытерев рукою рот, продолжал стоять и смотреть на павлина.

На лице миссис Макинтайр изобразилась оскорбленная пуританская добродетель, и она покраснела. Упоминание имени Христова все шокировало ее точно так же, как некогда ее мать шокировали разговоры на сексуальные темы.

— Не моя вина, что мистеру Гизаку некуда деваться, — сказала она. — Я не виновата, что на свете столько лишних людей.

Старик, казалось, ничего этого не слышал. Все его внимание было приковано к павлину, который медленными шажками отступал назад, откинув голову к своему распущенному хвосту.

— Преображение, — пробормотал старик.

Миссис Макинтайр не поняла, о чем он говорит.

— И вообще мистеру Гизаку незачем было сюда приезжать, — сказала она, метнув на священника сердитый взгляд.

Павлин опустил хвост и принялся щипать траву.

— И вообще ему незачем было приезжать, — повторила она, старательно подчеркивая каждое слово.

Священник рассеянно улыбнулся.

— Он пришел искупить наши грехи, — проговорил он, учтиво пожал миссис Макинтайр руку и объявил, что ему пора ехать.

Если бы несколько недель спустя не вернулся мистер Шортли, миссис Макинтайр начала бы искать нового работника. Пока он отсутствовал, у нее не было ни малейшего желания, чтобы он вернулся, но, когда она увидела, как знакомая машина проехала по дороге и остановилась возле ее крыльца, ей показалось, что это она сама после долгого тяжелого путешествия возвращается домой. Она вдруг поняла, как ей не хватало миссис Шортли. После отъезда миссис Шортли ей не с кем было поговорить, и она кинулась к дверям, надеясь, что та уже тяжело поднимается по ступенькам.

Мистер Шортли стоял на крыльце один. Он был в черной фетровой шляпе и в рубашке с узором из синих и красных пальм, но складки на его длинном изможденном лице стали еще глубже, чем месяц назад.

— А где миссис Шортли? — спросила миссис Макинтайр.

Мистер Шортли молчал. Перемена в его лице, казалось, была вызвана чем-то, что находилось у него внутри, и у него был вид человека, который долгое время прожил без воды.

— Она была ангел божий, — громко сказал он. — Она была самая лучшая женщина на свете.

— Где же она? — спросила миссис Макинтайр.

— Померла, — отвечал он. — В тот самый день, как мы отсюда уехали, у нее случился удар.

На лице его застыло спокойствие трупа.

— Я так думаю, ее этот поляк прикончил. Она его сразу раскусила. Она знала, что его дьявол сюда послал. Она мне сама говорила.

Миссис Макинтайр целых трое суток переживала смерть миссис Шортли. Можно подумать, что она мне родня, говорила она себе. Она взяла мистера Шортли обратно, хотя без жены он был ей, в сущности, совершенно не нужен. Она сказала, что на днях собирается предупредить Перемещенного, что через месяц он свободен, и тогда мистер Шортли сможет снова занять свое место на молочной ферме. Мистер Шортли предпочел бы сразу пойти работать на молочную ферму, но согласился подождать. Он сказал, что ему приятно будет видеть, как поляк уберется с фермы, а миссис Макинтайр сказала, что ей это будет более чем приятно. Она признала, что ей вообще надо было довольствоваться теми работниками, какие у нее были, а не искать новых на другом конце света. Мистер Шортли сказал, что терпеть не может иностранцев с тех пор, как побывал на первой мировой войне и увидел, каковы они есть. Он сказал, что видел там разных, но все они не такие, как мы. Он сказал, что запомнил лицо того человека, который швырнул в него гранату, и у него были точь-в-точь такие же круглые очки, как у мистера Гизака.

— Но ведь мистер Гизак поляк, а не немец,— заметила миссис Макинтайр.

— Разница не больно-то велика,— разъяснил мистер Шортли.

Негры обрадовались возвращению мистера Шортли. Перемещенный считал, что они должны работать так же усердно, как и он сам, а мистер Шортли понимал, что они могут, а что нет. Сам он никогда не был хорошим работником, даже при жизни миссис Шортли, которая неустанно за ним следила, а без нее стал ещё более забывчивым и медлительным. Поляк работал так же энергично, как всегда, и, казалось, даже не подозревал, что ему грозит увольнение. Миссис Макинтайр видела, как он за короткое время выполнил множество дел, на которые она давно уже махнула рукой. И все же она решила от него избавиться. Она просто не могла спокойно видеть, как этот маленький крепкий человечек носится взад-вперед по ферме, и, кроме того, смутно чувствовала, что священник обвел ее вокруг пальца. Раньше он говорил, что у нее нет никаких юриди-

ческих обязательств держать Перемещенного, если он ей не нравится, а теперь завел речь об обязательствах моральных.

Она собиралась ему сказать, что у нее имеются моральные обязательства перед своими, например перед мистером Шортли, который в мировой войне сражался за свою страну, а отнюдь не перед мистером Гизаком, который просто приехал сюда извлекать выгоду из всего, что придется. Она чувствовала, что должна выложить все это священнику до того, как уволит Перемещенного. Когда наступило первое число, а священник все не являлся, она отложила увольнение поляка еще на некоторое время.

Мистер Шортли говорил себе, что ему следовало бы знать заранее: женщина никогда не сделает того, что обещала, тогда, когда обещала. Но сколько же можно мириться с нерешительностью миссис Макинтайр. Он думал, что ей жалко поляка и она боится его выгнать, потому что ему трудно будет найти себе другое место. На этот счет он мог бы ее успокоить: если она его уволит, то через три года у него будет собственный дом с телевизионной антенной на крыше. Из тактических соображений мистер Шортли стал каждый вечер приходить к заднему крыльцу ее дома и излагать ей некоторые факты.

— Иной раз белому не оказывают того уважения, какое черному достается, но это все равно, потому что белый, он белый и есть, но случается... — тут он умолкал и обращал свой взор в пространство, — случается, человек сражался, кровь проливал, жизнь за родину положил — а ему предпочитают такого, что вроде тех, с кем он воевал. Вот я вас и спрашиваю: справедливо это или нет?

Задавая миссис Макинтайр подобные вопросы, он смотрел ей в лицо и видел, что его речи производят на нее сильное впечатление. Последнее время она очень осунулась. Он заметил вокруг ее глаз морщины, которых не было, когда, кроме них с миссис Шортли, на ферме работали только негры. Всякий раз, когда он вспоминал миссис Шортли, сердце у него обрывалось и падало, как старое ведро в пересохший колодец.

Старый священник долго не приезжал — видимо, в последний раз миссис Макинтайр сильно его напугала, но в конце концов, убедившись, что Перемещенный не уволен, он решился снова явиться и возобновить свои наставления с того самого места, где он их прервал. Миссис Макинтайр

не просила, чтобы ее наставляли, но он все равно наставлял, ибо привык в каждый разговор — независимо от того, с кем он говорил, — вернуть несколько слов о смысле какого-либо таинства или догмата. Он сидел на крыльце у миссис Макинтайр, не обращая внимания на полувозмущенное-полунасмешливое выражение ее лица, а она болтала ногой в ожидании момента, когда можно будет вклиниться в его речь.

— Ибо, — говорил он таким тоном, словно рассказывал о вчерашнем происшествии в городе, — ибо когда всевышний послал своего единственного сына Иисуса Христа, господя нашего... — при этих словах он слегка наклонил голову, — когда он послал его в качестве спасителя человечества, он...

— Отец Флинн! — Голос миссис Макинтайр заставил священника вздрогнуть. — Отец Флинн! Мне надо поговорить с вами об одном серьезном деле.

У старика задергался правый глаз.

— Насколько я понимаю, — сказала она, сердито сверкнув на него глазами, — насколько я понимаю, Христос и сам был Перемещенным Лицом.

Священник приподнял руки и снова уронил их себе на колени.

— Аххх, — пробормотал он, словно обдумывая эту мысль.

— Я намерена отпустить этого человека, — сказала она. — У меня нет перед ним никаких обязательств. У меня есть обязательства перед людьми, которые сделали что-то для своей родины, а не перед теми, которые просто явились сюда извлекать выгоду из всего, что можно.

И она принялась скороговоркой излагать все свои аргументы. В ожидании, когда она выговорится, священник, казалось, укрыл свои мысли в какой-то тайной часовне. Раза два он окидывал взглядом лужайку, словно искал способ спастись бегством, но миссис Макинтайр не умолкала. Она говорила ему, что уже тридцать лет мается на этой ферме, еле-еле сводя концы с концами, — все из-за людей, которые приходят неизвестно откуда и уходят неизвестно куда и у которых только и заботы, что купить себе подержанный автомобиль. Все они одинаковы — хоть из Теннесси, хоть из Польши. Когда Гизаки накопят денег, они сразу же ее бросят. Она сказала, что те люди, которые кажутся богатыми, на самом деле беднее всех, потому что у них

самые большие расходы. Не мешало бы ему подумать, как она ухитряется платить по счетам за корма. Например, сказала она, ей хотелось бы отремонтировать дом, но у нее нет на это денег. У нее нет даже денег, чтобы восстановить памятник на могиле мужа. Пусть он попробует угадать, сколько она платит ежегодно одной только страховки. И в заключение спросила, уж не думает ли он, что она печатает деньги, и тут старик вдруг как-то громко и невежливо хмыкнул, словно этот вопрос показался ему очень смешным.

Когда священник наконец уехал, ей стало не по себе, хотя она явно одержала над ним верх. Теперь она твердо решила первого числа объявить Перемещенному, что дает ему месяц срока, и сообщила об этом мистеру Шортли.

Мистер Шортли ничего на это не ответил. Из всех известных ему женщин одна только его супруга никогда не боялась выполнять свои обещания. Она говорила, что поляка наслал на них сам дьявол вместе с этим священником. Мистер Шортли не сомневался, что священник приобрел какую-то тайную власть над миссис Макинтайр и что она скоро начнет посещать его мессы. У нее был такой вид, словно что-то точит ее изнутри. Она похудела, стала более суетливой и не такой дотошной, как прежде. Она смотрела на молочный бидон и не видела, какой он грязный, и мистер Шортли замечал, что у нее шевелятся губы, даже когда она молчит. Поляк всегда делал все как следует и все равно страшно ее раздражал. Сам мистер Шортли работал как попало — отнюдь не всегда по ее вкусу, но она, казалось, не замечала и этого. Однако она заметила, что поляк и все его домашние поправляются; она сказала мистеру Шортли, что щеки у них округлились и что они экономят каждый цент.

— Да, мэм, и в один прекрасный день он сможет купить и продать вас со всеми потрохами, — рискнул заметить мистер Шортли. Он был уверен, что это замечание задело ее за живое.

— Я только жду первого числа, — сказала она.

Мистер Шортли тоже ждал первого числа, но оно пришло и ушло, а поляка миссис Макинтайр так и не уволила. Мистер Шортли заранее знал, что так оно и будет. Он не был жестоким человеком, но ему противно было видеть, как женщину обводит вокруг пальца какой-то иностранец.

Он считал, что мужчина не может спокойно смотреть со стороны на такие дела.

Ничто не мешало миссис Макинтайр уволить мистера Гизака, но она со дня на день все откладывала и откладывала. Она волновалась за свои счета и за свое здоровье, она не спала ночами, а когда засыпала, то видела Перемещенного во сне. Она еще никогда никого не увольняла, все уходило от нее сами. Однажды ей приснилось, что мистер Гизак со всем своим семейством переезжает в ее дом, а она переезжает к мистеру Шортли. Это было уже слишком: она проснулась и потом несколько ночей не спала совсем. В другой раз она видела во сне, что к ней явился священник и начал бубнить: «Сударыня, я знаю, ваше доброе сердце не допустит, чтобы вы выгнали этого несчастного человека. Подумайте о тысячах ему подобных, о печах, о товарных вагонах и лагерях, о больных детях и о господе нашем Иисусе».

«Он тут лишний, он нарушил все равновесие, а я женщина деловая, я рассуждаю логически, и здесь нет ни печей, ни лагерей, ни господ нашего Иисуса, и, когда он отсюда уедет, он будет зарабатывать гораздо больше. Он устроится на завод и купит себе машину, и вы, пожалуйста, ничего мне не говорите — всем им только машина и нужна», — отвечала ему миссис Макинтайр.

«Печи, и вагоны, и больные дети, — продолжал бубнить священник, — и господь наш Иисус Христос».

«Просто один лишний», — отвечала она.

Наутро, сидя за завтраком, она решила немедленно предупредить мистера Гизака об увольнении, вышла из кухни и, в рассеянности прихватив с собой салфетку, зашагала по дороге. Мистер Гизак поливал из шланга хлев. Он стоял, по своему обыкновению откинувшись назад и уперев одну руку в бок. Выключив шланг, он сердито посмотрел на нее, словно она помешала ему работать. Она не придумала заранее, что ему скажет, а просто пришла и теперь стояла в дверях, хмуро оглядывая безупречно чистый пол и стойки, с которых капала вода.

— Вы нездорова? — спросил он.

— Мистер Гизак, я теперь едва свожу концы с концами, — громко сказала миссис Макинтайр и, помолчав, добавила еще громче, подчеркивая каждое слово: — Я должна платить по счетам.

— Я тоже,— развел руками мистер Гизак.— Много счета, мало деньги.

Миссис Макинтайр увидела, как чья-то длинноногая тень, словно змея, скользнула по противоположной стене хлева и остановилась посредине освещенного солнцем дверного проема, а где-то позади, там, где раньше скрежетали лопаты негров, внезапно воцарилась тишина.

— Эта ферма моя,— сердито проговорила миссис Макинтайр,— а вы все здесь лишние! Все до единого!

— Да,— ответил мистер Гизак и снова включил шланг.

Она вытерла губы салфеткой, которую все еще держала в руке, и пошла прочь, словно выполнив то, зачем приходила.

Тень мистера Шортли отодвинулась от двери, он прислонился к стене хлева и закурил вынутый из кармана окурок сигареты. Теперь ему оставалось только ждать, когда рука всевышнего поразит поляка, но одно он знал твердо: молча ждать он не будет.

С этого утра он начал жаловаться и излагать свое мнение по этому поводу каждому встречному и поперечному — все равно, будь то белый или черный. Он жаловался в бакалейной лавке, возле здания суда, на уличном перекрестке и даже адресовался к самой миссис Макинтайр, ибо скрывать ему было нечего. Если бы Перемещенный мог понять, что он говорит, он адресовался бы и к нему тоже.

— Все люди созданы свободными и равными,— говорил он миссис Макинтайр,— и я не щадил живота своего, чтобы это доказать. Поехал за океан, сражался, кровь проливал, жизни не пожалел, вернулся и увидел, кто отнял у меня работу — тот самый, с кем я воевал. Меня чуть не убило гранатой, и я видел, кто ее бросил — недоросток в точно таких же очках, как у него. Может, они их даже в одной аптеке покупали. Мир тесен.— И он горько усмехнулся.

С тех пор как не стало миссис Шортли и вести разговоры больше было некому, он начал вести их сам и обнаружил, что у него к этому большие способности. Оказалось, что он обладает даром убеждения и может убеждать своей логикой других. Он стал подолгу беседовать с неграми.

— И чего ты не возвращаешься в Африку? — спросил он однажды у Салка, когда они вместе чистили силосную яму.— Ведь это же ваша родина.

— Я туда не поеду. Меня там съедят,— отвечал негр.

— Ну, если ты будешь себя хорошо вести, то можешь оставаться и тут,— добродушно заметил мистер Шортли.— Ты ведь ниоткуда не убежал. Твоего деда привезли. Он во все не хотел сюда ехать. А вот которые сбежали оттуда, где жили, тех я не терплю.

— Чего мне ездить,— сказал негр.

— Если б мне снова пришлось куда-нибудь ехать,— заметил мистер Шортли,— я бы поехал в Китай либо в Африку. Приезжаешь туда и сразу видишь: мы — одно, а они — другое. А в прочие страны приедешь, так там ничего и не разберешь, покуда они говорить не начнут. Да еще не всегда и узнаешь, потому что там половина народа по-английски говорить умеет. Вот в чем беда-то наша — зачем мы им всем позволили английский выучить. Было б куда лучше, если б каждый только свой один язык знал. Моя супруга, она всегда говорила: кто два языка знает, у того вроде бы глаза на затылке выросли. Она, брат, все как есть понимала!

— Да уж что правда, то правда,— пробурчал молодой негр.— Она была хорошая женщина. Я другой такой хорошей белой женщины сроду не видывал.

Мистер Шортли отвернулся и некоторое время работал молча. Потом он выпрямился и постучал по плечу негра рукояткой лопаты. Секунду он молча на него смотрел, и в его влажных глазах формировалась какая-то глубокая мысль. Наконец он тихо произнес:

— Мне отпущение, сказал господь.

Миссис Макинтайр вскоре обнаружила, что в городе все знают мнение мистера Шортли об ее делах и все ее осуждают. Она начала понимать, что ее моральный долг — уволить поляка и что она уклоняется от его выполнения, потому что не находит в себе сил. Она больше не могла выдержать всевозрастающего чувства вины, и однажды холодным субботним утром, сразу же после завтрака, отправилась увольнять Перемещенного. Она пошла к машинному навесу, где он заводил трактор.

Ночью ударил мороз, и покрытая инеем земля напоминала курчавую овечью шкуру. Солнце было совсем серебристое, а на горизонте сухим частоколом щетинился лес. Все словно отступало подальше от тесного кольца грохота вокруг навеса. Мистер Гизак, сидя на корточках возле маленького трактора, привинчивал какую-то деталь.

Миссис Макинтайр подумала, что за тот месяц, который ему осталось у нее проработать, он, может быть, успеет перепахать все ее поля. Рядом стоял молодой негр, держа в руках инструменты, а мистер Шортли готовился вывести из-под навеса большой трактор. Она решила подождать, пока они оба уйдут, чтоб никто не мешал ей выполнить эту неприятную обязанность.

Глядя на мистера Гизака, она топала по затвердевшей земле немеющими от холода ногами. Она надела толстое пальто, повязала на голову красный платок, а поверх него для защиты от яркого света нахлобучила еще широкополую черную шляпу. Глаза ее, затененные черными полями, смотрели как-то рассеянно, и время от времени она молча шевелила губами. Стараясь перекричать грохот трактора, мистер Гизак велел негру подать ему гаечный ключ. Получив инструмент, он залез под машину и лег спиной на обледенелую землю. Головы его не было видно, из-под трактора дерзко торчало только туловище и ноги в потрескавшихся, облепленных комьями глины резиновых сапогах. Он поднял одно колено, потом снова опустил и слегка повернулся. Из всего, что раздражало в нем миссис Макинтайр, больше всего раздражало ее то, что он не ушел от нее сам, по собственной воле.

Мистер Шортли сел на большой трактор и начал задом выводить его из-под навеса. Казалось, его согревает жар этой огромной машины и он мгновенно повинуется исходящим от нее импульсам. Он направил ее под уклон к маленькому трактору, но на полпути затормозил, спрыгнул и пошел обратно к навесу. Не отрывая взгляда от вытянутых на земле ног мистера Гизака, миссис Макинтайр услышала, как большой трактор сорвался с тормоза, и, подняв глаза, увидела, как он медленно пополз вниз. Впоследствии она вспомнила, что ясно видела, как негр отскочил с дороги, словно его отпустила торчавшая из-под земли пружина, как мистер Шортли с невообразимой медлительностью повернул голову и стал молча смотреть через плечо, а сама она хотела окликнуть Перемещенного, но не окликнула. Она почувствовала, что ее глаза, глаза мистера Шортли и глаза негра сошлись в одном взгляде, спаявшем их вечным единством сообщников, и услышала тихий всхлип, который издал поляк, когда колесо большого трактора переломило ему хребет. Мистер Шортли и негр бросились на помощь, а она упала в обморок.

Она помнила, что потом, придя в себя, куда-то побежала — не то в дом, не то из дому, — но никак не могла припомнить, зачем она туда бегала и не упала ли там в обморок еще раз. Когда она в конце концов вернулась к тракторам, там уже стояла карета скорой помощи. Тело мистера Гизака закрыли от нее склоненные спины его жены и двоих детей и черная спина еще какого-то человека, который стоял над ним, бормоча непонятные слова. Сперва она подумала, что это доктор, но потом с досадой узнала священника — он приехал в санитарной машине и теперь совал что-то в рот раздавленному поляку. Вскоре священник выпрямился, и тогда она посмотрела сначала на его окровавленные брюки, а потом на лицо, которое было обращено к ней, но казалось таким же бесконечно далеким и равнодушным, как все окружающее. Она смотрела на него молча — случившееся так сильно ее потрясло, что она была как бы не в себе. Она не вполне понимала, что происходит. Ей казалось, будто она находится где-то в другой стране, будто люди, склонившиеся над телом, — туземцы, и она, словно чужая, отрешенно смотрела, как покойника несут в санитарную машину.

В тот же вечер мистер Шортли без всякого предупреждения уехал искать себе новое место, а негра Салка внезапно обуяло желание побродить по свету, и он отправился в южную часть штата. Старик Астор один работать не мог. Миссис Макинтайр вряд ли даже заметила, что лишилась всех своих работников, потому что ее увезли в больницу с нервным потрясением. Возвратившись домой, она вскоре убедилась, что уже не в силах справиться с хозяйством, и тогда она поручила маклеру продать ее стадо с торгов (что он и сделал ей в убыток) и стала жить на сбережения, пытаясь сохранить свое подорванное здоровье. Одна нога у нее почти отнялась, голова и руки начали трястись, и в конце концов она слегла в постель, и при ней осталась только цветная служанка. Зрение у нее постепенно слабело, а голос совершенно пропал. Мало кому приходило в голову ее навестить, кроме старого священника. Он приезжал регулярно раз в неделю, привозил кулек хлебных крошек и, накормив ими павлина, садился возле постели миссис Макинтайр и толковал ей догматы святой церкви.



Проснувшись, мистер Хед увидел, что комната залита лунным светом. Он сел в постели и посмотрел на половицы — цвета серебра! — на тиковую наволочку, которая казалась парчовой, и тут же увидел в пяти шагах, в зеркале для бритья, половину луны, будто ждущей, чтобы он разрешил ей войти. Она покати-лась дальше, и ее свет облагоро-дил все предметы в комнате. Стул у стены словно замер в го-товности исполнять приказания, а висящие на нем брюки мисте-ра Хеда выглядели прямо-таки аристократично, точно брошен-ное на руки слуге одеяние вель-можи. Но луна была печальна. Лунный диск в зеркале смотрел в окно на лунный диск, плыву-щий над конюшней, и, казалось, созерцал самого себя глазами юноши, которому представилась его старость.

Мистер Хед мог бы сказать луне, что старость — это дар божий и что только с годами приходит трезвое понимание жизни, необходимое наставнику

молодежи. С ним, по крайней мере, было так.

Сидя, он ухватился за прутья в изножии кровати и под-тянулся, чтобы увидеть циферблат будильника, который стоял на перевернутом ведре возле стула. Было два часа ночи. Звонок будильника был испорчен, но мистер Хед и без всяких приспособлений умел просыпаться вовремя. Ему стукнуло шестьдесят, но годы не притупили его ре-акций; его телом и душой управляли воля и сильный ха-рактер, и эти качества были написаны у него на лице — длинном лице с длинным закругленным бритым подбород-ком и длинным повисшим носом. Глаза — живые, по спо-

койные — в чудодейственном свете луны смотрели страстно и умудренно; такие глаза могли быть у одного из великих наставников человечества. У Вергилия, которого подняли среди ночи и послали сопровождать Данте, или, вернее, у ангела Рафаила, когда свет господен разбудил его, чтобы он сопутствовал Товии. Темно было только в тени под самым окном, там, где стояла раскладушка Нелсона.

Нелсон свернулся клубочком, прижав колени к подбородку. Коробки с новым костюмом и шляпой, присланными из магазина, стояли на полу около раскладушки, чтобы быть у него под рукой, как только он проснется. Ночной горшок, на который уже не падала тень, в лунном свете казался белоснежным маленьким ангелом, охранявшим сон ребенка. С уверенностью, что ему по плечу воспитательная миссия предстоящего дня, мистер Хед улегся снова. Он хотел встать раньше Нелсона и приготовить завтрак к тому времени, когда он проснется. Мальчик всегда злился, если мистер Хед вставал раньше него. Чтобы поспеть на станцию к половине шестого, выйти надо в четыре. Поезд подойдет в пять сорок пять, и опоздать никак нельзя — ведь его остановят только ради них.

Мальчик едет в город первый раз, хотя и твердит, что второй, поскольку он там родился. Мистер Хед пробовал объяснить ему, что тогда он был еще совсем глупый и не мог понимать, где находится, но мальчик заладил свое и ничего слушать не хочет. Сам мистер Хед едет в третий раз.

Нелсон сказал ему:

— Мне вот десять лет, а я уже второй раз еду.

Мистер Хед стал с ним спорить.

— Ты там пятнадцать лет не был, — сказал Нелсон, — а вдруг ты заблудишься? Там теперь небось все по-другому.

— А ты когда-нибудь видел, чтобы я заблудился? — спросил мистер Хед.

Нелсон, конечно, этого не видел, но он любил, чтобы последнее слово оставалось за ним, и ответил:

— А тут и заблудиться-то негде.

— Придет день, — изрек мистер Хед, — и ты поймешь, что не такой уж ты умник, как тебе кажется.

Он вынашивал план этой поездки несколько месяцев, думая, правда, в основном о ее воспитательной цели. Маль-

чик получит урок на всю жизнь. Он перестанет задирать нос из-за того, что родился в городе. Поймет, что в городе нет ничего хорошего. Мистер Хед покажет ему город, как он есть, чтоб ему до конца жизни больше не захотелось уезжать из дому. В конце концов мальчик поймет, что не такой уж он умник, как ему кажется, думал мистер Хед, засыпая.

В половине четвертого его разбудил запах жареного сала, и он вскочил на ноги. Раскладушка была пуста, а коробки раскрыты. Он натянул брюки и побежал в кухню. Мясо было уже готово, а на плите жарилась кукурузная лепешка. Мальчик сидел в полутьме за столом и пил из жестянки холодный кофе. Он был в новом костюме, новая серая шляпа съехала ему на глаза. Она была ему велика — на рост куплена. Нелсон молчал, но весь его вид говорил о том, как он доволен, что встал раньше мистера Хеда.

Мистер Хед подошел к плите и взял сковородку с мясом.

— Торопиться некуда,— сказал он.— Успеешь в свой город, и к тому же еще неизвестно, понравится тебе там или нет.

И он сел напротив мальчика, а шляпа Нелсона медленно передвинулась на затылок, открыв вызывающе бесстрастное лицо — живой портрет мистера Хеда. Дед и внук были похожи, как братья и чуть ли не братья-погодки, потому что при дневном свете в облике мистера Хеда проглядывало что-то детское, а у мальчика были глаза старика, который все на свете уже знает и был бы рад забыть.

Когда-то у мистера Хеда были жена и дочь, потом жена умерла, а дочь сбежала и через некоторое время вернулась с Нелсоном. А потом однажды утром, не вставая с постели, она тоже умерла и оставила годовалого ребенка на руках у мистера Хеда. Он имел неосторожность сказать Нелсону, что тот родился в Атланте. Не скажи он этого, Нелсон не твердил бы теперь, что едет в город второй раз.

— Тебе там, может, вовсе даже и не понравится,— продолжал мистер Хед.— Там черномазых полно.

Мальчик скорчил гримасу, означавшую, что черномазые ему нипочем.

— Ты же не знаешь, что это такое,— сказал мистер Хед.— Ты негра в глаза не видел.

— Не очень-то рано ты встал,— сказал Нелсон.

— Ты негра в глаза не видел,— повторил мистер

Хед.— В нашей округе ни одного нет, последнего мы выгнали двенадцать лет назад, тебя тогда на свете не было.— Он с вызовом посмотрел на мальчика: попробуй, мол, скажи, что видел негра.

— Почему ты знаешь, может, я их видел, когда там жил,— сказал Нелсон.— Может, я уйму негров видел.

— А если и видел, так не понял, кто это такой,— раздраженно сказал мистер Хед.— В полгода ребенок не отличит негра от белого.

— Уж если я увижу черномазого, так как-нибудь разберусь,— сказал мальчик, встал, поправил свою серую, с шикарной вмятиной, шляпу и вышел на улицу, в уборную.

Они пришли на полустанок загодя и встали в трех шагах от рельсов. Мистер Хед держал пакет с завтраком — галетами и коробкой сардин. Грубое оранжевое солнце, вставая из-за гор, окрасило небо позади них в унылый багровый цвет, но впереди оно по-прежнему было серое, и на нем серела прозрачная, как отпечаток пальца, луна, совсем не дававшая света. Лишь по будке стрелочника и черной цистерне можно было догадаться, что здесь полустанок; рельсы вдоль всей вырубki шли в две колеи, не сходясь и не пересекаясь, и справа и слева скрывались за поворотом. Поезда выскакивали из леса, как из черной трубы, и, словно ушибившись о холодное небо, в ужасе снова прятались в лесу. Когда мистер Хед покупал билеты, он договорился, чтобы поезд здесь остановили, но в глубине души боялся, что он пройдет мимо и тогда Нелсон, конечно, скажет: «Так я и знал! Кто ты такой, чтобы ради тебя поезда останавливать!» Под бесполезной утренней луной рельсы казались белыми и хрупкими. Старик и мальчик пристально смотрели в одну точку, как будто ожидая явления духа.

Мистер Хед уже решил было идти домой, но тут раздалось тревожное басовитое мычание и поезд, сияя желтым фонарем, медленно и почти бесшумно выполз из-за лесистого поворота ярдах в двухстах от них. Старик все еще опасался, что поезд не остановится, а скорость сбавил, просто чтобы над ним насмеяться. И он, и Нелсон приготовились сделать вид, что не замечают поезда, если он пройдет мимо.

Паровоз проехал, обдав их запахом горячего металла, а второй вагон остановился как раз перед ними. Проводник, похожий на старого обрюзгшего бульдога, стоял на под-

ножке, как будто ждал их, хотя, судя по его лицу, ему было все равно, влезут они или нет.

— Направо проходите, — сказал он.

Посадка заняла не больше секунды, и, когда они вошли в тихий вагон, поезд уже набирал скорость. Пассажиры почти все спали, кто положив голову на подлокотник, кто заняв сразу два сиденья, а кто вытянув ноги в проход. Мистер Хед заметил два свободных места и подтолкнул к ним Нелсона.

— Иди вон туда, к окошку, — сказал он, и, хотя он говорил как обычно, в этот ранний час его голос прозвучал очень громко. — Там никто не сидит, значит, и возражать никто не будет. Садись, и все.

— Я не глухой, — ответил мальчик. — Можешь не орать.

Он сел и отвернулся к окну. Бледное, призрачное лицо хмуρο глянуло на него из-под бледной, призрачной шляпы. Дед тоже бросил быстрый взгляд в окно и увидел другого призрака — такого же бледного, но ухмыляющегося, в черной шляпе.

Мистер Хед уселся, вытащил свой билет и начал читать вслух все, что было на нем напечатано. Спящие зашевелились, некоторые спросонья таращились на него.

— Сними шляпу, — сказал он Нелсону, снял свою и положил ее на колени.

Остатки его седых волос, которые с годами приобрели табачный оттенок, прикрывали только затылок. Череп был голый, а лоб весь в морщинах. Нелсон тоже снял шляпу, положил ее на колени, и они стали ждать, пока проводник придет проверять билеты.

Напротив, упершись ногами в окно и выставив голову в проход, вытянулся мужчина в голубом костюме и расстегнутой желтой рубашке. Он открыл глаза, и мистер Хед хотел ему представиться, но тут за его спиной появился проводник и рявкнул:

— Ваши билеты!

Когда проводник ушел, мистер Хед дал Нелсону его обратный билет и сказал:

— На, положи в карман, да смотри не потеряй, не то придется тебе в городе остаться.

— Может, и останусь, — сказал Нелсон на полном серьезе.

Мистер Хед сделал вид, что не слышит.

— Парень в первый раз на поезде едет,— объяснил он пассажиру в желтой рубашке, который теперь сидел на своем месте, спустив ноги.

Нелсон снова нахлобучил шляпу и сердито отвернулся к окну.

— Он у меня вообще ничего не видел,— продолжал мистер Хед.— Несмышлениш, все равно что новорожденный младенец. Но я решил — пусть насмотрится досыта, раз и навсегда.

Мальчик перегнулся через деда и обратился к пассажиру напротив:

— Я в этом городе родился,— сказал он.— Я городской. Я туда второй раз еду.

Он говорил громко и уверенно, но тот, кажется, не понял. Под глазами у него были фиолетовые мешки.

Мистер Хед через проход дотронулся до его рукава.

— Когда растишь парня,— глубокомысленно произнес он,— надо показывать ему все, как оно есть. Ничего не скрывать.

— Угу,— сказал пассажир в желтой рубашке.

Он разглядывал свои отечные ноги, слегка приподняв левую. Потом опустил ее и поднял правую. В вагоне стали просыпаться, вставать, ходить, зевать, потягиваться. Раздавались голоса, слившиеся потом в общий гул. Вдруг лицо мистера Хеда утратило безмятежное выражение. Рот у него закрылся, в глазах появился свирепый и тревожный блеск. Он глядел куда-то в глубь вагона. Не оборачиваясь, он дернул Нелсона за руку.

— Смотри,— сказал он.

К ним медленно приближался огромный мужчина кофейного цвета. На нем был светлый костюм и желтый атласный галстук, заколотый рубиновой булавкой. Одна рука покоилась на животе, величественно колыхавшемся под пиджаком, а в другой он держал черную трость, которую неторопливо поднимал и снова опускал при каждом шаге. Он шествовал очень медленно, глядя большими карими глазами поверх голов. У него были седые усики и седые курчавые волосы. За ним шли две молодые женщины, тоже кофейного цвета, одна в желтом платье, другая в зеленом. Им приходилось идти так же медленно, и на ходу они негромко переговаривались гортанными голосами.

Мистер Хед все крепче и настойчивей сжимал руку Нелсона. Процессия поравнялась с ними, и сверканье сап-

фира на коричневой руке, поднимавшей трость, отразилось в зрачках мистера Хеда, но он не поднял глаз и громадный мужчина тоже не взглянул на него. Тронца прошептала через вагон и вышла. Мистер Хед отпустил руку Нелсона.

— Кто это был? — спросил он.

— Человек, — сказал мальчик с негодованием, ему надоело, что его все время считают за дурака.

— Какой человек? — невозмутимым тоном настаивал мистер Хед.

— Толстый, — сказал Нелсон; он начал опасаться какого-нибудь подвоха.

— Так, значит, ты не знаешь, какой это человек? — подвел итог мистер Хед.

— Старый, — сказал мальчик, и вдруг у него появилось предчувствие, что этот день не принесет ему радости.

— Это был негр, — сказал мистер Хед и откинулся на спинку кресла.

Нелсон вскочил на сиденье ногами и, повернувшись, посмотрел в конец вагона, но негра уже не было.

— А я-то думал, что ты негра сразу узнаешь, ты же с ними так хорошо познакомился, когда в городе жил, — продолжал мистер Хед. — Никогда в жизни не видел негра, — объяснил он пассажиру в желтой рубашке.

Мальчик снова сполз на сиденье.

— Ты говорил, они черные, — сердито сказал он. — Так бы и говорил, что они коричневые. Не можешь как следует объяснить. Этак я никогда ничего знать не буду.

— Несмышлениш ты, вот и все, — сказал мистер Хед, встал и пересел на свободное место напротив.

Нелсон снова повернулся и стал смотреть туда, где исчез негр. Этот негр как будто нарочно прошел по вагону, чтобы осрамить его, и он возненавидел его своей первой в жизни темной, яростной ненавистью; теперь он понимал, почему дедушка их не любит. Он взглянул в окно: лицо в стекле, казалось, говорило, что в этот день он еще не раз попадет впросак. А вдруг он и города-то не узнает?

Мистер Хед рассказал соседу несколько историй, а потом заметил, что тот заснул; тогда он встал и предложил Нелсону пройтись по поезду и осмотреть его. Особенно ему хотелось показать мальчику туалет, поэтому они прежде всего отправились в мужскую уборную. Мистер Хед продемонстрировал охладитель для питьевой воды с таким видом, будто сам его изобрел, и показал Нелсону ра-

ковину с одним краном, где пассажиры чистят зубы. Они прошли еще несколько вагонов и попали в вагон-ресторан.

Это был самый роскошный вагон в поезде — яично-желтые стены, вишневый ковер на полу. Окна над столиками были широкие, и в кофейниках и стаканах отражались в миниатюре большие куски проносящегося мимо пейзажа. Три очень черных негра в белых костюмах и передниках сновали по проходу с подносами и хлопотали вокруг завтракающих. Один из них подлетел к мистеру Хеду и, подняв два пальца, сказал: «Есть два места», — но мистер Хед громко ответил:

— А мы поели перед отъездом.

Официант был в очках, и от этого белки его глаз казались еще больше.

— Тогда попрошу в сторонку, — сказал он и слегка взмахнул рукой, будто мух отгонял.

Ни Нелсон, ни мистер Хед не сдвинулись с места.

— Смотри, — сказал мистер Хед.

Два столика в углу отделялись от остального помещения занавеской апельсинового цвета. Один столик был накрыт, но свободен, а за другим, лицом к ним и спиной к занавеске, сидел тот самый громадный негр. Он что-то тихо говорил женщинам, намазывая булочку маслом. У него было обрюзгшее, грустное лицо, а белый воротничок врезался в шею.

— Им загончик устроили, — объяснил мистер Хед. Потом он сказал: — Пошли посмотрим кухню, — и они двинулись по проходу между столиков, но черный официант тут же нагнал их.

— Пассажирам входить в кухню не разрешается, — сказал он высокомерным тоном. — Пассажирам входить в кухню не разрешается.

Мистер Хед остановился и круто обернулся.

— И слава богу, — прокричал он прямо в грудь негру, — а то бы тараканы пассажиров съели!

За столиками засмеялись, и мистер Хед с Нелсоном, ухмыляясь, вышли. Дома мистер Хед славился остроумием, и Нелсон вдруг ощутил пронзительный прилив гордости. Он понял, что в том чужом месте, куда они едут, старик будет его единственной опорой. Без дедушки он останется один-одинешенек на белом свете. Он задрожал от страха и волнения, и ему захотелось, как маленькому, крепко-крепко ухватиться за дедушкин пиджак.

Когда они возвращались в свой вагон, в окнах среди полей и лесов уже мелькали домики; рядом с железной дорогой тянулось шоссе. По шоссе двигались автомобильчики, очень маленькие и быстрые. Нелсон заметил, что здешним воздухом дышится не так легко, как дома. Пассажир в желтой рубашке вышел, и мистеру Хеду не с кем было поговорить, поэтому он стал смотреть в окно, сквозь свое отражение, и читать вслух вывески на зданиях, мимо которых они проезжали.

— Ореховое масло «Мечта»! — провозглашал он. — Химическая Корпорация Южных Штатов! Мука «Южная Дева»! Хлопчатобумажные ткани «Южная Красавица»! Ротниковая патока «Черная нянюшка»!

— Тише ты, — прошипел Нелсон.

В вагоне вставляли и вынимали из сеток багаж. Женщины надевали пальто и шляпы. Проводник, просунув голову в дверь, громко и невнятно объявил название остановки, и Нелсон, весь дрожа, вскочил на ноги. Мистер Хед взял его за плечи и посадил обратно.

— Сиди, сиди, — покровительственно сказал он. — Первая остановка в пригороде. Вторая — на Центральном вокзале.

Он узнал об этом в свой первый приезд — тогда он сошел в пригороде и ему пришлось выложить пятнадцать центов за то, чтобы его довели до центра. Нелсон, очень бледный, откинулся на спинку кресла. Впервые он понял, что без дедушки ему не обойтись.

Поезд остановился, выпустил нескольких пассажиров и тронулся так плавно, будто и не прерывал движения. За окном позади бурых лачуг синела вереница каменных домов, а еще дальше таяло бледное розовато-серое небо. Поезд проезжал сортировочную станцию. Нелсон видел в окно бесконечные ряды серебряных рельсов — они сходились, расходились, пересекались. Он хотел сосчитать их, но в стекле снова появилось лицо, отчетливое, хоть и серое, и он отвернулся. Поезд уже въехал под крышу вокзала. Они оба вскочили и помчались к дверям. Ни тот, ни другой не заметил, что пакет с завтраком остался на сиденье.

Они чинно проследовали через маленький вокзал и сквозь тяжелую дверь шагнули в бурный уличный поток. Люди толпами спешили на работу. У Нелсона разбежались

глаза. Мистер Хед прислонился к стене и уставился прямо перед собой.

Наконец Нелсон сказал:

— Ну, давай показывай мне все как есть. С чего начинать-то?

Мистер Хед молчал. Потом, как будто вид спешащей толпы подсказал ему решение, ответил: «Походить надо», — и двинулся вперед. Нелсон последовал за ним, придерживая шляпу. На него обрушилось так много впечатлений, что первый квартал он шел как во сне. Дойдя до угла, мистер Хед оглянулся на вокзал — желто-серое здание с бетонным куполом. Если не терять из виду купол, он, когда придет время возвращаться, сразу найдет дорогу.

Постепенно Нелсон стал различать отдельные предметы и увидел огромные окна, набитые всякой всячиной — скобяными товарами, галантереей, кормом для кур, спиртными напитками. На одно из окон мистер Хед обратил его особое внимание — сюда можно войти, поставить ноги на подставки, и негр почистит тебе башмаки. Они шли медленно и останавливались в дверях каждого магазина, чтоб Нелсон мог заглянуть внутрь, но никуда не заходили. Мистер Хед твердо решил не заходить ни в один магазин, потому что в свой первый приезд он заблудился в большом универсальном магазине и выбрался только после множества унижений.

Они дошли до середины следующего квартала, и там перед одним магазином стояли весы, и они по очереди встали на них, и опустили по монетке, и получили по билетик. В билетике мистера Хеда было написано: «Вы весите 120 фунтов, Вы честны и смелы, и все Ваши друзья восхищаются Вами». Он сунул билетик в карман, удивленный тем, что машина характер его определила точно, а в весе ошиблась — он недавно взвешивался на весах для зерна и знал, что весит 110 фунтов. Билетик Нелсона гласил: «Вы весите 98 фунтов. Вас ожидает великое будущее, но остерегайтесь черных женщин». У Нелсона не было знакомых женщин, ни черных, ни белых, и весил он 68 фунтов, но мистер Хед объяснил, что машина, наверное, напечатала одну цифру вверх ногами, то есть 9 вместо 6.

Они шли дальше и дальше, и к концу пятого квартала вокзальный купол скрылся из виду, и мистер Хед повернул влево. Нелсон готов был часами стоять перед каждой вит-

риной, не будь рядом другой, еще интереснее. Вдруг он сказал:

— Ага, а я здесь родился!

Мистер Хед обернулся и со страхом посмотрел на него. Потное лицо мальчика сияло.

— А я городской! — сказал он.

Мистера Хеда охватило смятение. Он понял, что надо действовать.

— Давай я покажу тебе кое-что еще, — сказал он и повел Нелсона на угол, где был канализационный люк. — Присядь-ка и сунь туда голову.

Мальчик опустил на колени и засунул голову в люк, а дед держал его сзади за пиджак.

Услышав, как в глубине под тротуаром бурлит вода, Нелсон отдернул голову. Тогда мистер Хед рассказал ему про канализацию — она проходит под каждой улицей, и в нее собираются нечистоты, и там полно крыс, и, если человек провалится в люк, его засосет в длиннющую черную трубу. В любое время человек может провалиться в люк и исчезнуть навсегда. Он описал это так красочно, что Нелсон на мгновение застыл от ужаса. Он подумал, что эти трубы, наверное, и ведут в ад, и впервые представил себе, как устроены нижние круги мироздания. Он отшатнулся от люка.

Потом он сказал:

— Да, но можно же держаться подальше от этих дырок, — и на его лице появилось то упрямое выражение, которое так раздражало деда. — А я здесь родился!

Мистер Хед был обескуражен, но лишь пробормотал: «Погоди, ты еще узнаешь, почем фунт лиха», — и они двинулись дальше. Пройдя два квартала, он повернул влево, полагая, что обходит купол по кругу, и он не ошибся: через полчаса они снова оказались у вокзала. Нелсон сначала не замечал, что вторично любит теми же витринами, но, увидев магазин, где можно поставить ноги на подставки и негр почистит тебе башмаки, понял, что они описали круг.

— Мы здесь уже были! — закричал он. — Ты, по-моему, сам не знаешь, куда идешь.

— Я было немного сбился с дороги, но сейчас все в порядке, — сказал мистер Хед, и они свернули на другую улицу.

Он по-прежнему не собирался уходить далеко от купола

и, пройдя два квартала, снова повернул налево. На этой улице стояли двух- и трехэтажные деревянные жилые дома. Прохожие могли беспрепятственно заглядывать в окна, и мистер Хед, посмотрев в одно окно, увидел укрытую простыней женщину на железной кровати. Его поразило горькое знание, написанное у нее на лице. Невесть откуда вылетел дикого вида парень на велосипеде, старик еле успел отскочить.

— Им тут ничего не стоит задавить человека,— сказал он.— Ты уж держись ко мне поближе.

Они все шли по таким же улицам, пока он снова не вспомнил, что надо повернуть. Теперь улица была совсем узкая, а дома некрашенные и как будто трухлявые. Нелсон увидел негра. Еще одного. Потом еще одного. Он заметил:

— Здесь живут черномазые.

— Ну что ж, пойдём отсюда,— сказал мистер Хед.— Мы не для того приехали, чтоб на них любоваться.

Они свернули, но им по-прежнему встречались негры. У Нелсона стала зудеть кожа, и они прибавили шагу, торопясь выбраться из этого района. Негры в нижних рубашках стояли у порогов, и негритянки раскачивались в качалках на покосившихся крылечках. Негритята, игравшие на мостовой, бросали свои занятия и глазели на них. Они проходили мимо магазинов с черными покупателями, но тут они не останавливались в дверях. Черные глаза на черных лицах отовсюду следили за ними.

— Да,— сказал мистер Хед.— Вот ты где родился — в одной куче с черномазыми.

Нелсон нахмурился.

— Ты, я вижу, заблудился,— сказал он.

Мистер Хед резко повернулся и поискал глазами купол. Купола не было.

— Ничего я не заблудился,— сказал он.— Просто ты устал ходить.

— Я не устал, я есть хочу,— сказал Нелсон.— Дай мне галету.

Тут они обнаружили, что потеряли завтрак.

— Пакет был у тебя,— сказал Нелсон.— Уж я бы его сберег.

— Хочешь быть за главного — так я пойду один, а тебя здесь оставлю,— сказал мистер Хед и с удовольствием увидел, как побледнел мальчик.

Однако он и сам понимал, что они заблудились и все дальше уходят от вокзала. Он тоже проголодался и хотел пить, и оба они обливались потом от близости всех этих негров. Нелсон не привык ходить обутым. Бетонные тротуары были очень твердые. Обоим очень хотелось посидеть, но присесть было негде, и они тащились дальше, и мальчик бормотал себе под нос: «Завтрак потерял, потом дорогу потерял», — а мистер Хед ворчал: «Кому приятно, что он родился в этом негритянском раю, пожалуйста, пусть себе радуется!»

Солнце уже стояло высоко в небе. До них доносился аромат стряпни. Негры высыпали к дверям поглазеть на них.

— Спроси дорогу у черномазых, — сказал Нелсон. — Это ты нас сюда завел.

— Ты же здесь родился, — сказал мистер Хед. — Сам спрашивай, если тебе хочется.

Нелсон боялся негров и не хотел, чтобы над ним смеялись негритята. Впереди он увидел дородную негритянку, которая стояла, прислонясь к косяку открытой двери, выходящей прямо на тротуар. Ее жесткие волосы торчали во все стороны, а тело, туго обтянутое розовым платьем, покоилось на босых коричневых с розовыми ободками ступнях. Когда они поравнялись с ней, она лениво подняла руку к голове и ее пальцы исчезли в волосах.

Нелсон остановился. Под взглядом темных глаз негритянки у него перехватило дыхание.

— Как пройти обратно в город? — спросил он каким-то чужим тоненьким голоском.

Она же, помолчав, ответила голосом звучным и низким — Нелсону показалось, что его обдало прохладной водяной пылью:

— А тут не город, по-твоему?

— Как пройти обратно на поезд? — спросил он так же тоненько.

— На трамвай садись, — сказала она.

Она, конечно, насмеялась над ним, но у него не было сил даже нахмуриться. Он впивал в себя каждую черту ее облика. Перевел глаза с огромных колен на лоб, потом его взгляд проделал путь от блестящих капелек пота на ее шее, через громадную грудь и по голой руке туда, где пальцы прятались в волосах. Ему вдруг захотелось, чтобы она нагнулась, и подняла его, и притянула к себе и чтобы

он ощутил на лице ее дыхание. И все глубже погружался бы в ее взгляд, а она все крепче прижимала бы его к себе. Никогда еще он не испытывал такого. Как будто его засасывает в черную-черную трубу.

— Вот так, миленький, прямо и ступай, и дойдешь до улицы, где трамвай ходит,— сказала она.

Нелсон без сил свалился бы у ее ног, если бы мистер Хед не оттащил его.

— Совсем спятил,— проворчал старик.

Они поспешили прочь, и Нелсон не оглядывался на негритянку. Он нахлобучил шляпу на лицо, которое горело теперь от стыда. Он вспомнил ухмылку призрака в окне вагона, и свои дорожные предчувствия, и что на его билетике было написано, чтоб он остерегался черных женщин, а на дедушкином — что дедушка честный и смелый. Он взял старика за руку — не свойственное ему признание своей беспомощности.

Они увидели рельсы, по которым, дребезжа, подходил длинный желтый трамвай. Мистер Хед в жизни не ездил трамваем и на этот не сел. Нелсон притих. Иногда у него вздрагивали губы, но дед, занятый своими заботами, не обращал на него внимания. Они стояли на углу, не глядя на негров, которые шли себе по своим делам, в точности как белые, вот только что большинство останавливалось и глазло на мистера Хеду и Нелсона. Мистер Хед сообразил, что, поскольку трамвай ходит по рельсам, они могут просто идти вдоль трамвайной линии. Он подтолкнул Нелсона, объяснил, что они пойдут пешком вдоль рельсов до самого вокзала, и они тронулись в путь.

Вскоре, к их большому облегчению, им снова стали встречаться белые, и Нелсон сел прямо на тротуар и привалился к стене дома.

— Мне передохнуть надо,— сказал он.— Ты завтрак потерял и дорогу потерял. Так уж потерпишь, пока я немножко передохну.

— Вот они, рельсы,— сказал мистер Хед.— Иди по ним — и все дела, ну а про завтрак надо было и тебе помнить. Ты же здесь родился. Ты же здесь у себя дома. Ты же в этом городе второй раз. Что ж ты раскис.— И он опустился на тротуар, продолжая в том же духе, но мальчик, высвобождавший натертые ноги из ботинок, не отвечал.

— Господи, твоя воля, стоял и скалился, как обезьяна, пока черномазая баба объясняла ему, как пройти!

— Я что говорил? Что я здесь родился,— нетвердым голосом сказал мальчик.— Я не говорил, понравится мне или нет. Говорил я тебе, что хочу в город? Я только говорил, что я тут родился, а больше ничего. Я хочу домой. И не хотел я сюда ехать. Это все твоя затея. Почему ты знаешь, может, мы не в ту сторону идем?

Мистер Хед и сам об этом подумывал.

— Тут все белые,— сказал он.

— Раньше мы тут не проходили,— сказал Нелсон.

Это был район кирпичных домов, не поймешь — то ли обитаемых, то ли брошенных. Несколько пустых автомобилей стояло у тротуара, прохожие попадались редко. Сквозь тонкий костюм Нелсон чувствовал жар асфальта. Веки у него начали слипаться, голова упала на грудь. Плечи дернулись разок-другой, а потом он осел набок и растянулся на тротуаре — его сморил сон.

Мистер Хед молча наблюдал за ним. Он тоже очень устал, но не могли же они спать одновременно, да он и не заснул бы, потому что ведь они заблудились. Выспавшись, Нелсон станет еще нахальнее и опять начнет пилить его, что он, мол, завтрак потерял и дорогу потерял. «Хорош бы ты был без меня»,— подумал мистер Хед; и тут у него мелькнула одна мысль. Несколько минут он смотрел на спящего мальчика, а потом встал. Ничего не поделаешь, нужно иногда преподать ребенку урок на всю жизнь, особенно если он так любит, чтобы за ним оставалось последнее слово. Он бесшумно дошел до угла шагах в двадцати и сел на закрытую металлическую урну в проходе между домами: отсюда он сможет увидеть, как будет вести себя Нелсон, когда проснется один.

Мальчик спал беспокойно, в его сон то и дело вторгались какие-то неясные звуки, какие-то черные фигуры стремились вырваться на свет из темных глубин его существа. Его лицо подергивалось, и он подтянул колени к подбородку. Солнце уныло и сухо освещало улицу; все выглядело именно таким, каким было на самом деле. Мистер Хед, как старая мартышка, скорчился на крышке урны. Когда же наконец проснется Нелсон? Мистер Хед решил еще немного подождать, а потом разбудить его, стукнув ногой по урне. Он посмотрел на часы — два. Поезд уходил в шесть, и мистер Хед так боялся опоздать, что даже подумать не смел о такой возможности. Он лягнул урну, и глухой гул эхом отдался от домов.

Нелсон с криком вскочил на ноги. Взглянул туда, где прежде был дедушка, и его глаза округлились. Он завертелся волчком, а потом бросился бежать, скидывая ноги и запрокинув голову, как на смерть перепуганный жеребенок. Мистер Хед помчался за ним, но мальчик уже почти пропал из виду. Только серая полоска метнулась через улицу за квартал впереди и исчезла. Старик бежал что есть мочи, тщетно вглядываясь в поперечные улицы. Уже совсем выдохшись, он еле добежал до третьего перекрестка, и то, что он здесь увидел, заставило его остановиться. Он спрятался за мусорный ящик — посмотреть, что будет, и отдышаться.

Нелсон сидел на тротуаре, вытянув ноги, а рядом лежала старуха и вопила. Вокруг валялась всякая бакалея. Их окружала толпа женщин, жаждавших содействовать торжеству справедливости, а старуха кричала: «Ты сломал мне ногу! Твой отец мне заплатит! Все до последнего цента! Полиция! Полиция!» Женщины теребили Нелсона, но он был так ошеломлен, что не мог встать.

Какая-то сила вытолкнула мистера Хеда из-за ящика и погнала туда, но шел он, еле передвигая ноги. В жизни он еще не имел дела с полицией. Женщины кружили вокруг Нелсона, казалось, сейчас они бросятся на него и растерзают, а старуха все вопила, что у нее сломана нога, и призывала полицию. Мистер Хед шел так медленно, будто после каждого шага вперед делал шаг назад, но, когда он все же приблизился, Нелсон заметил его и вскочил. Обхватил его и, тяжело дыша, прильнул к нему.

Женщины все как одна повернулись к мистеру Хеду. Пострадавшая приподнялась и закричала:

— Эй, вы! Будете платить за мое лечение! Ваш мальчишка — малолетний преступник! Где полицейский? Кто-нибудь запишите его фамилию и адрес!

Мистер Хед пытался оторвать от себя пальцы Нелсона. Старик втянул голову в плечи, как черепаха, его глаза остекленели от страха и напряженного ожидания.

— Ваш мальчишка сломал мне ногу! — кричала старуха. — Полиция!

Мистер Хед чувствовал, что сзади приближается полицейский. А впереди разъяренные женщины сомкнулись плотной стеной, чтобы не дать ему ускользнуть.

— Это не мой мальчик, — сказал он. — Я его первый раз вижу.

Пальцы Нелсона разжались.

Женщины в ужасе расступились, словно им противно было даже прикоснуться к человеку, который отрекся от собственного образа и подобия. Мистер Хед прошел по коридору, который безмолвно очистили перед ним женщины, и оставил Нелсона одного. Дальше зияла длинная черная труба, которая еще недавно была улицей.

Мальчик все стоял, глядя в землю; руки у него повисли. Шляпа его была нахлобучена так глубоко, что вмятина на ней сгладилась. Пострадавшая поднялась и погрозила ему кулаком, а другие смотрели на него с жалостью, но он этого не видел. Полицейский не появлялся.

Через минуту Нелсон вяло двинулся вперед; он не старался нагнать деда, а просто шел за ним шагах в двадцати. Так они прошли пять кварталов. Мистер Хед сгорбился и так низко опустил голову, что сзади ее не было видно. Он не смел оглянуться. Наконец, он все-таки с затаенной надеждой кинул быстрый взгляд через плечо. В двадцати шагах он увидел два прищуренных глаза, которые впивались ему в спину, как зубья вил.

Мальчик не из тех, кто умеет прощать, но до сих пор ему и прощать было некого. Это было первый раз, что мистер Хед опозорился. Пройдя еще два квартала, он оглянулся и визгливым, вымученно веселым голосом крикнул:

— Пошли куда-нибудь попьем кока-колы!

Нелсон с достоинством, прежде ему не присущим, повернулся к деду спиной.

Мистер Хед начал осознавать всю глубину его презрения. Они все шли, и лицо старика постепенно становилось похоже на горный кряж — ущелья и голые утесы. Он ничего не замечал вокруг, но чувствовал, что они больше не идут по трамвайной линии. И купол как сквозь землю провалился, а день клонится к вечеру. Если темнота застигнет их в городе, их непременно ограбят и изобьют. Он-то заслужил божью кару, но неужели его грехи будут взысканы с Нелсона, неужели и сейчас он ведет дитя к гибели?

Они все брели по бесконечным кварталам, застроенным кирпичными домами, пока мистер Хед не споткнулся о водопроводный кран, торчащий над краем небольшого газона. Он с утра не пил, но считал, что теперь не имеет права утолить жажду. Потом он подумал, что Нелсон, наверное, тоже хочет пить, и они попьют оба, и это снова соединит их. Он присел на корточки, приложился губами к отвер-

стию и открыл кран. Потом выкликнул тем же визгливым вымученным голосом:

— Иди попей!

На этот раз мальчик целую минуту пристально смотрел сквозь него. Мистер Хед встал и побрел дальше, точно наглотался яду. Во рту у Нелсона ни капли воды не было с тех пор, как он напился из бумажного стаканчика в поезде, но он прошел мимо крана, гнушаясь пить там, где пил дед. И, увидев это, мистер Хед потерял последнюю надежду. Теперь его лицо в тусклом предзакатном свете стало похоже на запустелое пепелище. Упорная ненависть мальчика шагала, не отставая, за ним по пятам, и (если их каким-то чудом не убьют в городе) это уже на всю жизнь. Черная чужбина, где все не так, как было, расстилалась перед ним: долгая старость без почета, до самой смерти — желанной, ибо она положит конец мученьям.

А в сознании Нелсона застыла картина предательства: он как будто заморозил ее, чтобы сберечь и предъявить на Страшном суде. Он шел, не глядя по сторонам, и порой у него кривились губы: в эти мгновения из отдаленных глубин его существа словно бы протягивала руку загадочная черная фигура, и он знал — в ее горячей руке растает то, что он старается сохранить.

Солнце село за дома; незаметно для себя они очутились в фешенебельном пригороде; здесь стояли большие красивые здания, а перед ними были лужайки и бассейны для птиц. Кругом все точно вымерло. Они шли и шли, и хоть бы собака навстречу попалась. Белые дома в зелени издали напоминали айсберги, погруженные в воду. Тротуаров не было, только мостовые, и они все тянулись и кружились — без конца, будь они неладны. Нелсон и не собирался догонять мистера Хеда. Попадись старику сейчас канализационный люк, он не раздумывая бросился бы в него; и он представлял себе Нелсона, который стоит рядом и наблюдает — всего лишь с легким любопытством, — как деда засасывает в черные трубы.

Громкий лай вывел его из оцепенения, он поднял глаза — навстречу шел толстяк с двумя бульдогами. Старик замахал руками, как жертва кораблекрушения на необитаемом острове.

— Я заблудился! — возопил он. — Я заблудился, я не знаю, куда идти, а нам на поезд нужно, а я не найду вок-

зал! Ой, боже мой, я погиб! Господи, спаси меня и помилуй, я погиб!

Толстяк, лысый и одетый в бриджи, спросил, на какой поезд ему нужно, и мистер Хед стал вытаскивать билеты; его так трясло, что он чуть не уронил их. Нелсон подошел ближе, остановился в пятнадцати шагах и наблюдал.

— Н-да,— сказал толстяк, возвращая билеты,— на вокзал вы уже не поспеете, но этот поезд останавливается тут у нас, в пригороде, здесь и сядете. Отсюда три квартала до станции.— И он стал объяснять, как пройти.

Мистер Хед слушал и как будто воскресал из мертвых. Закончив объяснение, толстяк пошел своей дорогой, собаки вприпрыжку бежали за ним; мистер Хед повернулся к Нелсону и, задохнувшись, произнес:

— Сейчас домой поедем!

Мальчик стоял шагах в десяти, бескровно-бледный под своей серой шляпой. Глаза у него были торжествующе холодные. В них не вспыхнуло ни чувства, ни интереса. Он просто был здесь — маленькая выжидающая фигурка. Слово «дом» ничего не значило для него.

Мистер Хед медленно отвернулся. Так вот что значит ад: время без смены зим и весен, зной без света и душа без надежды на спасение. Он перестал бояться, что не поспеет на поезд, и мог бы вообще позабыть про станцию, если бы нечто поразительное не вернуло его к жизни, будто кто-то окликнул его из темноты.

Рядом с ним вдруг возник гипсовый негр, скрючившийся на низкой ограде из желтого кирпича, которая окаймляла большую лужайку. Негр был ростом с Нелсона; замазка, которой он был прикреплен к ограде, потрескалась, и казалось, он вот-вот упадет. Один глаз у него был белый, а в руках он держал бурый кусок арбуза.

Мистер Хед стоял и молча смотрел на него, пока Нелсон не подошел совсем близко. Когда мальчик остановился рядом с ним, он выдохнул:

— Гипсовый негр.

Непонятно было, старика или ребенка изображает гипсовый негр — он выглядел таким жалким, что не имел возраста. Очевидно, его хотели изобразить счастливым, потому что углы его губ были приподняты, но отбитый глаз и ненадежная поза придавали ему отчаянно жалкий вид.

— Гипсовый негр,— произнес Нелсон, в точности повторяя интонацию мистера Хед.

Они стояли рядом, очень похоже сгорбившись и вытянув шею, и у них одинаково дрожали в карманах руки. Мистер Хед казался старым ребенком, а Нелсон — маленьким стариком. Они, не отрываясь, смотрели на гипсового негра, словно столкнулись с некой великой загадкой, с монументом в честь чьей-то победы, соединившей их в общем поражении. И в нем растворились все их несогласия, словно благодать осенила их, открыв им чудо милосердия. До сих пор мистер Хед не понимал, что такое милосердие, потому что был безупречен и не нуждался в нем, но теперь-то он понял. Он посмотрел на Нелсона — надо что-то сказать ребенку, чтобы он снова поверил в мудрость деда, и в ответном взгляде мальчика он прочитал, как жадно тот ждет этих слов. Глаза Нелсона, казалось, молили объяснить ему наконец загадку бытия.

Мистер Хед раскрыл рот, собираясь сказать нечто очень значительное, и услышал собственный голос:

— Здесь у них настоящих не хватает. Пришлось гипсового завести.

Чуть помедлив, мальчик кивнул, губы у него дрогнули как-то по-новому, и он сказал:

— Поехали домой, а то снова заблудимся.

Их поезд плавно затормозил у пригородной станции, как раз когда они подошли, и они сели в вагон, а за десять минут до того, как поезд прибывал на их полустанок, уже стояли у двери, приготовившись выпрыгнуть на ходу, если он не остановится; но он остановился, и в это самое мгновение полная луна во всем своем великолении вдруг выплыла из-за облака, залив вырубку светом. Они сошли; полянь нежно трепетала, отливая тусклым серебром, а брусчатка у них под ногами сверкала бодрым черным блеском. Верхушки деревьев, защищавших полустанок подобно садовой ограде, темнели на фоне неба, увешанного огромными облаками, которые светились, как фонари.

Мистер Хед стоял очень тихо, чувствуя, как его снова осенила благодать, но теперь он знал, что ее не выразить словами. Милосердие рождается в страданиях, которые неизбежны для каждого и неисповедимыми путями ниспосылаются детям. Лишь его дано человеку унести за порог смерти, чтобы сложить к стопам создателя, и мистер Хед сторуал со стыда, внезапно поняв, каким нищим он предстанет перед творцом. Он стоял утраченный, судя себя с доскональностью божьего суда, и его гордыня таяла, буд-

то пожираемая пламенем. До сих пор он не считал себя большим грешником, но теперь понял, что его истинная порочность была сокрыта от него, дабы он не впал в отчаяние. И что он прощен за все грехи от начала времен, когда его душу отягчил первородный грех, до той минуты, когда он предал бедного Нелсона. Он понял, что не может заречься даже от самого чудовищного греха, а поскольку божья любовь соразмерна божьему прощению, сейчас он был готов вступить в царствие небесное.

Нелсон, стараясь сохранить бесстрашие в тени своей шляпы, наблюдал за ним устало и подозрительно, но когда поезд прополз позади них и спугнутой змеей исчез в лесу, его лицо тоже просветлело и он сказал:

— Хорошо, что я там побывал один раз, но больше ни за что не поеду!



Тэннер сберегал силы для возвращения домой. Он решил идти, куда сможет, и надеялся, что потом ему поможет всевышний. Сегодня утром, так же как и вчера, он позволил дочери себя одеть — и вот сберег еще немного сил. Сейчас он сидел в кресле у окна — синяя рубашка застегнута доверху, шляпа на голове, пальто на спинке кресла, — поджидая, когда дочь отправится за покупками. Он не мог уйти, пока она здесь. Окно выходило в узкий проулок, утонувший в смрадном нью-йоркском воздухе, а напротив взгляд упирался в кирпичную стену. За окном лениво кружились снежинки, такие мелкие и редкие, что он их не замечал — слишком плохо видели его слабеющие глаза.

Дочь мыла на кухне посуду. Она все делала не спеша, с прохладцей и постоянно сама с собой разговаривала. В первые дни после приезда к дочери Тэннер пытался

поддерживать разговор, но оказалось, что собеседник ей вовсе не нужен. Дочь только раздраженно взглядывала на него — дескать, даже такой старый дурень, как он, мог бы догадаться, что не надо вступать, когда женщина разговаривает сама с собой. Она задавала какой-нибудь вопрос, а потом, изменив голос, сама же и отвечала. Вчера утром, разрешив дочери себя одеть, он сберег силы, чтоб написать записку, и для сохранности пришил ее в кармане булавкой. *Если умру переслать меня срочным багажом за счет получателя Коулмена Паррума в город Коринт штат Джорджия. И приписал: Коулмен продай мое имущество и заплати в транспортную и похоронную контору. Все что останется можешь взять себе. Всегда твой Т. С. Тэннер. Р. С. Коулмен живи где живешь не поддавайся их уговорам. Не приезжай в эту дыру.* Он трудился над запиской почти полчаса — буквы заваливались, налезая друг на дружку, но при желании разобрать текст было можно. Он придерживал правую руку левой. Но когда он справился наконец с запиской, дочь уже вернулась из магазина.

Зато сегодня все было готово. Только встать и заставить ноги двигаться — чтобы дойти до двери и спуститься по лестнице. Спустился — выбирайся из их квартала. Выбрался — нанимай первое же такси и поезжай до железнодорожной товарной станции. Доехал — залезай в товарный вагон, найдется какой-нибудь бродяга, поможет. Залез — все: ложись и отдыхай. Ночью состав отправится на Юг, и к завтрашнему дню или послезавтрашнему утру, живой или мертвый, он приедет домой. Живой или мертвый. Главное — добраться, а уж живым или мертвым — это как бог даст.

Будь он поумней, он вернулся бы домой на следующий же день после того, как приехал. А если бы он с самого начала не умничал, так он бы и вовсе сюда не приехал. Но по-настоящему он отчаялся два дня назад, когда услышал разговор дочери с зятем. Зять уезжал в трехдневный рейс — он был шофером мебельного фургона. Они прощались, стоя в прихожей, и дочь, наверно, протягивала ему кожаную кепку, потому что она сказала:

— Купил бы ты шляпу.

— И уселся бы у окна, — подхватил зять, — как этот. А что ему? Сидит себе весь день в своей шляпе. Напялит свою треклятую черную шляпу и сидит. Это в доме-то!

— А ты и шляпой не обзавелся,— сказала она.— Знай себе ходишь в этой кепчонке с ушками. Самостоятельные люди все носят шляпы. А так, кое-какие, бегают в кожаных кепчонках.

— Самостоятельные люди? — выкрикнул зять.— Самостоятельные? Ну, уморила! Ей-богу, уморила! — У зятя было жесткое и бессмысленное лицо да еще и голос гундосый, как у всех этих янки.

— Папа здесь живет и будет здесь жить,— сказала дочь.— Да ведь долго он не протянет. Зато он всю жизнь был самостоятельным человеком — пока был человеком, а не дряхлым стариком. Уж он-то никогда ни на кого не работал, а вот другие — другие на него работали.

— Тоже мне, другие,— сказал зять.— Ниггеры! Ниггеры-то и на меня, случалось, работали.

— На тебя? Да это срамota была, а не ниггеры,— сказала дочь, вдруг понизив голос, так что Тэннер стал с трудом различать слова и подался вперед.— Вот именно — срамota! А для того, чтобы командовать настоящим ниггером, нужны мозги. Нужно уметь с ним управиться.

— А у меня, значит, уж и мозгов нету,— сказал зять.

Внезапно — а это с ним очень редко случалось — Тэннера захлестнуло теплое чувство к дочери. Временами она начинала разговаривать так, что могла, пожалуй, даже и неглупой показаться: в ее голове хоть и под спудом, но все же теплился здравый смысл.

— Есть,— сказала она,— но ты не всегда ими пелешь.

Его хватил удар, когда он увидел на лестнице ниггера,— сказал зять,— а она мне тут толкует...

— Тихе ты, не ори,— сказала она.— А удар его хватил вовсе не поэтому.

Немного помолчав, зять сменил тему.

— Где ты собираешься его похоронить?

— Кого похоронить?

— Ну, этого... Твоего.

— Да прямо здесь, в Нью-Йорке,— сказала она.— А ты думал где? Мы ведь купили место. Туда я больше ни за что не потащусь.

— Конечно,— сказал он.— Это я так, к слову.

Когда она вошла в комнату, Тэннер сидел в кресле, просто вцепившись руками в подлокотники. Он уставился на нее, словно оживший от злости труп.

— Ты обещала похоронить меня там,— прохрипел он.— Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья! Обещала, врунья,— невнятно бормотал он пресекающимся голосом. Его трясло: тряслась голова, тряслись ноги, руки.— Так хорони меня здесь и будь навеки проклята! — выкрикнул он и откинулся на спинку кресла.

Дочь глянула на него, оторвавшись от своих мыслей.

— Да ведь ты еще живой.— Она тяжело вздохнула.— Рано об этом думать.— Отвернувшись, она стала собирать листы газеты, разбросанные по полу рядом с его креслом. У дочери были седые, до плеч, волосы и круглое, немного отяжелевшее лицо.— Я в лепешку для тебя расшибаюсь,— пробормотала она,— и вот твоя благодарность.— Она сунула газету под мышку и добавила: — И не пугай ты меня проклятьями. Я в них не верю. И ни в какие баптистские бредни не верю.— С этими словами она ушла в кухню.

Он напрягся и оскалился, стиснув искусственные зубы и придерживая языком пластмассовое небо. И все равно по щекам у него полились слезы, и он стал украдкой вытирать их о плечи.

Теперь, на кухне, она заговорила в полный голос.

— Ведь хуже ребенка, честное слово. То он хотел сюда ехать. То ему здесь не нравится.

Не хотел он сюда ехать.

— Делал вид, что не хочет, ну да я-то видела. Не хочешь, говорю, не езд, заставлять не собираюсь. Не хочешь жить, как живут приличные люди, оставайся здесь, что я могу поделать.

— Вот я, например,— вступил второй ее голос,— не буду я привередничать в свой смертный час. Пусть меня схоронят на ближайшем кладбище. Когда мне придет время перебираться на тот свет, я не захочу портить нервы живым. Потому что думаю не только о себе.

— Вы-то конечно,— отозвался первый ее голос.— Да вы никогда и не были эгоисткой. Вы ведь всегда заботитесь о людях.

— Стараюсь по крайней мере,— подтвердил второй ее голос.

На мгновение он прижал голову к спинке кресла, так что шляпа съехала ему на глаза. Он вырастил троих парней и ее. Парней уже нет: двоих унесла война, третий куда-то сгинул, и осталась только она — замужняя и без-

детная цаца из Нью-Йорка, — и она сразу решила увести его с собой, когда приехала и увидела, как он живет. Она просунула голову в дверь лачуги и с секунду бесстрастно глядела внутрь. Потом вдруг взвизгнула и отскочила назад.

— Что там на полу?

— Коулмен, — сказал он.

Старый негр, свернувшись на соломенном тюфяке, спал у изножья Тэннеровой кровати — вонючий кожистый мешок с костями, по форме отдаленно напоминающий человека. В молодости Коулмен был похож на медведя: состарившись, он стал походить на обезьяну. С Тэннером все получилось наоборот: в молодости он был похож на обезьяну, а состарившись, стал походить на медведя.

Дочь отступила подальше от двери. К стене лачуги, сколоченной из горбылей, были прислонены сиденья от двух стульев, но дочь не остановилась, не захотела присесть. Она спустилась с крыльца и отошла шагов на десять — как будто ближе она задыхалась от вони. И только после этого дочь сказала свое слово.

— Если у тебя нет гордости, она есть у меня, я знаю свой долг — меня так воспитали, — и я его выполняю. Меня мама так воспитала. Она была хоть из простых, да не поселилась бы вместе с ниггером.

В этот момент старый негр проснулся и выскользнул за дверь — Тэннер едва его заметил: скрюченная тень, исчезающая вдаль.

Дочь его опозорила. Поэтому он крикнул — так, чтобы негру тоже было слышно:

— А кто мне, по-твоему, готовит еду? Кто рубит дрова и все здесь вычищает? Он у меня вроде как на поручках, понимаешь? Этот висельник сам предался мне в руки — тридцать лет назад. Но вообще-то он ничего.

Дочь не обратила на его слова внимания.

— Чья это хоть лачуга? Твоя или его?

— Он да я, мы ее сами построили. А ты отправляйся откуда приехала. Да я и за миллион с тобой не поехал бы! Да ни за какие коврижки!

— Оно и видно, что сами, — сказала она. — А на чьей земле?

— Хозяева во Флориде, — сказал Тэннер уклончиво. Земля продавалась, и он давно об этом слышал, но надеялся, что никто ее, такую тощую, не купит. В тот же

вечер он узнал, что не тут-то было. Узнал как раз вовремя, чтобы согласиться уехать. Узнай он об этом хоть на день позже, может быть, он сейчас бы жлл там, дома,— правда, на птичьих правах, потому что землю-то купили.

Едва увидев эту бесплечую фигуру, уверенно плывущую в зарослях сорняков,— точь-в-точь буро-коричневая морская свинья,— он сразу все понял, без всяких объяснений. Если бы этот ниггер владел всем миром, кроме клочка кочковатого горохового поля, на котором они с Коулменом построили хибару, а теперь купил и его, он шел бы именно так: по-хозяйски раздвигая заросли сорняков, набычив толстую шею и выставив вперед брюхо — трон для золотых часов и цепки. Доктор Фоули. Цветной. Но не чистокровный негр. В нем перемешались и белые, и черные, и индейцы.

Для негров чуть ли не бог — целитель и гробовщик, советник по всем делам и хозяин земли,— он мог даже сглазить или избавить от сглаза. Ну, подумал Тэннер, теперь не зевай, хоть чего-нибудь с него да урви, даром что он ниггер. Не зевай — ведь у тебя против него что? Только белая шкура, в которой ты родился. Так тебе от нее проку, как от слинявшей змеиной кожи. А попрешь против властей — пожалуй, спустят и шкуру.

Он сидел возле двери, на сиденье от стула, наклонно прислоненном к стене хибары.

— Добрый день, Фоули,— сказал он и кивнул, когда негр, приблизившись, внезапно остановился, будто только сейчас вдруг заметил Тэннера, хотя было ясно, что он давно его увидел.

— Осматриваю свое хозяйство,— сказал негр.— Добрый день.— Он произносил слова фальцетной скороговоркой.

Без году неделя оно твое, подумал Тэннер.

— А я смотрю, кто-то идет,— сказал он.

— Я как раз на днях все это купил,— сказал негр и, не глядя больше на Тэннера, ушел за хибару. Но сразу же вернулся и остановился прямо перед ним. Потом шагнул к двери и нахально заглянул внутрь. Коулмен и в этот раз спал на своем тюфяке. Через секунду доктор обернулся к Тэннеру.

— Знаю я этого черного,— сказал он.— Коулмен Паррум. Когда он встанет? Сколько ему надо, чтобы проспаться после пойки, которое вы тут гоните?

Тэннер изо всех сил вцепился в сиденье стула.

— А этот дом, между прочим, мой, тут только земля не моя. Просто накладка вышла,— сказал он.

На мгновение негр вынул изо рта сигару.

— Да, накладно выходит,— сказал он и ухмыльнулся. Тэннер все сидел, глядя прямо перед собой.

— Только вот в накладе-то не я,— сказал негр.

— А я вечно оставался в накладе,— пробормотал Тэннер.

— А так всегда,— сказал негр,— один в накладе, другой в выгоде.— Он стоял перед Тэннером, слегка ухмыляясь и оглядывая его с головы до ног. Потом опять зашел за хибару — с другой стороны. Наступила тишина. Доктор искал самогонный аппарат.

Тут бы его и убить. Ружье стояло в хижине, и Тэннер запросто мог пристрелить этого ниггера, но он еще ни разу на такое не отважился, потому что боялся угодить в ад. За всю свою жизнь он не убил ни одного, он знал, как с ними управляться и без этого: ему вполне хватало его умения и везения. Ведь управляться с ними — особое искусство. Чтобы управиться с ниггером, надо дать ему почувствовать, что его мозги никуда против твоих, и тогда он навеки у тебя в руках, тогда он враз поймет: с тобой не пропадешь. Вот и Коулмен сам предался ему в руки; это случилось тридцать лет назад.

Впервые они встретились, Тэннер и Коулмен, когда у Тэннера под началом было шестеро ниггеров: они работали на лесопилке, в глухоманном бору — сам черт ногу сломит, пока туда доберется. Бригадка подобралась — надо б хуже, да некуда, к понедельнику его работнички проспаться не успевали. Ниггеры уже в то время что-то учуяли. Подступали выборы, и они надеялись, что скоро появится новый Линкольн, который вообще всякую работу отменит. Тэннеру удавалось держать их в узде с помощью острого перочинного ножа. У него уже и тогда было неладно с почками, и, чтобы ниггеры не заметили его трясущихся рук, он все время строгал кусок коры или щепку. Да и сам он не желал замечать эту дрожь, а считаться со своими хворями и давно не собирался. Нож кромсал древесину непрерывно, яростно, и время от времени грубо выструганные уродцы, на которых он сам никогда не смотрел, а посмотрев, не понял бы, что они такое, падали на землю. Негры подбирали их и уносили

домой: между этими людьми и их древними предками, жившими когда-то в Африке, разницы почти не было. Нож непрерывно поблескивал у него в руках, и частенько, вплотную подойдя к негру, который лежал, облокотившись на пень, и вполглаза следил за приближающимся хозяином, Тэннер говорил мимоходом: «Ниггер! Этот нож пока у меня в руке, но, если ты будешь разбазаривать мое время, он окажется у тебя в кишках. Понял?» — И негр начинал нехотя подыматься — нехотя, но раньше, чем он заканчивал фразу.

Вокруг лесопилки повадился слоняться здоровенный, совершенно черный, с ленивой силой в движениях негр, ростом чуть ли не вдвое выше самого Тэннера; иногда он наблюдал, как другие работают, а иногда просто дрых у всех на виду, напоминая чудовищного черного медведя.

— Это кто? — спросил Тэннер. — Если он хочет работать, пусть подойдет, а нет — пусть проваливает. Бездельники у меня тут слоняться не будут.

Они не знали, кто он. Они знали одно: работать этот шатун явно не хочет. Ничего другого они и знать не желали: ни откуда он, ни зачем болтается по лесу, хотя, возможно, он приходился кому-то из них братом, а может, он им всем был двоюродным дядей. В первый день Тэннер не обращал на него внимания — один тощий, пожелтевший от болезни белый с трясущимися руками против шестерых черных. Он не хотел торопить беду, но и ждать без конца не мог. На следующий день чужак пришел снова. Его шестерка все поглядывала на пришлое бездельника, а когда до обеда осталось полных тридцать минут, они бросили работу и принялись жрать. Он не решился их одернуть. Он понял, что надо вырвать корень беды.

Чужак стоял на опушке, привалившись к дереву, наблюдая за Тэннером из-под полуопущенных век. Сквозь наглость в его лице проглядывала настороженность. Весь его вид, казалось, говорил, что, мол, этот белый — человечиска не ахти, но почему он здесь за главного и что у него на уме?

Он думал сказать: «Ниггер! Этот нож пока у меня в руке, но если ты не уберешься...» — да, подойдя ближе, раздумал. У негра были красные заплывшие глазки, и если он носил с собой нож, то наверняка не для забавы. Перочинный ножик Тэннера непрерывно двигался, но он орудовал им бессознательно: действовали только руки.

Однако, когда он вплотную подошел к негру, в куске коры, который он строгал, были проделаны две дырки, каждая величиной с пятидесятицентовую монету.

Негр глянул на его руки — и застыл, разинув рот. Кажалось, что он не может отвести взгляда от ножа, яростно кромсающего кусочек коры. Он смотрел так, будто увидел незримую силу, которая направляла руки Тэннера.

Тогда Тэннер сам опустил глаза — и удивился не меньше негра: он держал в руках оправу для очков.

Он поднес ее к глазам и посмотрел сквозь дырки — на кучу стружек, на сосны за вырубкой, на загон, в котором стояли их мулы.

— Так ты, парень, плоховато видишь? — спросил он и стал разгребать землю носком ботинка. Потом нагнулся, поднял обломок проволоки, нашел другой, чуть покороче, поднял и его, а потом начал спокойно прилаживать их к оправе. Теперь, зная, что делать, он не спешил. Когда очки были готовы, он протянул их негру. — Наденька эту штуку, парень, — сказал он. — Не нравится мне, когда кто-нибудь плохо видит.

Какое-то мгновение негр колебался: он мог вырвать очки и просто раздавить их, мог выхватить нож и ткнуть ему под ребро. Тэннер ясно уловил эту мгновенную нерешительность, когда в мутных, воспаленных с перепоя глазах негра читалось яростное желание выпустить белому кишки, борющееся с чем-то другим, он так и не понял с чем.

Все же негр потянулся за очками. Он аккуратно приладил дужки к ушам и глянул сквозь дырки — в одну сторону, в другую — с необычайной торжественностью. А потом посмотрел на Тэннера, не то ухмыльнувшись, не то оскалившись — Тэннер не понял смысла его гримасы, — но вдруг ощутил, всего лишь на секунду, что перед ним его двойник, только в черном варианте, будто шутовство и рабство были их общей долей. Но ощущение сразу развеялось, и он не успел его осмыслить.

— Преподобный, — сказал он, — ты зачем тут околачиваешься? — Он снова поднял кусочек коры и стал не глядя кромсать его ножом. — Ведь сегодня не воскресенье.

— Не воскресенье? — сказал негр.

— Пятница, — сказал он. — Так оно с вами, преподобными, и получается: глядишь, за пьянством воскресенье и проморгали. Ну, а в очки тебе что теперь видать?

— Человека видать.

— Какого человека?

— Человека, чьи очки.

— Он белый или черный?

— Белый! — закричал негр, словно он только что прозрел и все вдруг увидел. — Во-во, сэр, он белый!

— Ну так ты и почитай его, как если он белый, — сказал Тэннер. — Как тебя зовут?

— Коулмен зовут, — сказал негр.

И вот тридцать лет, до самого отъезда к дочери, Тэннер не мог сбить Коулмена с рук: тот предался ему навеки, шут гороховый. Надо только сделать из ниггера шута — и он сам навеки предастся тебе в руки, но зато уже если он сделает шута из тебя — тогда или убей его, или смывайся. А он не хотел угодить в лапы к дьяволу за убийство ниггера. Он слышал, как за хибарой доктор пнул ведро. Он сидел и ждал.

Через секунду доктор появился опять — пробрался сквозь сорняки с другой стороны хижины, сшибая тростью метелки дикого проса. Он остановился шагах в десяти от крыльца, примерно на том же месте, где утром стояла дочь.

— Кое-кто живет здесь на птичьих правах, — сказал доктор, — и его можно притянуть к ответу.

Тэннер не отвечая, не шевелясь, смотрел в поле.

— Так где самогонный аппарат? — спросил доктор.

— Если он тут и есть, так все равно он не мой, — сказал Тэннер и умолк, намертво закрыв рот.

Доктор негромко рассмеялся.

— А времена-то, я смотрю, изменились, — пробормотал он. — Помнится, у нас было вроде немного землицы — по-за речкой, да теперь, видать, сплыло, а?

Тэннер все так же, не отрываясь, глядел в поле.

— Если кто согласен гнать для меня самогон, — сказал доктор, — тогда оно другое, конечно, дело. А нет — так можно и вещички собирать.

— Я не обязан работать на цветных, — сказал он. — Пока еще власти до такого не докатились, чтобы заставлять белых работать на цветных.

Доктор потер пальцем камень на своем перстне.

— Власти, они и мне не по нутру, — сказал он. — Ну, да власти там, не власти, а деваться-то нам некуда. Мож-

но, конечно, в город поехать жить, в Гранатель, и снять там люкс.

Тэннер молчал.

— Да ведь он уже на подходе, этот день,— сказал доктор,— когда белые станут работать на цветных, а кому-то всегда надо вперед других начинать.

— Для меня не на подходе,— отрезал Тэннер.

— Ну, значит *уже* настал,— сказал доктор.— А для всех других пока еще не настал.

Взгляд Тэннера скользил вдоль синей кромки лесов, отчеркнувших выцветшее послеполюденное небо.

— У меня есть дочь на Севере,— сказал он.— Мне не придется работать на цветных.

Доктор вынул из кармана часы, посмотрел на них и сунул обратно в карман. Потом с секунду глядел на свои ногти. Казалось, у него было точно подсчитано, сколько надо времени, чтобы все переиначилось.

— А дочке, ей старый папаша ни к чему, что бы она об этом ни толковала,— сказал он.— Ей даже богатый папаша ни к чему. У дочек, у них свои собственные расчеты. Другой бы черный на моем месте выверился,— сказал он,— ну, да я-то свое уже нажил. И я никогда ни на кого не накидывался. Могу подождать.— Он опять взглянул на Тэннера.— Я приду через неделю. И если самогонный аппарат будет работать — значит, мы обо всем договорились,— сказал он. Стоя перед Тэннером и слегка покачиваясь с носка на пятку, негр немного подождал ответа, потом повернулся и пошел прочь, продираясь сквозь разросшуюся на тропинке траву.

Тэннер безжизненно смотрел в окно, как будто пустое выцветшее небо всосало в себя вместе с его пристальным взглядом и его жизнь, оставив лишь мертвую оболочку. Если бы сейчас ему предложили решить: сидеть день-деньской у окна в этой дыре или — на выбор — гнать самогон для ниггера, он бы согласился гнать самогон для ниггера. Он бы, не задумываясь, стал белым ниггером у ниггера. Дочь вернулась в комнату. У него забилось сердце, но через секунду он услышал, как она плюхнулась на диван. Значит, она еще не собирается уходить. Он не обернулся, не посмотрел на нее.

Некоторое время она сидела молча. Потом начала.

— Вся беда твоя в том,— сказала она,— что ты как уставишься спозаранку в окошко, так до ночи и сидишь.

А на что там смотреть? Тебе нужно отвлечься, набраться впечатлений. Давай я поверну твое кресло к телевизору, чтоб ты хоть на минуту забыл эту мертвечину — смерть, адские муки, божье возмездие... О господи!

— День божьего суда близится, — пробормотал он. — Агнцы будут отделены от козлиц. Те, кто выполнял обещания, — от отступников. Те, кто не оскудевал в благих деяниях, — от грешников. Те, кто почитал отца своего и мать, — от тех, кто злословил их. Те...

Она вздохнула — так тяжело и громко, что почти заглушила его бормотанье.

— С тобой толковать — только слова зря тратить, — сказала она, и ушла на кухню, и стала с остервенением греметь кастрюлями.

Ну и важная же птица — просто деваться некуда! Там, у себя, он хоть и жил в хибаре, так зато мог дышать. И мог ходить по земле. А она здесь даже и живет-то не в доме. Понатыкали в небо голубятен — и живут, куда ни сунешься, чужак на чужаке, и каждый несет свою тарбарскую околесицу. Нормальному человеку в такой дыре не выжить. Он понял это в первые же пятнадцать минут, когда она повела его осматривать город — на следующее утро после приезда. И с тех пор он больше уж не выходил из квартиры. Все эти лифты до тридцать пятых этажей, самодвижущиеся лестницы, подземные железные дороги — ему даже думать о них было тошно. В тот раз, благополучно добравшись до дому, он представил себе, что привез сюда Коулмена и вот они отправились осматривать город. Конечно же, ему пришлось непрерывно оглядываться — ведь Коулмен мог в любую минуту отстать. Держись-ка поближе к домам, говорил он, а то эти люди враз тебя затопчут, держись-ка поближе ко мне, говорил он, а то потеряешься, да чертов же идиот, да не сдергивай ты все время шляпу, говорил он, а Коулмен, скрючившись, плелся сзади, одышливо бормоча: «Ну на кой мы здесь ходим? Какого черта мы сюда притащились?»

Я хочу, чтобы ты сам увидел эту дыру. Чтобы ты знал, как хорошо ты жил там, где жил.

Я-то знал, бормотал Коулмен. Это ты не знал.

Через неделю он получил от Коулмена открытку, написанную Хутеном с железнодорожной станции. Она была написана зелеными чернилами, и в ней говорилось: «Отписывает Коулмен — как ты там, хозяин». Ниже Хутен при-

бавил от себя: «Ты, висельник, возвращайся домой, хватит околачиваться по значным местам, всегда твой У. Т. Хутен». Он отправил в ответ открытку «Хутену для Коулмена», в которой говорилось: «Это место ничего — кому такие нравятся. Всегда твой Т. С. Тэннер». Открытку он отдал дочери и поэтому не написал, что собирается вернуться — как только очередной раз получит пенсию. Он решил, что не будет с ней ничего обсуждать, а просто, уходя, оставит записку. Получив пенсию, он выйдет на улицу, наймет первое попавшееся такси, доберется до автобусной станции — и в путь. Если бы он уехал, было бы лучше им обоим. Ее раздражало его всегдашнее угрюмство, а свой дочерний долг она несла как тяжкий крест. Сумей он улизнуть — она обрадовалась бы вдвойне: ведь ей было бы не в чем себя упрекнуть, а он еще и неблагодарным бы оказался.

Ну а он — он возвратился бы восвояси, чтобы жить хоть и на птичьих правах, да дома. Он стал бы работать на черного доктора, насквозь провонявшего дешевыми сигарами. И плевать ему, на кого работать, лишь бы дома. Но его чуть не угробил ниггер-актер, а вернее, ниггер, назвавший себя актером. Тэннер-то ему, разумеется, не поверил.

В том огромном курятнике, где поселилась его дочь, было по две квартиры на каждом этаже. И вот, когда он прожил у дочери три недели, жильцы из соседней квартиры уехали. Он видел, как грузчики выносили мебель, а назавтра в квартиру уже въезжали другие. Площадка была темная и очень узкая, но он стоял в сторонке, чтобы не мешаться под ногами, и только изредка давал грузчикам советы, которые могли бы здорово им помочь, если бы они не пропускали его слова мимо ушей. Мебель была новая и довольно неприхотливая, поэтому он решил, что новые жильцы, скорее всего, окажутся молодоженами, и вот он тихонько подождет их на лестнице, а когда они придут, пожелает им счастья. Вскоре на лестнице появился негр — здоровый детина в голубом костюме, — он размашисто шагал через несколько ступенек, держа в руках два матерчатых чемодана и от натуги вытянув вперед шею. За ним шла молодая медноволосая женщина со светлой золотисто-коричневой кожей. Остановившись перед дверью соседней квартиры, негр брякнул чемоданы на пол.

— Милый, будь, пожалуйста, поаккуратней, — сказала женщина, — там моя косметика.

И тут Тэннер понял, что происходит.

Негр улыбнулся и шлепнул женщину по заду.

— Перестань,— сказала она,— вон старичок на нас смотрит.

Они оба повернулись и поглядели на Тэннера.

— Привет,— сказал он и легонько кивнул. Потом быстро повернулся и пошел к своей двери.

Дочь была на кухне.

— Знаешь, кто снял соседнюю квартиру? — спросил ее Тэннер с сияющим лицом.

— Кто? — отозвалась она, подозрительно на него глянув.

— Ниггер,— ответил он ликующим голосом.— Из Южной Алабамы, если я что-нибудь понимаю. И с ним рыже-волосая фря, только посветлее, и они поселились рядом с тобой. Чтоб мне провалиться! — Он хлопнул себя по колену.— Так-то вот, дорогуша,— сказал он и засмеялся, в первый раз с тех пор, как уехал из дому.

Ее чуть оплывшее лицо вдруг стало жестким.

— Выговорился? — спросила она.— Теперь послушай меня. Ни в коем случае не пытайся с ними заигрывать, а лучше вообще держись от них подальше. Потому что здесь они совсем не такие, и я не хочу вляпаться с ниггерами в беду. Раз уж приходится жить рядом с ниггерами, не лезь к ним — тогда и они к тебе не полезут. Да ведь ладно жить только так и можно. Не лезь к другим — будешь ладно жить. Живи сам и другим не мешай.— Она стала кроличьи подергивать носом — ее обычная дурацкая гримаса.— Здесь у нас никто не лезет к другим,— сказала она,— и все живут ладно. И от тебя ничего другого не требуется.

— А я ладил с ниггерами,— сказал он дочери,— когда тебя и на свете еще не было.— Он ушел на площадку и привялся ждать. Он-то мог чем угодно поручиться, что ниггеру захочется потолковать с человеком, который по-настоящему его понимает. Дожидаясь, он от волнения два раза забылся и сплюнул табачную жвачку на плитус. Минут через двадцать дверь отворилась и негр снова появился на площадке. Он был при галстукe, в роговых очках, и тут Тэннер впервые заметил его бородку — маленькую, едва заметную, клинышком. Ну и ферт! Негр шел мимо и, казалось, не видел, что на лестнице стоит кто-то еще.

— Привет, Джонни,— сказал Тэннер и кивнул, но негр не обратил на его слова внимания и, стуча каблукками, устремился вниз.

Глухонемой, что ли? — подумал Тэннер. Он вернулся в квартиру и сел у окна, но, заслышав на лестнице чьи-нибудь шаги, вставал, шел в прихожую и высовывался за дверь — посмотреть, не возвращается ли их новый сосед. Один раз, под вечер, он выглянул на площадку, когда негр показался из-за поворота лестницы, но не успел он и рта раскрыть, как негр скрылся в квартире и захлопнул дверь. Тэннер никогда не видел, чтобы люди так бегали — если им не надо было спастись от полиции.

На следующее утро он уже стоял на посту, когда женщина — одна — вышла из квартиры, постукивая высокими золочеными каблукками. Он хотел с ней поздороваться или просто кивнуть, но чутье подсказало ему, что стоит поостеречься. Он не встречал таких женщин ни среди белых, ни среди черных и сейчас, растерянный, даже напуганный, стоял, изо всех сил прижимаясь к стене и делая вид, что его тут нет.

Женщина равнодушно скользнула по нему взглядом, отвернулась и обошла его как можно дальше, словно незакрытое помойное ведро. Он перевел дух, только когда она скрылась. А потом стал терпеливо дожидаться мужчину. Негр появился часов в восемь.

На этот раз Тэннер заступил ему дорогу.

— А-а, преподобный,— сказал он.— Привет.— Он по опыту знал, что если негр не в духе, то такое обращение всегда его смягчает.

Негр резко остановился.

— Недавно здесь? — спросил его Тэннер.— Я и сам не здешний. А что, небось хочется к себе в Алабаму?

Негр не шелохнулся, ничего не ответил. Он принялся в упор рассматривать Тэннера. Его взгляд уперся в черную шляпу, двинулся вниз. к синей рубашке без ворота, аккуратно застегнутой на верхнюю пуговку, царапнул вылинявшие бесцветные подтяжки, спустился ниже — к серым брюкам, к сапогам и снова — очень медленно — начал подыматься, мерцая лютой ледяной ненавистью, от которой негр весь подобрался и как бы даже осунулся.

— А я ведь, преподобный, что подумал,— сказал Тэннер,— может, мы где ни то сыщем здесь купель? — К кон-

цу фразы его голос порядком осип, и тем не менее в нем все еще слышалась надежда.

Изю рта негра вырвалось пронзительное шипенье. Потом он сказал, задыхаясь от злобы:

— Я не из Южной Алабамы. Я из Нью-Йорка. И я никакой не преподобный. Я актер!

Тэннер хихикнул.

— Ясное дело,— сказал он и подмигнул.— Все вы немножко актеры. А проповедники — это уже в свободное время.

— Никакой я не проповедник! — заорал негр. Он промчался мимо Тэннера, словно спасаясь от ос, невесть откуда появившихся на лестнице, ринулся вниз и мгновенно исчез.

Тэннер остался на площадке один. Немного погодя он ушел в квартиру и весь день молча просидел у окна, обдумывая, стоит ли попробовать еще раз или уж окончательно махнуть рукой на это знакомство. Но, услышав на лестнице чьи-нибудь шаги, он выглядывал за дверь. Негра все не было. А вечером, когда негр наконец возвратился, Тэннер уже поджидал его на площадке.

— Добрый вечер, преподобный,— сказал он негру, забыв, что тот назвал себя актером.

Негр остановился и вцепился в перила. По его телу прокатилась мгновенная судорога. А потом он медленно двинулся вперед. Подойдя ближе, он рванулся к Тэннеру и ухватил его за плечи.

— Ты что ж, белая гнида,— прошипел он,— думаешь, я дам дерьмить себе мозги такому старому сучьему отродью, как ты? — На миг он замолчал и перевел дыхание. А потом, в выхлесте злобы, его голос сорвался и задрезжал, как хрипчатый истеричный хохот. Он звучал пронзительно, сипло и бессильно.— И никакой я не преподобный. Я даже не христианин. Я не верю во все это божье дерьмо. Нету никакого господя, нету Христа!

Сердце старика вдруг тяжело одеревенело.

— И ты не черный,— сказал он.— А я не белый.

Негр с размаху ударил Тэннера об стенку. Дернул вниз его шляпу — она насунулась Тэннеру на глаза. Потом, схватив его за застежку рубахи, поволок к открытой двери и пихнул в квартиру. Из кухни дочь видела, как отец влетел в прихожую, ударился о косяк и уже в комнате рухнул на пол.

Долгие дни его язык, словно застыв, не двигался. А когда он смог им наконец шевелить и попытался разговаривать, дочь ничего не поняла — язык так распух, что Тэннер едва им ворочал. Он хотел спросить, получила ли она его пенсию, потому что собирался купить билет на автобус и уехать домой. Через несколько дней она поняла, чего он хочет.

— Получить-то получила, — сказала она, — но ее хватит, чтобы заплатить доктору только за первые две недели, да и скажи ты мне, пожалуйста, куда ты поедешь, если ты не можешь ни ходить, ни говорить, ни соображать, а один глаз у тебя все еще косит. Ну куда ты такой поедешь?

И вот постепенно до него дошло, в каком он теперь оказался положении. Тогда он постарался убедить дочь в том, что хотя бы схоронить его надо дома. Ведь они могут отправить его в вагоне-холодильнике и он в нормальном виде будет доставлен до места. Молодчики из здешних похоронных контор его не заполучат — на это он не согласен. Просто его надо будет сразу отправить, и он прибудет домой на утреннем поезде, и надо послать телеграмму Хутену, чтобы тот нашел Коулмена, и Коулмен все сделает; ей даже не придется ехать туда самой. После долгих споров он вырвал у нее обещание. Она сказала, что отправит его в Коринт.

Он стал лучше спать и немного пришел в себя. Во сне он ощущал миссисипский ветерок, подувающий в щели соснового ящика. Ему виделся красноглазый старина Коулмен, стоящий на платформе, а рядом Хутен, с зеленым козырьком и в черных нарукавниках. Если бы старый дурень остался дома, думает, наверно, Хутен, где он прожил всю жизнь, ему бы не пришлось сейчас ехать в ящике. А Коулмен уже, наверно, развернул фургон — интересно, у кого он выпросил мула? — чтобы вдвинуть в него ящик прямо с перрона. Все готово, утренний — 6.03 — уже прошел, и вот они молча наклоняются над гробом и начинают осторожно сдвигать его в фургон. А Тэннер принимается скрести ногтями по крышке. Они отскакивают от гроба, как будто тот вспыхнул.

Они глядят друг на друга, потом — на ящик.

— Это он, — говорит Коулмен.

— Да нет, — говорит Хутен, — должно, крыса забралась в гроб.

- Это он. Это он штуку такую удумал.
- А если это крыса, так пусть там и сидит.
- Это он. Надо ломик.

Хутен, ворча, уходит за ломиком, возвращается и подсовывает ломик под крышку. Передний край крышки чуть-чуть приподымается, а Коулмен уже начинает что-то выкрикивать, припрыгивая на месте и задыхаясь от волнения. Тэннер снизу упирается в крышку, она отскакивает — и вот он появляется из ящика.

— Судный день! — кричит он. — Настал судный день! А вы, два олуха, ничего и не знаете!

И вот теперь он узнал цену ее обещаниям. Уж лучше положиться на свою записку и на любого чужака, который найдет его мертвым — на улице, в товарном вагоне или где он там умрет. А она все сделает, как ей заблагорассудится, ничего другого от нее не дождешься. Она снова на минутку вошла в комнату, неся шляпу, пальто и резиновые сапоги.

— Мне надо в магазин, — сказала она. — А ты не пытайся тут без меня вставать или, не дай бог, ходить, слышишь? В уборной ты был — тебе незачем вставать. А то вернись и увижу тебя на полу — только этого мне и не хватало.

А ты меня и вовсе не увидишь, подумал он. Последний раз он смотрел на ее лицо — плоское, глупое. Но ему было совестно. Она ведь всегда относилась к нему по-доброму, а он — он всегда ей только досаждал.

— Хочешь, я принесу тебе стакан молока? — спросила она.

— Да нет, — сказал он. Потом вздохнул и сказал: — А у тебя здесь славно. Да и вокруг тут славно. И мне очень жаль, что ты волновалась, когда я приболел. Я ведь сам виноват — не надо было мне заигрывать с этим ниггером. — А я враль треклятый, сказал он себе, чтоб уничтожить прогорклый привкус унижения, оставшийся у него во рту после этих слов.

Она вытаращилась, как будто он окончательно рехнулся. Но потом, видно, решила, что он просто поумнел.

— Понял наконец, что сказать приятное другому, хотя бы только изредка, и самому бывает приятно? — спросила она и уселась на диван.

Ему казалось, что его ноги сейчас уйдут без него. Да не чешись же ты, молил он ее мысленно. Уходи!

— Я так рада, что ты здесь,— сказала она.— Да где тебе и быть-то, родному отцу? — Она одарила его широкой улыбкой и принялась натягивать резиновый сапог.— Ну и погодка! — сказала она.— Хороший хозяин собаку не выпустит. Да ведь мне-то все равно надо идти за покупками. Будем надеяться, что я не поскользнусь и не сломаю себе шею. А ты тут не вставай.— Она притопнула по полу обутой ногой и энергично ухватилась за второй сапог.

Он скосил глаза и глянул в окно. Снег налипал на карниз и замерзал. Когда он снова посмотрел на дочь, она уже стояла в пальто и шляпе, напоминая большую неуклюжую куклу. Потом она надела вязаные перчатки.

— Так я ушла,— сказала она.— Тебе и правда ничего не нужно?

— Да нет, спасибо,— сказал он.— Ступай.

— Тогда пока,— сказала она.

На прощание он немного приподнял шляпу, обнажив бледный, в коричневых крапинах череп. Дочь захлопнула входную дверь. От возбуждения его стала бить дрожь. Он потянулся к спинке кресла и стащил пальто на колени. Надев его, немного переждал, отдышался, и потом, опираясь о подлокотники, поднялся. Ему почудилось, что он превратился в колокол, бесшумно сотрясаемый раскачивающимся билом. Поднявшись, он немного постоял на месте; его шатало, но постепенно он утвердился на ногах. И тут его охватило отчаяние. Он не сможет. Не доберется. Ни живым, ни мертвым. Он заставил левую ногу сдвинуться с места — и не упал; уверенность вернулась к нему. «Господь пастырь мой,— пробормотал он,— я ни в чем не буду нуждаться». Он двинулся к дивану в поисках опоры. И дошел до него! Путешествие началось.

В конце концов он доберется и до входной двери, а за это время дочь уже спустится по лестнице — четыре марша — и выйдет на улицу. Он проковылял мимо дивана и потащился вдоль стены, для устойчивости придерживаясь за нее рукой. Теперь им не удастся схоронить его здесь. Он был твердо в этом уверен — словно родные леса начались у подъезда. Он добрался до двери, ведущей на лестницу, открыл ее и настороженно оглядел площадку — впервые с тех пор, как негр чуть его не убил. Его встретила затхлая сырость и тишина. Тонкая лента полуистлев-

шего линолеума протянулась к двери соседней квартиры. «Тоже мне актер!» — пробормотал он.

До ступенек было десять или двенадцать футов, и он строго приказал себе двигаться напрямик, а не обходить всю площадку, придерживаясь за стену. Расставив руки в стороны, он побрел прямо к лестнице. Он одолел уже почти половину пути, как вдруг у него напрочь отнялись ноги — ему показалось, что их просто не стало. Он глянул вниз и страшно удивился, потому что ноги были на месте. Он покачнулся и, падая, ухватился за перила. Повиснув на руках, он глядел вниз, на крутую, плохо освещенную лестницу — никогда он так долго ни на что не смотрел, — потом, закрыв глаза, судорожно дернулся вперед. Он грохнулся — головой вниз — в середине лестничного марша.

Теперь он чувствовал, как наклоняется ящик: его спустили из вагона в багажную тележку. Но время еще не настало, и Тэннер вел себя тихо. Состав громыхнул буферами и уехал. Потом задрезжали колеса тележки — Тэннера везли к зданию станции. Он услышал топот ног — все ближе, ближе... и понял, что вокруг ящика собирается народ. Подождите, сейчас вы увидите, подумал он.

— Это он, — сказал Коулмен. — Штуку удумал.

— Да нет, там крыса, чтоб ее, — сказал Хутен.

— Это он. Надо ломик.

Зеленоватый отсвет скользнул по его лицу. Он резко приподнялся — отблеск пропал — и еле слышно выкрикнул: «Судный день! Судный день! Судный день настал! Что, олухи, не знали?»

— Коулмен? — прошептал он.

У наклонившегося над ним негра были мрачные глаза и мясистые, угрюмо сжатые губы.

— Нет здесь никаких Коулменов, старик, — сказал негр.

Видно, это другая станция, подумал Тэннер. Эти олухи сгрузили меня раньше времени. Что это за ниггер? Тут вон и день еще не начинался.

Потом он увидел другое лицо — бледное, с копной ярко-рыжих волос, — искривившееся в брезгливой гримасе.

— Ах вон оно что, — прошептал Тэннер.

Актер нагнулся и ухватил его за рубаху.

— Судный день, говоришь, настал? — спросил он с издевкой. — Не настал, старик. Хотя для тебя-то — пожалуй.

Тэннер потянулся к стойке перил — он хотел приподняться, — но ухватил только воздух. Два лица — черное и рядом с ним светлое — дрожали и расплывались.

Он напряг все силы — лица прояснились — и, протянув вверх почти бесплотную руку, сказал негру как можно естественней:

— Помоги-ка мне, преподобный. Я еду домой.

Дочь увидела его, возвращаясь из магазина. Шляпа была насунута ему на глаза, голова и руки — почти до локтей — заклинились между двумя стойками перил, а ноги, как у человека, забитого в колодки, свисали за перила. Она отчаянно дернула его за плечи, ничего не смогла сделать и бросилась в полицию. Полицейские вытащили его, распилив стойки, и сказали, что он умер примерно час назад.

Она похоронила его в Нью-Йорке, но после этого у нее началась бессонница. Ночь за ночью она беспокойно металась в кровати, и на ее лице явственно обозначились морщины. Тогда она обратилась в похоронную контору, Тэннера выкопали и отправили в Коринт. Теперь она спокойно спит по ночам и выглядит почти так же мило, как прежде.



Доктор сказал матери Джулиана, что ей надо похудеть фунтов на двадцать, иначе не снизится давление. И каждую среду вечером Джулиан возил ее в гимнастический зал местного клуба Общества христианской молодежи, который был открыт раз в неделю для женщин-работниц старше пятидесяти лет, весивших от ста шестидесяти фунтов до двухсот. Его мать была там одной из самых изящных, но женщина должна хранить в тайне свой возраст и вес, любила говорить мать. С тех пор как сняли таблички «только для белых», его мать не ездила вечером в автобусе без провожатого, а поскольку гимнастика была одно из немногих ее удовольствий — полезное для здоровья, а главное бесплатное, — она говорила Джулиану, что он мог бы потрудиться для матери, ведь она столько для него сделала. Джулиан не любил, когда ему напоминали, сколько мать для него сделала, но каждую среду преодолевал себя и возил ее в клуб.

Она была совсем готова и надевала в прихожей перед зеркалом шляпу, а Джулиан, заложив руки за спину, стоял как пригвожденный к дверям — точь-в-точь святой Себастьян в ожидании стрел, готовых пронзить его. Шляпа была новая и стоила семь с половиной долларов. Примеривая шляпу так и эдак, мать говорила:

— Зря я, наверное, истратила такие деньги. Сниму-ка я ее лучше и отнесу завтра в магазин. Зря я ее купила.

Джулиан поднял взор к небесам.

— Хорошо сделала, что купила, — сказал он. — Надень как-нибудь и пойдем.

Шляпа была чудовищная. Зеленая, похожая на подушку, из которой выпущены перья, с двумя бархатными малиновыми клапанами: один кокетливо торчал вверх, другой спускался на ухо.

Джулиан подумал, что шляпа не так смешна, как жалка и претенциозна. Все, что радовало мать, было жалким и наводило на Джулиана тоску.

Она еще раз приподняла шляпу и аккуратно посадила ее на макушку. Ее волосы, крылом огибавшие румяные щеки, были седые, но глаза синели такой чистотой и наивностью, будто она была десятилетней девочкой, а не вдовой, хлебнувшей немало горя, чтобы вырастить и выучить сына, которого она и сейчас еще содержала, «пока он окончательно не станет на ноги».

— Ну, хватит же, — сказал Джулиан. — Идем.

Он отпер дверь и вышел наружу, чтобы мать сдвинулась наконец с места. Багряный закат угасал, на его фоне отпечатывались черные силуэты домов — грязно-бурые, пузатые уродцы, все одинаково безобразные, хотя во всем квартале не было двух похожих домов. Сорок лет назад это был модный район, и мать, памятуя об этом, полагала, что они снимают вполне приличную квартиру. Каждый дом опоясывала узкая полоска земли, и почти возле каждого возился в песке чумазый ребенок. Джулиан шел, засунув руки в карманы, чуть выставив вперед нагнутую голову; глаза его горели решимостью стоически вынести все, что выпадет ему в эти часы, которые он приносил в жертву матери.

Дверь позади него хлопнула, он обернулся и увидел догонявшую его пухленькую фигурку в чудовищной шляпе.

— Живешь один раз,— говорила она.— Можно себе позволить иногда купить вещь подороже. Зато не будешь встречать себя на каждом шагу.

— Когда я начну много зарабатывать,— мрачно сказал Джулиан (он знал, что этого никогда не случится),— ты будешь покупать себе такие шляпы хоть каждый день. «Но сперва мы переедем отсюда»,— прибавил он про себя. Он мечтал жить в таком месте, где до ближайшего соседа по меньшей мере три мили.

— По-моему, уже сейчас у тебя дела идут не так плохо,— сказала мать, натягивая перчатки.— Ведь ты окончил колледж всего год назад. Рим не в один день строился.

Не у многих посетительниц гимнастического зала сыновья окончили колледж. И не многие приезжали туда в шляпе и перчатках.

— Всею свое время,— продолжала она.— К тому же все в мире перевернулось сейчас вверх дном. Эта шляпа шла мне больше, чем все другие, но, когда продавщица принесла мне ее, я говорю: «Нет, ни за что. Только не эта. Унесите ее обратно». А она мне: «Да вы примерьте!» И надела ее мне на голову. Я говорю: «Да, ничего...» А она: «Ах, какая прелесть! И вас эта шляпа красит, и вы ее. К тому же это очень редкая модель. Не будете встречать себя на каждом шагу».

Джулиан подумал, что ему было бы легче, будь его мать эгоистка или злая карга, которая пьет и ругается день-деньской. Он шел, и такая тоска сдавила ему сердце, как будто он в разгар мученичества вдруг потерял веру. Заметив его вытянутое, несчастное, раздраженное лицо, мать остановилась, потянула его за рукав и огорченно проговорила:

— Подожди меня. Я вернусь, сниму эту шляпу и завтра же отнесу ее в магазин. Просто не знаю, что это на меня нашло. Лучше уплачу эти семь долларов за газ.

Джулиан злобно схватил ее за руку.

— Ты не понесешь ее в магазин. Она мне нравится,— сказал он.

— И все-таки,— сказала мать,— мне не надо было...

— Замолчи и носи ее на здоровье,— с тоской проговорил он.

— Это чудо, что мы еще можем хоть чему-нибудь радоваться, когда все на свете перевернулось вверх дном.

Джулиан вздохнул.

— Конечно,— продолжала мать,— если всегда помнить, кто ты, можно позволить себе бывать где угодно.

Мать говорила эти слова каждый раз по дороге в гимнастический зал.

— Большинство женщин, которые там занимаются, не принадлежат к нашему кругу,— продолжала она.— Но я со всеми одинаково любезна. Я знаю, кто я.

— Плевать они хотели на твою любезность,— грубо сказал Джулиан.— О том, кто ты есть, помнит только твое поколение. Ты очень заблуждаешься насчет того, кто ты и каково теперь твое положение в обществе.

Мать опять остановилась и негодуяще посмотрела на него.

— Я очень хорошо знаю, кто я,— сказала она.— Если ты забыл свой род, мне стыдно за тебя.

— О, черт,— сказал Джулиан.

— Твой прадед был губернатором этого штата. Твой дед был богатый плантатор. Твоя бабка — из семьи Годхай.

— Да ты посмотри, где ты живешь,— сказал Джулиан, едва сдерживаясь. Резким взмахом руки он показал на окружающие дома, убогость которых немного скрашивали густеющие сумерки.

— Ну и что же! Не место красит человека,— сказала мать.— У твоего прадеда была плантация и двести рабов.

— Рабов больше нет,— сердито буркнул Джулиан.

— Им жилось гораздо лучше, когда они были рабами,— сказала мать.

Джулиан чуть не застонал: его мать села на любимого конька и понеслась на нем, как экспресс на зеленый свет. Он знал каждую остановку, каждый разъезд, каждую низину на ее пути. И он точно знал, в какую минуту ее разглагольствования торжественно подкатят к конечной станции: «Нет, это смешно. Это просто невероятно. Да, они должны стать людьми, но по свою сторону забора».

— Давай не будем об этом,— сказал Джулиан.

— Я знаешь кого жалею? — продолжала мать.— Я жалею людей смешанной крови. Вот чье положение поистине трагично.

— Может, поговорим о другом?

— Представь себе, что мы — ты и я — наполовину белые, наполовину черные. У нас было бы раздвоение чувств.

— У меня сейчас раздвоение чувств,— простонал Джулиан.

— Ну хорошо, давай говорить о чем-нибудь приятном,— сказала мать.— Я помню, как я ездила к бабушке, когда была маленькая. Тогда в доме на второй этаж вела широкая парадная лестница. На первом этаже была кухня. Там так приятно пахла известковой стеной; я очень любила ходить туда. Сяду на стул, прижмусь носом к стенке и нюхаю. Владельцами поместья были Годхай, но им пришлось заложить его. Они были в стесненных обстоятельствах. А твой дедушка Честни выплатил долг по закладной и спас поместье. Но какие бы ни были у них обстоятельства, они всегда помнили, кто они.

— Без сомнения, им напоминали об этом их разрушающиеся хоромы,— заметил Джулиан.

Он всегда говорил о старом доме презрительно, но думал о нем со щемящей болью. Он видел его однажды, когда был совсем маленьким и дом еще не был продан. Парадная лестница прогнила, и ее разобрали. В доме жили негры. Но в воображении Джулиана дом всегда рисовался таким, как его помнила мать. Он часто видел его во сне. Он всходил на широкое крыльцо, останавливался, слушал, как шумит ветер в тугих кронах дубов, потом через высокие сени шел в гостиную и долго смотрел на старые вытертые ковры и поблекшие гардины. Он думал, что мать его не могла любить старый дом, как любил бы его он, Джулиан. Он отдал бы все на свете за его обветшалую элегантность. Поэтому он так ненавидел все другие места, где им с матерью приходилось жить,— а ей было все равно. Она называла свою нечувствительность «уменьем приспособляться».

— И еще я помню старую Каролину, мою черную няню. На свете не было более доброй души. Я всегда уважала моих цветных друзей,— говорила мать.— Я готова сделать для них что угодно, и они для меня тоже...

— Ради всего святого, перестань,— сказал Джулиан.

Когда он ехал в автобусе один, он всегда садился рядом с негром, как бы во искупление грехов матери.

— Ты сегодня не в духе. Что с тобой? — спросила мать.— Ты не болен?

— Здоров,— ответил он.— Когда ты наконец замолчишь?

Мать поджала губы.

— Нет, ты просто невыносим, — сказала она. — Я больше не буду с тобой разговаривать.

Они подошли к остановке. Автобуса не было видно, и Джулиан, все еще с засунутыми в карманы руками и выставив вперед голову, зло оглядел пустую улицу. Предстояло не только ехать в автобусе, но еще и ждать — тоска сухой горячей рукой подбиралась снизу к затылку. Мать тяжело вздохнула, и Джулиан вспомнил о ней. Он мрачно взглянул на нее. Она стояла очень прямо, гордо неся эту нелепую шляпу, как знамя своего воображаемого аристократизма. Ему неудержимо захотелось сделать что-нибудь ей назло. Ничего лучше не придумав, он развязал галстук, стащил его и положил в карман.

Мать как будто ударили.

— Как ты можешь провожать меня в город в таком виде? — сказала она. — Почему ты все время стараешься досадить мне?

— Если ты никак не желаешь понять, кто ты, пойми по крайней мере, кто я.

— Сейчас ты похож на бандита.

— Значит, я и есть бандит, — сказал он.

— Я немедленно возвращаюсь домой, — сказала мать. — И я никогда больше не буду утруждать тебя. Если ты не можешь сделать для матери такой малости...

Подняв глаза к небу, он снова повязал галстук.

— Блудный сын возвращается в лоно своего класса, — сказал он и, наклонившись к матери, хрипло прибавил, постучав себя по голове: — Истинная интеллигентность определяется тем, какой у человека ум.

— Не ум, а сердце и то, как человек себя ведет. А то, как он себя ведет, определяется тем, кто он есть.

— Никому в автобусе нет дела до того, кто ты есть.

— Зато мне есть до этого дело, — холодно сказала мать.

На ближайшем подъеме появились огни автобуса, они быстро приближались, и мать с сыном сошли с обочины на дорогу. Держа мать под локоть, Джулиан посадил ее на скрипнувшую ступеньку. Мать вошла в автобус, чуть заметно улыбаясь, точно входила в гостиную, где ее ожидали. Пока Джулиан брал билеты, она села на переднюю скамью, где было три места, лицом к проходу. С другого края сидела тощая женщина с лошадиными зубами и рас-

пущенными волосами соломенного цвета. Мать подвинулась к ней, чтобы дать сыну место. Он сел и устался на пол; напротив он заметил худые ноги, обутые в красные с белым парусиновые босоножки.

Его мать тут же завела разговор, ни к кому в отдельности не обращаясь, но как бы приглашая всех желающих принять в нем участие.

— Какая ужасная стоит жара! — заметила она, вынула из сумочки бумажный веер с черным японским рисунком и стала им обмахиваться.

— Бывает и жарче, — отозвалась женщина с лошадиными зубами. — У меня в комнате так настоящее пекло.

— Ваши окна, наверное, выходят на запад, — приветливо сказала мать и оглядела автобус. Народу было мало, и все — белые. — Я вижу, сегодня здесь все свои.

Джулиана передернуло.

— Изредка и выпадет счастье, — проговорила обладательница красно-белых босоножек. — Я как-то на днях ехала, так от них в автобусе было темно, как от мух.

— Все в мире перевернулось вверх дном, — сказала мать. — Не понимаю, как мы могли допустить такое.

— Нет, вы подумайте, мальчишки из хороших семей воруют автомобильные шины. Это меня больше всего возмущает! — вдруг заговорила женщина с лошадиными зубами. — Я сказала сыну, ты хоть и не богат, но воспитан как положено. И если я когда-нибудь, сказала я ему, узнаю, что ты ворует шины, я отдам тебя в исправительный дом. Таким туда и дорога.

— Воспитание всегда видно, — сказала мать. — Ваш мальчик учится в школе?

— В девятом классе, — сказала женщина с лошадиными зубами.

— Мой сын в прошлом году окончил колледж. Он хочет быть писателем. А пока продает пишущие машинки, — сказала мать.

Женщина с лошадиными зубами вытянула шею и уставилась на Джулиана. Он посмотрел на нее с такой откровенной неприязнью, что она, смутившись, откинулась на спинку сиденья. На полу валялась брошенная кем-то газета. Джулиан подобрал ее и развернул перед собой. Мать продолжала разговор, понизив голос, но женщина в красно-белых босоножках ответила ей так же громко:

— Это прекрасно. Сперва человек продает пишущие

машинки, а затем пишет на них романы. Вашему сыну до писательства один шаг.

— Я всегда ему говорю: Рим не в один день строился, — сказала мать.

Делая вид, что читает газету, Джулиан погружался в глубины своего я, где, в сущности, пребывал почти все время. Всякий раз, как ему становилось невольно ощущать сопричастность происходящему, он как бы прятался под стеклянный колпак, откуда мог видеть и изучать окружающий мир, оставаясь для этого мира в недосыгаемости. Это было единственное спасение, чтобы не утонуть в океане человеческой глупости; матери тоже не было к нему доступа, зато сам он видел ее с предельной ясностью.

Его мать была отнюдь не глупая женщина, и Джулиан считал, что, если бы она с самого начала исходила хотя бы из одной правильной предпосылки, она могла бы достигнуть большего. Она жила в выдуманном ею самой мире, за пределы которого не ступала ни разу. Законом этого мира было жертвовать собой ради сына, а необходимость жертвы она сама же и создала, перевернув всю их жизнь с ног на голову. Он только потому и принимал жертвы матери, что из-за ее непрактичности они были неизбежны. Всегда она билась как рыба об лед, чтобы вести жизнь, достойную своего рода, чтобы сын ее имел все, что должен иметь Честни, хотя капиталов Честни у нее не было. Но если борьба приносит радость, зачем жаловаться, любила говорить мать. А когда человек в конце концов побеждает, как победила она, вспоминать о трудных временах просто одно удовольствие! Джулиан не мог простить матери, что эта борьба доставляла ей удовольствие и что она считала себя победительницей.

Она считала себя победительницей, потому что сын окончил колледж и потому что он вырос таким красивым (она не лечила свои зубы, чтобы поправить неровные от природы зубы сына), умным (а он знал, что у него не тот ум, чтобы преуспевать в этом мире) и его ожидает блестящее будущее (хотя, конечно, никакого блестящего будущего быть не могло). Она объясняла его угрюмость трудным переходом от юных лет к возмужалости, а слишком смелые идеи — отсутствием жизненного опыта. Она говорила ему, что он совсем не знает жизни, что он еще с ней не сталкивался. А он, как будто у него за плечами было полвека, давно не имел никаких иллюзий.

Но такова уж ирония судьбы, что вопреки матери он многого достиг. Несмотря на то что он учился в третьеразрядном колледже, он получил благодаря собственным усилиям отличное образование; несмотря на то что в детстве его наставлял узкий, ограниченный ум, его собственный ум обладал широтой и гибкостью; несмотря на глупые претензии матери, он был свободен от предрассудков и не боялся смотреть правде в глаза. Но самым удивительным было то, что он не только не был ослеплен любовью к матери, как мать любовью к нему, но сумел внутренне оторваться от нее и мог судить о ней объективно. Мать давно уже не была его наставницей.

Автобус резко остановился, и внезапный толчок вывел Джулиана из задумчивости. Женщина, поднявшаяся с задней скамейки, шла к выходу и чуть не упала на Джулиана, когда автобус затормозил. Она вышла, вошел высокий негр. Джулиан опустил газету и стал ждать, что произойдет. Эта ежедневная, ставшая обычаем несправедливость доставляла ему злорадное удовольствие: он лишний раз убеждался, что в радиусе по крайней мере трехсот миль нет почти никого, с кем стоило бы водить знакомство. Негр был хорошо одет и держал в руке портфель. Он оглядел автобус, сел на скамейку рядом с женщиной в красно-белых босоножках и, развернув газету, немедленно загородился ею. Мать толкнула Джулиана локтем в бок и прошептала:

— Теперь ты понимаешь, почему я не могу ездить в этих автобусах одна?

Едва негр уселся, его соседка встала, перешла в конец автобуса и села на только что освободившееся место. Мать Джулиана проводила ее одобрительным взглядом.

Джулиан поднялся, шагнул через проход, занял место на противоположном сиденье через одно от негра и оттуда безмятежно взглянул на мать. Ее лицо пошло красными пятнами. Он глядел на нее, точно она была случайной попутницей, и вдруг почувствовал, как ему стало легко, — он объявил матери открытую войну.

Он с радостью побеседовал бы с вошедшим негром о политике, об искусстве — вообще о предметах, не доступных пониманию едущей в автобусе публики. Но негр не отрывался от своей газеты. Он не то в самом деле не заметил, не то сделал вид, что не заметил, как Джулиан и женщина в красно-белых босоножках переменили место. Джулиан не знал, чем выразить негру свое сочувствие.

Мать смотрела на него с горьким укором. Ее соседка пялила на него глаза, как на невиданное чудовище.

— Простите, нет ли у вас спичек? — обратился Джулиан к негру.

Не поднимая глаз от газеты, тот сунул руку в карман и протянул ему спички.

— Спасибо, — сказал Джулиан. Минуту он с глупым видом вертел коробок в руках. Прямо перед ним над дверью висела табличка «Не курить». Но это не остановило бы его — у Джулиана не было сигарет; несколько месяцев назад он бросил курить — слишком дорогое удовольствие.

— Простите за беспокойство, — сказал он, возвращая спички. Негр опустил газету и недовольно взглянул на него. Взял спички и опять загородился газетой.

Мать все смотрела на Джулиана. Она заметила неловкую сценку, но не воспользовалась ею и ничего не сказала. Взгляд у нее оставался укоризненный и сердитый. Лицо стало багровым — опять, наверное, поднялось давление. Джулиан боялся, что в глазах у него вдруг мелькнет искра жалости. Он одержал первую победу, и ему хотелось закрепить позиции. Прочитать бы ее жорошенько, но, кажется, на этот раз ничего не выйдет. Негр упорно не желал выглядывать из-за своей газеты.

Джулиан скрестил руки на груди и глядел на мать невидящим взглядом, точно она перестала для него существовать. Он представлял себе: автобус подъезжает к остановке, он продолжает сидеть. Мать говорит ему: «Ты разве не собираешься выходить?» Он смотрит на нее, как на незнакомую женщину, по ошибке обратившуюся к нему. Улица, где находится гимнастический зал, была пустынной, но хорошо освещалась, так что с ней ничего не случится, если она пройдет четыре квартала одна. Окончательно он решит, провожать ли ее, когда автобус подойдет к остановке. В десять часов придется за ней зайти, но пусть помучается, погадает, придет он или нет. Пора ей привыкать к мысли, что он не вечно будет с ней нянчиться.

Воображение опять перенесло его в большую комнату с высоким потолком, скупо обставленную тяжелой старинной мебелью. Его душа опять воспарила и тут же опустилась на землю, когда он вспомнил о матери. Видение исчезло. Он стал холодно разглядывать мать. Ноги в легких

туфлях не достают до полу, как у маленькой девочки. Устремленный на него взгляд полон упрека. Он до такой степени не чувствовал сейчас ее своей матерью, что с удовольствием отшлепал бы, как шлепают упрямого, непослушного ребенка.

Он стал придумывать для нее самые невероятные наказания. Хорошо бы познакомиться с каким-нибудь крупным негритянским ученым или адвокатом и пригласить его к себе в гости. Это было бы превосходно, но давление у матери может подскочить до трехсот. Довести ее до удара не входило в его намерения, к тому же ему не очень везло на знакомство с неграми. Он несколько раз пытался заговорить в автобусе с негром, похожим на ученого, священника или адвоката. Однажды утром он сел рядом с темно-шоколадным негром импозантного вида, который говорил с ним бархатистым профессорским тоном, но оказался хозяином бюро похоронных принадлежностей. В другой раз он обратился к негру, который курил сигару и носил на руке бриллиантовый перстень, но тот, сказав несколько любезных слов, нажал на кнопку остановки по требованию и, поднимаясь с места, сунул ему в руку два лотерейных билета.

Потом он вообразил свою мать занемогшей опасной болезнью. Несколько минут он тешил себя трогательной картинкой: врач-негр склонился над постелью его больной матери — другого врача он не мог найти. Потом увидел себя участником сидячей забастовки. Возможный вариант, но он не стал на нем задерживаться. И перешел к самому страшному наказанию: он приводит в дом красивую женщину, в жилах которой несомненно течет негритянская кровь. Приготовься, мама, говорит он. Теперь уж ничего не поделаешь. Вот моя избранница. Она умна, благородна, у нее даже доброе сердце. Но она много страдала, и это не доставляло ей удовольствия. Преследуй нас! Давай преследуй! Выгони ее из дому, но знай, я уйду вместе с ней.

Он прищурил глаза и сквозь призму негодования, которое разжег в себе, увидел напротив свою мать с багрово-красным лицом: маленькая-маленькая, под стать ее убогому духовному миру, она сидела, выпрямившись, застыв подобно мумии, осененная, как знаменем, своей дурацкой шляпой.

Автобус опять резко затормозил, и Джулиан опять отвлекся от своих фантазий. Дверь с присвистом отворилась,

и в автобус из темноты вошла дородная, одетая в яркое платье негритянка с хмурым, надутым лицом, ведя за руку мальчика лет четырех. На нем был коротенький клетчатый костюмчик и тирольская шапочка с синим пером. Джулиану очень захотелось, чтобы мальчик сел рядом с ним, а женщина — с его матерью. Лучшего соседства для матери нельзя было придумать. Дожидаясь билетов, негритянка высматривала места. «Выбирает, где сесть, чтобы досадить побольше», — с надеждой подумал Джулиан. Ему почудилось что-то знакомое в облике этой женщины, но что — он понять не мог. Она была громадная, не женщина — исполин. Ее лицо говорило о том, что она не только может дать отпор, но и сама, если нужно, пойдет в наступление. Оттопыренная нижняя губа, казалось, предупреждала: не троньте меня. Ее массивную фигуру обтягивало платье из зеленого крепа, толстым ногам было тесно в красных туфлях. На голове высилась чудовищная шляпа: зеленая, похожая на подушку, из которой выпущены перья, с двумя бархатными малиновыми клапанами: один кокетливо торчал вверх, другой спускался на ухо. В руке она держала гигантскую красную сумку; бока сумки распирало так, будто она была набита булыжниками.

К огорчению Джулиана, мальчик вскарабкался на пустое место рядом с его матерью. Его мать обожала всех малышей без разбора, и белых и черных. Она называла их душечками, и негритянские детишки нравились ей даже больше белых. Увидев рядом с собой черного мальчугана, она улыбнулась ему.

Негритянка тем временем направилась к свободному месту рядом с Джулианом. И втиснулась, к его досаде, между ним и читавшим газету негром. Джулиан заметил, как изменилось лицо матери, и с удовлетворением подумал, что матери это соседство более неприятно, чем ему. Лицо ее стало серым, в глазах застыл ужас, точно она узнала в женщине своего заклятого врага. Мать поразило то, подумал Джулиан, что она и эта негритянка как бы обменялись сыновьями. Хотя она и не понимала весь символический смысл этого, но, как видно, чувствовала. Джулиан не старался скрыть довольной улыбки.

Негритянка пробормотала что-то невнятное. И Джулиан почувствовал, как она вся оцетинилась, ему даже почудилось, что она зашипела, как разъяренная кошка. Но он не видел ее лица, а видел только красную сумку, воз-

вышавшуюся на ее мощных, обтянутых зеленым шелком коленях. Он вспомнил, как она стояла в ожидании билета: красные туфли, толстые икры, гигантская грудь, надменное лицо и зелено-малиновая шляпа.

Глаза его округлились.

Эти две шляпы, похожие одна на другую, как близнецы, засияли для него, точно восходящее солнце. Лицо его вдруг озарила радость. Вот уж не ожидал он, что судьба преподаст его матери такой урок. Он громко кашлянул, чтобы мать взглянула на него и увидела, куда он смотрит. Мать медленно перевела на него взгляд. Ее синие глаза налились лиловым. Наивность матери была неподражаема, ему стало на секунду жаль ее, но принципы одержали верх. Его улыбка стала жесткой, он как бы говорил матери: «Наказание в точности соответствует твоей мелкой чванливости. Может, хоть это научит тебя чему-нибудь».

Мать перевела взгляд на его соседку. Казалось, ей было невыносимо видеть сына, соседка и то приятнее. Джулиан опять почувствовал, как негритянка вся оцетибилась. Раздалось глухое бормотание, так бормочет вулкан перед извержением. У его матери вдруг задрожали уголки рта. Джулиан понял, что она заметила наконец шляпу. И с упавшим сердцем увидел по ее лицу, что к ней возвращается ее обычное добродушное расположение духа — никакого урока не получилось. Мать, улыбаясь, смотрела на негритянку, вид которой явно забавлял ее, как позабавила бы обезьяна, стащившая у нее шляпу. Мальчуган в тирольской шапочке смотрел на мать Джулиана большими восторженными глазами. Ему уже давно хотелось с ней поиграть.

— Карвер! — вдруг сказала негритянка. — Иди сюда!

Обрадовавшись, что на него обратили наконец внимание, малыш забрался с ногами на сиденье, повернулся к матери Джулиана и засмеялся.

— Карвер! — повторила женщина. — Ты слышишь? Иди сейчас же сюда.

Малыш соскользнул с сиденья и присел на корточки, повернув лукавую мордочку к матери Джулиана, которая ласково ему улыбнулась. Негритянка протянула руку и, схватив сына, подтащила его к себе. Он прислонился спиной к ее коленям и улыбнулся во весь рот матери Джулиана.

— Правда, какой душечка! — заметила мать, обращаясь к соседке с лошадиными зубами.

— Да, ничего,— проговорила та неуверенно.

Негритянка хотела посадить сына к себе на колени, но он вырвался, бросился через проход к матери Джулиана и, радостно смеясь, полез на сиденье рядом с ней.

— По-моему, я ему понравилась,— сказала она негритянке и улыбнулась той своей улыбкой, какой всегда улыбалась, когда хотела быть особенно любезна с низшими существами. Джулиан понял, что все пропало. Мать учить — что мертвого лечить.

Негритянка встала, схватила сына и, как от чумы, оттащила его от матери Джулиана. Он понимал, что особенную ярость вызывала у нее улыбка матери — у нее самой такого оружия не было. Она больно шлепнула малыша. Он заорал, уткнулся головой ей в живот и заколотил ногами по ее коленям.

— Веди себя прилично,— свирепо проговорила женщина.

Автобус остановился. Негр, читавший газету, вышел. Женщина подвинулась и резким движением усадила малыша между собой и Джулианом. Она крепко держала его за коленку. Малыш минуту вертелся, потом закрыл ладошками лицо и стал поглядывать сквозь растопыренные пальчики на мать Джулиана.

— А я тебя вижу! — сказала ему мать и тоже спрятала в ладони лицо.

Негритянка отдернула ручки сына от лица и рявкнула:

— Перестань сейчас же безобразничать! Не то вздую тебя хорошенько!

Джулиан благодарил судьбу, что на следующей остановке им выходить. Он поднялся с места и дернул шнур. Негритянка встала и тоже потянулась к шнуру. О господи, подумал Джулиан. Его вдруг кольнуло предчувствие, что его мать, когда они вместе выйдут из автобуса, обязательно достанет из сумочки пятицентовик и даст его негритенку. Это было для нее так же естественно, как дышать воздухом. Автобус остановился. Негритянка устремилась к выходу, таща за собой сынишку, который упирался, не желая выходить. Джулиан с матерью пошли за ними. У выхода Джулиан попытался взять у матери сумку.

— Оставь,— сказала мать.— Я хочу дать малышу монетку.

— Ни в коем случае,— прошептал ей на ухо Джулиан. Мать улыбнулась малышу и раскрыла сумку. Дверь автобуса отворилась. Негритянка подхватила сына под мышку и вышла. Поставив сына на землю, она хорошенько тряхнула его.

Перед тем как выйти, мать Джулиана защелкнула сумочку, но, едва очутившись на улице, тотчас снова открыла и стала в ней рыться.

— Не могу найти пятицентовик,— прошептала она.— Только один цент, но совсем новенький.

— Не смей этого делать,— яростно прошептал сквозь зубы Джулиан.

На углу улицы горел фонарь, и мать поспешила туда, чтобы при свете найти нужную монету. Негритянка шла быстрым шагом, волоча за собой малыша.

— Мальчик! — крикнула мать Джулиана, побежала и у самого фонаря догнала их.— Вот тебе красивая новая монетка,— сказала она и протянула на ладони цент, бронзово поблескивающий в тусклом свете фонаря.

Огромная женщина обернулась и с перекошенным от гнева лицом глядела секунду на мать Джулиана. Потом взорвалась, как котел, в котором давление превысило критическое. Черный кулак с красной сумкой взметнулся вверх. Джулиан зажмурил глаза и весь сжался.

— Мой сын милостыни не берет,— услышал он ее голос.

Когда он открыл глаза, негритянка быстро удалялась. А над ее плечом блестели широко раскрытые глаза мальчугана в тирольской шапочке. Мать Джулиана сидела на тротуаре.

— Я говорил тебе, не делай этого,— сказал сердито Джулиан.— Говорил, не делай!

Он стоял над матерью, стиснув зубы. Она сидела, вытянув перед собой ноги, шляпа свалилась ей на колени. Он нагнулся и заглянул ей в лицо. Оно ничего не выражало.

— Ты сама виновата,— сказал он.— Вставай.

Он поднял сумочку, собрал рассыпавшуюся из нее мелочь. Взял с колен матери шляпу. Рядом на тротуаре поблескивала злополучная монетка. Он поднял ее и опустил в сумочку так, чтобы мать видела. Потом выпрямился и, нагнувшись, протянул ей руки. Мать не шевельнулась. Он вздохнул. По обеим сторонам улицы высились черные стены жилых домов со светящимися кое-где четырехуголь-

никами окон. В конце квартала из дома вышел человек и пошел в противоположную сторону.

— Послушай,— сказал Джулиан,— вдруг кто-нибудь пойдет мимо и спросит, почему ты сидишь на земле.

Мать взяла его руку, тяжело опершись на нее и хрипло дыша, поднялась на ноги; ее покачивало, и пятно света от фонаря, казалось, качается вместе с ней. Глаза матери, потускневшие и растерянные, остановились на лице Джулиана. Он не скрывал своего раздражения.

— Надеюсь, это послужит тебе уроком,— сказал он.

Мать наклонилась вперед, ее глаза обшаривали его лицо, точно она силилась вспомнить, кто это. Потом, не узнав сына, двинулась в обратную сторону.

— Ты не пойдешь в гимнастический зал? — спросил Джулиан.

— Домой,— прошептала мать.

— Пешком?

Не отвечая, мать шла вперед. Джулиан шел за ней, заложив руки за спину. Он считал, что полученный ею урок необходимо подкрепить объяснениями.

— Не думай, пожалуйста, что ты встретила просто слишком гордую негритянку,— сказал он.— В ее лице ты столкнулась со всей негритянской расой, которая не нуждается больше в твоей милостыне. Эта женщина — точно такой человек, как ты, только черная. Она может позволить себе купить такую же, как у тебя, шляпу. И кстати,— прибавил он, хотя это было вовсе не кстати,— она ей гораздо больше к лицу, чем тебе. Так вот, сегодняшнее происшествие означает, что старый мир ушел безвозвратно. Старые обычаи стали смешны, и благорасположение твое гроша ломаного не стоит.— Джулиан с горечью вспомнил старый дом Годхаев, который был навсегда для него потерян.— Ты вовсе не то, чем себя воображаешь.

А мать все шла, тяжело передвигая ноги, не слыша, что говорит сын. Волосы у нее растрепались. Она выронила из рук сумку и не заметила. Он остановился, поднял сумку и протянул матери, но она не взяла ее.

— Не веди себя так, будто пришел конец света,— сказал он.— До конца света еще далеко. Только теперь тебе придется жить в другом мире. И для начала научись смотреть в лицо хотя бы некоторым фактам. Да не расстраивайся ты. От этого не умирают.

Мать тяжело и часто дышала.

— Может, подождем автобус,— сказал он.

— Домой,— хрипло проговорила она.

— Мне противно на тебя смотреть,— сказал Джулиан.— Как маленький ребенок. Я думал, ты у меня гораздо тверже духом.— Он остановился, чтобы остановить мать.

— Дальше я не пойду. Поедем на автобусе,— сказал он.

Мать как будто не слышала. Джулиан догнал ее, взял за руку и остановил. Он посмотрел ей в лицо, и у него перехватило дыхание. Это было чужое лицо, которого он никогда раньше не видел.

— Скажи бабушке, пусть придет за мной,— проговорила она.

Джулиан смотрел на нее, потрясенный.

— Скажи Каролине, пусть придет за мной.

Джулиан, похолодев, отпустил ее руку, и она опять пошла, шатаясь и прихрамывая, как будто одна нога у нее короче другой. Волны ночной тьмы, казалось, гнали ее от него.

— Мама! — закричал Джулиан.— Мапочка, родная, подожди!

Мать как-то вся съежилась и повалилась на тротуар. Он бросился к ней, упал на колени и стал звать: «Мама! Мама!» Он перевернул ее. Лицо ее искажала страшная гримаса. Один глаз, огромный, выпученный, медленно поворачивался влево, точно сорвался с якоря. Другой уставился на него, обшарил его лицо. Ничего не нашел и закрылся.

— Подожди меня! — крикнул Джулиан, вскочил на ноги и бросился бежать к видневшимся вдали огням.— Помогите! Помогите! — кричал он голосом, тонким, как нитка. А огни, горевшие впереди, уходили тем дальше, чем быстрее он бежал. Ноги его как свинцом налились и, казалось, не двигались. Вал ночной тьмы сносил его назад, к матери, отдаляя на какой-то миг вступление в мир скорби и раскаяния.

БЕРЕГИ ЧУЖУЮ ЖИЗНЬ — СПАСЕШЬ СВОЮ!

Старуха с дочкой сидели на веранде, когда на дороге показался мистер Шифтлет. Старуха сползла на край качалки и подалась вперед, прикрыв рукой глаза от пронзительных лучей вечернего солнца. Дочка видела плохо и спокойно продолжала играть пальцами. Хотя они жили в этой глуши одни и старуха никогда раньше не встречала мистера Шифтлета, она сразу поняла, что это бродяга, и притом такой, которого бояться нечего. Левый рукав его пиджака был подогнут у локтя, где кончалась культияпка, а щуплое тело кренилось набок, словно под порывами ветра. Одет он был в черный городской костюм, поля коричневой фетровой шляпы были спереди заломлены, а сзади опущены, правую руку оттягивал жестяной чемоданчик для инструментов. Он приближался семенящей походкой, а лицо его было обращено прямо к солнцу, которое в эту минуту пыталось удержаться на верхушке холма.

Старуха дождалась, пока он подойдет к воротам, а затем уперлась кулаком в бок и встала. Теперь его разглядела и дочка, крупная девица в коротеньком голубом платье из органди; она вскочила, затопала ногами и что-то залопотала, показывая на него пальцем.

Во дворе мистер Шифтлет остановился, поставил чемоданчик на землю и, слегка приподняв шляпу, поздоровался с девушкой, словно и не заметил в ней ничего странного, затем повернулся и широким жестом снял шляпу



перед старухой. Его гладкие черные волосы были расчесаны на прямой пробор и длинными прядями свисали на уши. Лоб занимал больше половины лица и вгонял нос и губы прямо в резко выпирающую нижнюю челюсть. С виду мистер Шифтлет был молод, но в его взгляде сквозило хмурое недовольство, будто он давно уже знал жизнь вдоль и поперек.

— Добрый вечер,— сказала старуха. Ростом она была не меньше соснового столба ограды, голову ее прикрывала низко надвинутая на глаза серая мужская шляпа.

Бродяга смотрел на нее и не отвечал. Он повернулся лицом к закату. Потом медленно раскинул руки — здоровую и увечную,— словно обнимая всю ширь неба, и стал похож на изломанный крест. Старуха сложила руки на груди и наблюдала за ним с таким видом, точно была хозяйкой заката; девушка, вытянув шею и потерянно свесив руки, тоже не спускала с него глаз. Ее длинные золотистые волосы отливали розовым, а глаза синели, как шея павлина.

С минуту постояв так, мистер Шифтлет поднял чемодан, подошел к веранде и сел на нижнюю ступеньку.

— Сударыня,— уверенно прогнусавил он,— я бы ничего не пожалел, чтобы каждый божий вечер любоваться таким солнцем.

— Тут оно всегда такое,— подтвердила старуха и снова села. Следом уселась и дочь, следя за ним настороженно, хитровато, как за близко подлетевшей птицей. Мистер Шифтлет изогнулся, вытянул из кармана брюк пачку жевательной резинки и протянул ей одну пластинку. Девушка взяла ее, сняла обертку и принялась жевать, ни на секунду не отрывая от него взгляда. Он предложил резинку и старухе, но та только обнажила в ответ беззубые десны.

Блеклые, острые глазки мистера Шифтлета уже успели обежать весь двор, скользнули по колодцу возле угла дома, по развесистой смоковнице, в ветвях которой устраивались на ночлег три-четыре курицы, и, наконец, остановились на ржавом квадратном багажнике автомобиля под навесом.

— Сами водите? — спросил он.

— Эта машина пятнадцать лет уже стоит,— ответила старуха.— Как муж умер, с тех пор и не заводили.

— Ничто не вечно,— сказал он.— Мир, сударыня, почти весь прогнил.

— Это верно,— сказала старуха.— А вы не здешний?

— Том Т. Шифтлет,— представился он, приглядываясь к покрывкам.

— Рада познакомиться,— сказала старуха.— А я — Люсинел Крейтер, дочка тоже Люсинел Крейтер. Так что же вы делаете в наших краях, мистер Шифтлет?

Мистер Шифтлет определил, что под навесом стоит «форд» не то 28-го, не то 29-го года. Затем он повернулся к старухе и заговорил, больше ни на что не отвлекаясь.

— Я, сударыня, хочу вам кое-что рассказать. Один врач в Атланте берет как-то нож и вырезает у человека сердце. Человечье сердце,— повторил он, наклоняясь ближе.— Вырезал его, значит, из груди, взял в руку,— тут мистер Шифтлет вытянул свою руку ладонью вверх, словно в ней лежало человеческое сердце,— и стал рассматривать, как вылупившегося цыпленка. И поверите, сударыня? — Последовала многозначительная пауза, голова мистера Шифтлета подалась вперед, рыжеватые глазки заблестели.— Все равно он теперь знает о нем не больше нас с вами.

— Это верно,— сказала старуха.

— Да хоть возьми он этот самый нож и разрежь сердце на мелкие кусочки, все равно он больше нашего знать не будет. Хотите, поспорим?

— Не хочу,— благообразно ответила старуха.— Так откуда же вы родом, мистер Шифтлет?

Мистер Шифтлет отозвался не сразу. Он порылся в кармане, вытащил кисет и пачку папиросной бумаги, ловко, одной рукой, свернул сигарету и прихватил ее верхней губой. Потом извлек коробок спичек, чиркнул о подметку и долго смотрел на горящую спичку, словно пытался постичь тайну огня. Когда пламя подкралось совсем близко, старухина дочка громко замычала, указывая на его руку и грозя пальцем, но мистер Шифтлет согнулся над сложенной ладонью и, рискуя обжечь нос, закурил.

Бросив горелую спичку, он выпустил в потемневший розовый воздух серую струйку дыма. На его лице появилось хитроватое выражение.

— Сударыня,— начал он,— люди в наши дни на что хочешь способны. Положим, я из Таруотера, штат Теннесси, и зовут меня Том Т. Шифтлет, но вы же никогда меня

не видели, так откуда вам знать, что я не вру? А может, сударыня, мое имя Аарон Спаркс и я из Синглберри, штат Джорджия, а может, я Джон Спидс из Люси, Алабама, или Томсон Брайт из Тулафолса, Миссисипи?

— Да кто вас там разберет! — с досадой проворчала старуха.

— Сударыня, — продолжал он, — людям на все плевать, они врут на каждом шагу и не краснеют. Одно могу сказать наверняка: я — человек. Но послушайте, сударыня, — он выдержал паузу, и его голос стал еще более зловещим, — а что есть человек?

Старуха мусолила во рту семечко.

— Что у вас в чемоданчике, мистер Шифтлет? — спросила она.

— Инструмент, — ответил он, опомнившись. — Я плотник.

— Что ж, если ищете работу — пожалуйста. Еда и постель будут, но платить, сразу вам говорю, мне нечем.

Мистер Шифтлет не спешил с ответом, и в лице его ничего не изменилось. Он откинулся назад и прислонился спиной к стояку, подпирающему крышу веранды.

— Сударыня, — протянул он наконец, — бывают люди, для которых деньги — это еще не все в жизни.

Старуха молча раскачивалась в кресле, а дочь смотрела, как по горлу мистера Шифтлета вверх и вниз бегают кадык. Мистер Шифтлет объяснил старухе, что большинство людей интересуют только деньги, а ему хочется знать, для чего, собственно, человек рождается на свет? Загрести деньги, и все? Вот лично она, хочется ему знать, для чего родилась? Но старуха не отвечала, она качалась и прикидывала, можно ли с одной рукой перебраться крышу над сторожкой в саду. Мистер Шифтлет задал еще много вопросов, оставшихся без ответа. Он рассказал, что ему двадцать восемь лет и он кое-что повидал в жизни. Был церковным певчим, десятником на железной дороге, работал в похоронном бюро, три месяца пел на радио в передаче «Дядюшка Рой и ковбой с Красного Ручья». Еще он рассказал, что служил в армии, кровь за родину проливал, в каких только странах не был и повсюду встречал людей, которым на все наплевать. Сам-то он воспитан иначе.

Полная желтая луна появилась в ветвях смоковницы, словно хотела устроиться вместе с курами на ночлег. Чтобы увидеть мир нетронутым, говорил мистер Шифтлет,

нужно уехать в деревню; он и сам, к примеру, не прочь пожить в таком вот безлюдном месте и каждый вечер любоваться солнцем — тут оно хоть заходит, как господь ему повелел с первого дня творенья.

— Вы женаты или как? — спросила его старуха.

Последовало продолжительное молчание.

— Где, сударыня, — спросил он наконец, — найдешь сейчас чистую девушку? А всяких потаскушек, кому только свистни, мне не надо.

Старухина дочка в это время пригнулась, свесив голову почти до колен, раздвинула упавшие волосы и смотрела на него через треугольный просвет; внезапно она мешком шлепнулась на пол и захныкала. Мистер Шифтлет помог ей подняться и снова усадил в качалку.

— Ваша дочурка? — спросил он.

— Единственная, — сказала старуха. — Золото, а не ребенок. Ни за что бы с ней не рассталась! И такая умница! Подмести, сготовить, постирать, кур накормить, грядки прополоть — все умеет. Не расстанусь с ней ни за какие сокровища.

— Само собой. — Голос его потеплел. — Только смотрите, как бы кто-нибудь не увел ее от вас.

— Если кто посватается, придется ему жить с ней здесь, — сказала старуха.

В темноте глаза мистера Шифтлета тянулись к лунному блику на бампере автомобиля. Он резко махнул культияпкой, словно сгребая в одно и дом, и двор, и колодец.

— В вашем хозяйстве, сударыня, не найдется такой поломки, которую я не смог бы исправить, а сколько у меня рук — к делу не относится. Я — мужчина, — произнес он с угрюмым достоинством. — Даром что калека. У меня, — тут он постучал по половице костяшками пальцев, подчеркивая огромную важность сообщения, — совесть есть. — И, прорезав подбородком полосу света, падающего из дверей, он уставился на старуху, словно и сам был потрясен такой невероятной истиной.

На нее эти слова не произвели впечатления.

— Я же сказала, хотите работать — оставайтесь. Кормить буду, а спать, если вы не против, можете хоть там, в автомобиле.

— Да чего уж, сударыня, — он радостно осклабился, — монахи в старину даже в гробах спали.

— Темные были люди, какой с них спрос,— сказала старуха.

На следующее утро мистер Шифтлет принялся за крышу сторожки, а Люсинел-младшая сидела на камне и смотрела на него. Не прошло и недели, как во дворе появились перемены. Он починил ступеньки веранды и черного крыльца, построил новый свинарник, поправил изгородь и даже научил Люсинел, глухонемую от рождения, говорить слово «цыпа». Крупная румяная девушка ходила за ним по пятам, выговаривая «цыппа», «цыппа» и хлопая в ладоши. Старуха издали следила за ними и радовалась про себя. Зять ей был нужен до зарезу.

Спал мистер Шифтлет на узком и жестком заднем сиденье машины, высунув ноги в окно. На ящичке, который служил ему тумбочкой, он держал бритву и жестянку с водой, к заднему стеклу прислонил осколок зеркала, а пиджак аккуратно повесил на плечиках на одно из окон.

Вечерами он усаживался на ступеньках веранды и о чем-нибудь разглагольствовал, а по обе стороны от него во всю мочь раскачивались в качалках старуха и Люсинел. Три холма за старухиным участком чернели на фоне темно-синего неба, над ними чередой проплывали разные планеты и стояла, покинув куриную компанию, луна. Мистер Шифтлет говорил, что у него появился свой интерес, оттого он так и старается на ферме. Он даже машину им отремонтирует.

Подняв капот, он осмотрел двигатель и объявил, что машина сделана еще в ту пору, когда их делали на совесть. А сейчас,— продолжал он,— одну гайку закручивает один, другую — другой, третью крутит третий, выходит по человеку на каждую гайку. Потому и машины дорогие: платить-то надо сразу всем. А если платить одному — оно и дешевле выйдет, и человек свой интерес почувствует, и машины станут лучше. Старуха с ним согласилась.

Беда в том, говорил мистер Шифтлет, что людям сейчас на все наплевать, никто ни во что душу не вкладывает. Вот он, например, никогда бы не выучил Люсинел говорить слово «цыпа», будь ему на все наплевать или если бы он не вкладывал во все душу.

— Научите ее говорить еще что-нибудь,— сказала старуха.

— А какое слово вы бы хотели? — спросил мистер Шифтлет.

Ее улыбка была широкой, беззубой, многозначительной.

— Пусть научится говорить «мое солнышко», — сказала она.

Мистер Шифтлет давно смекнул, что у нее на уме.

На следующий день он покопался в машине и вечером сказал, что если купить приводной ремень, то ее можно будет завести.

Старуха обещала дать денег. Потом кивнула в сторону Люсинел: та примостилась рядом на полу и смотрела на него во все глаза — даже в темноте они были у нее синими.

— Видите эту девушку? Пожелай какой-нибудь мужчина увезти ее от меня, я сказала бы: «Не отдам, никому на свете не отдам мое золотце». Но если он заявит: «Сударыня, я и не собираюсь ее увозить, я останусь с ней тут», — я отвечу: «Не мне вас осуждать, мистер. Я бы и сама не упустила случая обзавестись домом и жить с самой милой девушкой на свете. Нет, губа у вас не дура», — ответила бы я.

— А сколько ей лет? — как бы между прочим спросил мистер Шифтлет.

— Пятнадцать, шестнадцать, — сказала старуха.

На самом деле Люсинел уже стукнуло двадцать девять, но она была так младенчески чиста, что об этом никто не догадывался.

— Машину неплохо бы заодно и покрасить, — заметил мистер Шифтлет, — не то заржавеет.

— Там видно будет, — сказала старуха.

На другой день мистер Шифтлет сходил в город и вернулся с необходимыми деталями и канистрой бензина. К вечеру под навесом вдруг раздались жуткие звуки; решив, что у Люсинел начался припадок, старуха выскочила из дома. Девушка сидела на куриной клетке, возбужденно топала ногами и визжала: «цыппа, цыппа», но ее голос тонул в шуме двигателя. Потом под гром выхлопов величественно и грозно машина выползла из-под навеса. Мистер Шифтлет, серьезный, с прямой как палка спиной, сидел за рулем. Лицо его светилось скромностью, будто он только что воскресил мертвеца.

Усевшись вечером в качалку, старуха без проволочек приступила к делу.

— Стало быть, вам нужна чистая девушка, верно? — участливо спросила она. — Всякие там потаскушки вам ни к чему?

— Ни к чему.

— Нужна такая, — продолжала старуха, — чтобы не чесала языком, не огрызалась на каждое слово, не ругалась. Так? Тогда вот, смотрите. — И она показала на Люсинел, которая сидела в качалке по-турецки, обхватив пятки руками.

— Это верно, — согласился он, — с ней хлопот не будет.

— Раз так, — сказала старуха, — в субботу все трое поедем в город и поженимся.

Мистер Шифтлет устроился на ступеньках поудобнее.

— Не могу я сейчас жениться, — сказал он. — Для этого деньги нужны, а у меня нет ни гроша.

— А на что они вам, деньги? — спросила старуха.

— Деньги нужны. Сейчас многие делают все лишь бы как, а по мне — жениться и не свозить куда-нибудь жену, как полагается... Нет, я так не могу. Я должен повезти ее в гостиницу, угостить. Да я бы и на герцогине Виндзорской не женился, — заявил он решительно, — если бы не мог повезти ее в гостиницу и накормить чем-нибудь вкусным. Ничего не поделаешь, так уж я воспитан. Этому меня еще мама научила.

— Люсинел гостиниц в глаза не видала, — забубнила старуха, подвигаясь вперед. — Посудите сами, мистер Шифтлет, у вас будет свой дом, глубокий колодец, самая чистая девушка. И не нужны вам никакие деньги! Я вот что скажу: бездомному калеке, без денег, без друзей — такому устроиться нелегко.

Эти жестокие слова закружились в мозгу мистера Шифтлета, как стая ворон над верхушкой дерева. Но сразу отвечать он не стал. Свернул сигарету, закурил, а потом уже сказал спокойно:

— У человека, сударыня, есть не только тело, но и душа.

Старуха сжала десны.

— Тело и душа, — повторил он. — Тело, сударыня, как дом, стоит на месте — и все, а душа — она вроде автомобиля, всегда в движении, всегда...

— Послушайте-ка, мистер Шифтлет, — прервала его

старуха, — колодец у меня не пересыхает, в доме зимой тепло, ферма не заложена — можете сходить в город и проверить в конторе. К тому же под навесом стоит хорошая машина. До субботы, — осторожно кинула она приманку, — вы успеете ее покрасить. Деньги я дам.

В темноте по губам мистера Шифтлета скользнула улыбка, похожая на усталую змею, разбуженную огнем. Однако он тут же взял себя в руки.

— Я хочу сказать, что душа для человека важнее всего. Какие бы ни были расходы, но я обязан куда-нибудь свозить жену на пару дней. Этого моя душа требует.

— Пятнадцать долларов, — проворчала старуха, — больше дать не могу.

— Еле-еле хватит на бензин и гостиницу, — сказал он. — А кормить ее на что?

— Семнадцать с половиной — это все, что у меня есть. Больше вам не выдоить. А завтрак возьмете с собой из дому.

Слово «выдоить» больно ранило его чувства. Мистер Шифтлет не сомневался, что в ее матрасе зашито гораздо больше, но он уже успел объявить, что деньги его не интересуют.

— Как-нибудь обернусь. — Он встал и отошел, прекращая переговоры.

В субботу, едва краска на машине подсохла, все трое отправились в город и там, в кабинете судьи, мистера Шифтлета и Люсинел поженили; старуха была у них свидетелем.

На улице мистер Шифтлет принялся вертеть затянутой в воротничок шеей. Глаза его были злыми, мрачными, будто его оскорбили, а дать сдачи не удалось.

— Не по мне все это, — сказал он. — Какая-то барышня просто повозилась в конторе с бумажками, да еще анализ крови. А что они понимают в моей крови? Да если бы они даже вырезали мое сердце, им и тогда ничего не узнать. Нет, все это не по мне.

— Зато по закону, — отрезала старуха.

— Закон! — мистер Шифтлет сплюнул. — Закон-то и не по мне!

Машину он выкрасил в темно-зеленый цвет с желтой полоской под стеклами. Все трое забрались на переднее сиденье, и старуха сказала:

— Люсинел-то сегодня какая хорошенькая! Прямо ку-колка!

На девушке было белое платье, которое мать раскопала в сундуке, на голове — соломенная шляпка с гроздью красных деревянных вишен сбоку. В безмятежных глазах время от времени мелькала какая-то крошечная, хитровая мысль, одинокая, как зеленый росток в пустыне.

— Повезло же человеку! — сказала старуха.

Мистер Шифтлет даже не взглянул на нее.

Они вернулись домой, чтобы высадить старуху и захватить завтрак. Когда к отъезду все было готово, старуха припала к дверце автомобиля, стиснув пальцами край стекла. Из уголков ее глаз по глубоким грязным морщинам заструились слезы.

— На два дня я с ней никогда еще не расставалась, — проговорила она.

Мистер Шифтлет завел мотор.

— И никому, кроме вас, я бы ее не отдала, я знаю, на вас можно положиться. До свидания, мое солнышко.— И она уцепилась за рукав белого платья. Люсинел повернула голову, но, казалось, даже не видела ее. Мистер Шифтлет легонько тронул машину, и старухе пришлось убрать руки.

День был ясный, вокруг под бледно-голубым небом растлались широкие просторы. Хотя из машины нельзя было выжать больше тридцати миль в час, мистер Шифтлет воображал, что преодолевает страшные подъемы, спуски, виражи, и так увлекся, что утренняя горечь совсем забылась. Ему давно хотелось иметь машину, но денег никогда не было. Ехал он быстро, чтобы к ночи добраться до Мобила.

Отвлекаясь временами от своих мыслей, он посматривал на сидевшую рядом Люсинел. Завтрак она съела, едва выехали со двора, а теперь обрывала со шляпы вишенки и бросала их одну за другой в окно. Мистера Шифтлета даже машина перестала радовать. Проехав около ста миль, он подумал, что девушка снова проголодалась, поэтому в следующем городке остановился у выкрашенной в серебристый цвет закуской под названием «Теплое местечко» и заказал порцию ветчины с кукурузной кашей. Езда разморила Люсинел, забравшись на табурет, она положила голову на стойку и закрыла глаза. Кроме мистера Шифтлета и бледного юнца, который стоял за стойкой с засаленной тряпкой через плечо, в закуской никого не было.

Пока тот наполнял тарелку, девушка тихонько захрапела.

— Покормите ее, когда проснется,— сказал мистер Шифтлет.— Деньги я оставляю.

Буфетчик склонился над Люсинел и уставился на длинные розовато-золотистые кудри и чуть приоткрытые во сне глаза. Затем перевел взгляд на мистера Шифтлета.

— Точно ангел небесный,— тихо сказал он.

— Попросила подвезти,— объяснил мистер Шифтлет.— А ждать я не могу. Надо еще успеть в Таскалусу.

Буфетчик снова нагнулся и осторожно тронул пальцем золотую прядь; мистер Шифтлет вышел.

Оставшись в машине один, он окончательно расстроился. К вечеру стало жарко и душно, дорога бежала теперь по равнине. Высоко в небе, медленно, без грома, словно задумав не оставить земле ни глотка воздуха, собиралась гроза. Сейчас мистеру Шифтлету не хотелось быть одному. И потом, как владелец машины, он чувствовал себя в долгу перед теми, у кого машины не было, и следил, не появится ли на дороге человек с поднятой рукой. Мимо изредка проплывали дорожные щиты, предупреждавшие: «Будь осторожен! Береги чужую жизнь — спасешь свою!»

По сторонам узкого шоссе тянулись сухие поля, среди них попадались лачуги и заправочные станции. Солнце начало опускаться. Машина бежала прямо на этот рдеющий шар, казавшийся через ветровое стекло чуть приплюснутым снизу и сверху. Наконец мистер Шифтлет увидел на обочине парнишку в комбинезоне и серой шляпе и, притормозив, остановился около него. Руки парень не поднимал, но при нем был небольшой картонный чемодан, да и шляпа была заломлена так решительно, что сомнений не оставалось — он уезжал навсегда.

— Я вижу, ты ждешь попутку, сынок,— сказал мистер Шифтлет.

Ничего не ответив, тот открыл дверцу, уселся, и мистер Шифтлет поехал дальше. Чемодан парнишка поставил к себе на колени, а на него положил руки. Потом отвернулся и стал смотреть в боковое стекло. Мистер Шифтлет совсем приуныл.

— Сынок,— заговорил он через минуту,— раз уж моя мать — лучшая в мире, твоя, надо думать, занимает второе место.

Мальчик окинул его быстрым угрюмым взглядом и снова уставился в окно.

— Мать ни с кем не сравнишь, сынок! — продолжал мистер Шифтлет. — Лишь она одна никогда не отступится от сына, это она, посадив его на колени, обучила первой молитве, растолковала ему, что хорошо, а что дурно, это она следила, чтобы он все делал по справедливости. Я проклиная тот день, когда ушел от своей мамы, ни о чем в жизни я так не жалел.

Мальчик заерзал на сиденье, но на мистера Шифтлета даже не взглянул. Затем убрал ладони с чемодана и взялся за дверную ручку.

— Моя мама была ангел небесный, — объявил мистер Шифтлет сдавленным голосом. — Господь взял ее из рая и дал мне, а я ее бросил.

Его глаза как по заказу заволокло слезами. Машина еле двигалась.

Мальчишка сердито повернулся к нему.

— А иди ты к черту, — закричал он. — Шлюха, вот она кто, моя мать, а твоя — вонючка, — и, рванув дверь, он вместе с чемоданом соскочил в кювет.

Мистер Шифтлет был так поражен, что шагов сто проехал, не закрывая дверцу и не прибавляя скорости. Солнце тем временем закрыла туча — серая, как шляпа парнишки, и напоминающая по форме репу; другая туча, еще страшнее, припала к земле позади машины. Мистеру Шифтлету казалось, что мировая скверна вот-вот захлестнет его. Он воздел руку вверх и снова уронил ее себе на грудь.

— Господи, — взмолился он, — разразись грозой, смой всю гниль с земли этой!

Огромная репа продолжала медленно опускаться. Через несколько минут сзади рванул раскат грома и неправдоподобно большие капли дождя застучали, точно крышки от консервных банок, по багажнику автомобиля. Мистер Шифтлет резко нажал на газ и, высунув из окна культяпку, помчался наперегонки с прыгающими каплями в сторону Мобила.



Бабушка не хотела ехать во Флориду. Ей хотелось навестить кое-кого из родственников на востоке Теннесси, и она не упускала случая навязывать Бейли свой план. Бейли был ее единственный сын, у него она и жила. Бейли сидел у стола на краешке стула, уткнувшись в оранжевую спортивную страницу «Джорнэла».

— Нет, ты только погляди сюда, Бейли,— сказала бабушка,— вот возьми, почитай.— И, упершись одной рукой в худое бедро, бабушка другой тряханула газету над лысиной сына.— Тот преступник, что себя Изгоем называет, убежал из федеральной тюрьмы и держит путь во Флориду. Нет, ты почитай, что тут пишут, как он с этими людьми расправился. Ты только почитай. Когда такой

преступник гуляет на свободе, я бы сидела дома, а не везла детей туда; где он рыщет, меня б потом совесть замучила.

Ей не удалось оторвать Бейли от газеты, и она повернулась к нему спиной и принялась за невестку, молодую женщину с круглым, безмятежным, как капуста, лицом, в брюках и зеленом платке, торчавшем на макушке заячьими ушами. Невестка сидела на диване и кормила младенца абрикосами из банки.

— Во Флориде дети уже были,— говорила старушка,— и теперь их надо повезти куда-нибудь еще — пусть увидают свет, расширят свой кругозор. А в Теннесси они никогда не были.

Невестка, видно, пропустила ее слова мимо ушей, но Джон Весли, восьмилетний крепыш в очках, сказал:

— Не хочешь во Флориду, оставайся дома.— Он сидел на полу со своей сестренкой Джун Стар и читал комиксы.

— Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ее озолоти,— сказала Джун Стар, не поднимая белесой головы.

— Ладно, ладно, а вот интересно, что вы будете делать, когда попадете Изгою в руки,— сказала бабушка.

— Я ему как вружу,— сказал Джон Весли.

— Да она ни денечка дома не останется, хоть ты ей миллион дай,— сказала Джун Стар.— Все боится, как бы чего не упустить. Куда мы, туда и она, без нее нигде не обойдется.

— Вот и отлично, мисс,— сказала бабушка,— только смотри, как бы не пришлось пожалеть, когда в другой раз попросишь меня волосы тебе завить.

Но Джун Стар сказала, что у нее волосы сами выются.

Назавтра бабушка встала раньше всех и первой села в машину. Свой громоздкий черный саквояж она пристроила в углу, откуда он торчал, как голова гиппопотама, а под него спрятала корзинку с котом Питти Сингом. Она не намерена оставлять кота одного: за три дня кот без нее изведется, да и потом он может невзначай задеть кран у плиты и отравиться газом. Бейли, ее сын, не разрешал брать кота в мотели.

Бабушка села сзади, по бокам ее устроились Джон Весли и Джун Стар. Бейли, невестка и младенец разместились впереди; они выехали из Атланты в восемь сорок пять, и спидометр показывал 55 890 миль. Бабушка списала показания: когда они вернутся домой, всем захочется

узнать, сколько миль они проехали, и тут-то она им и скажет. Через двадцать минут они очутились за городом.

Старушка уселась поудобнее, стянула белые нитяные перчатки и положила их вместе с ридикиюлем к заднему стеклу. На невестке были те же самые брюки и зеленый платок, что и накануне, но бабушка нарядилась в темно-синюю соломенную шляпку с пучком белых фиалок и темно-синее же платье в белую крапинку. Воротничок и манжеты из белого органди заканчивались кружевными оборочками, а у выреза она приколола надушенный букет матерчатых фиалок. Так что случись с ними авария — кто бы ни нашел ее труп на шоссе, тут же поймет, что перед ним дама.

Бабушка сказала, что, по ее мнению, день для поездки будет удачный — не слишком жаркий, не слишком холодный, — и напомнила Бейли, что предельная скорость 55 миль в час и что за рекламными щитами и в кустах прячутся полицейские — ты не успеешь еще сбросить скорость, как за тобой уже погонятся. Она призывала их посмотреть, едва показывалось что-нибудь, по ее мнению, интересное: Стоун-Маунтин¹, голубые громады гранита, вдруг встававшие по обеим сторонам дороги, рыжие глинистые склоны, кое-где прорезанные багровыми прожилками, всходы, рядами зеленых кружев поднимавшиеся на полях. Деревья купались в серебряно-белом солнечном свете, и даже самые невзрачные светились. Дети читали свои комиксы, а невестка уснула.

— Давай побыстрее проедем Джорджию, глаза б мои на нее не глядели, — сказал Джон Весли.

— Если б я была мальчиком, — сказала бабушка, — я не позволила бы себе так говорить о своем родном штате. Теннесси славен горами, а Джорджия — холмами.

— Теннесси — вонючая деревня, — сказал Джон Весли, — да и Джорджия — паршивый штат.

— Точно, — сказала Джун Стар.

— В мое время, — сказала бабушка, сплетая тонкие узловатые пальцы, — дети больше уважали и свой штат, и родителей, да и вообще все. Тогда люди жили как полагается. Нет, вы только поглядите, какой хорошенький. — И она показала на негритенка, стоящего на пороге

¹ Памятник южанам — участникам Гражданской войны 1861—1865 гг., высеченный в скале Стоун-Маунтин.

хижины.— Прямо хоть картинку с него пиши, верно? — сказала она, и все обернулись и поглядели через заднее стекло на мальчика. Он помахал им рукой.

— А на нем нет штанишек,— сказала Джун Стар.

— У него, наверное, вообще нет штанишек,— объяснила бабушка,— у деревенских негрят есть далеко не все, что есть у нас. Умей я рисовать, я бы его нарисовала,— сказала она.

Дети обменялись комиксами.

Бабушка предложила подержать ребенка, и невестка передала его через спинку сиденья. Бабушка качала ребенка на коленях и рассказывала ему про все, мимо чего они проезжали. Она закатывала глаза, вытягивала губы трубочкой и тыкалась худым морщинистым лицом в его безмятежную атласную мордашку. Иногда он одарял ее отрешенной улыбкой. Они проехали большое хлопковое поле, посреди которого островком выделялись пять или шесть могил, обнесенных оградой.

— Глядите,— сказала бабушка и показала на кладбище,— тут в прежние времена хоронили семью плантатора. При каждой плантации было свое фамильное кладбище.

— А где сама плантация? — спросил Джон Весли.

— Все «Унесено ветром», ха-ха,— сострила бабушка.

Дети прикончили комиксы, вынули коробку с завтраком и принялись за еду. Бабушка съела бутерброд с арахисовым маслом и оливку и не разрешила детям выкинуть коробку и бумажные салфетки на дорогу. Больше делать было нечего, и дети затеяли игру: один выбирает себе облако, другой угадывает, на что оно похоже. Джон Весли выбрал облако, похожее на корову, и Джун Стар отгадала, но Джон Весли сказал: нет, это автомобиль, а Джун Стар сказала, так не играют, и они подрались, обмениваясь тумаками перед бабушкиным носом.

Бабушка сказала, если они будут сидеть смирно, она им расскажет интересную историю. Рассказывая, она закатывала глаза, качала головой и представляла всех в лицах. Когда она еще была барышней на выданье, рассказывала бабушка, за ней ухаживал мистер Лоренс Оливер Пай из Джаспера, в Джорджии. Он был хорош собой, настоящий джентльмен, и каждую субботу преподносил ей арбуз и вырезал на нем ножом Л. О. ПАЙ. Ну так вот, как-то в субботу мистер Пай привез ей арбуз, но никого

дома не застал, положил арбуз на крыльцо, сел в свой шарабан и уехал к себе в Джаспер, но арбуз ей так и не достался, рассказывала бабушка, потому что один негр прочел надпись: ЛОПАЙ,— и слопал арбуз. Джона Весли рассказ насмешил, и он хохотал до упаду, но Джун Стар сочла, что ничего смешного тут нет. Она сказала, что никогда б не пошла за человека, который только и дарит что арбузы по субботам. И напрасно, сказала бабушка, потому что мистер Пай был настоящий джентльмен и к тому же он купил акции кока-колы, едва их выпустили на рынок, и умер несколько лет назад богачом.

Они остановились у «Башни» полакомиться поджаренными сандвичами. «Башня», частью оштукатуренное, частью дощатое строение, где помещались бензоколонка и танцевальный зал, стояла на прогалине, сразу по выезде из Тимоти. Хозяйничал в ней толстяк по прозвищу Рыжий Сэмми Баттс, и само здание, и шоссе на много миль в обе стороны пестрело плакатами: «Приезжайте отведать прославленной кухни Рыжего Сэмми», «Толстому Сэмми-весельчаку нет равных», «Сэмми-ветеран», «Наведайтесь к Рыжему Сэму — не пожалеете».

Когда они подъехали к «Башне», Рыжий Сэм лежал под грузовиком прямо на земле, а неподалеку от него верещала серая обезьянка не выше фута ростом, прикованная цепью к мыльному дереву. Дети выскочили из машины и рванулись к обезьянке, но она мигом прыгнула на дерево и взлетела на верхнюю ветку.

Войдя в «Башню», они оказались в длинном темном зале,— в одном его конце располагалась стойка, в другом — столы, а посередине еще оставалось место для танцев. Они уселись за дощатый стол поближе к музыкальному автомату, и жена Рыжего Сэма, долговязая и до того загорелая, что глаза и волосы ее были светлее кожи, тут же приняла у них заказ. Невестка опустила монетку, автомат заиграл «Теннесийский вальс», и бабушка сказала: «Едва услышу этот вальс, у меня ноги так и просятся танцевать». Она спросила Бейли, не хочется ли ему танцевать, но Бейли только пронзил ее взглядом. Он не унаследовал ее беспечного и жизнерадостного характера и в поездках всегда нервничал. Карие глаза бабушки блестяли. Она мотала головой из стороны в сторону и делала вид, будто танцует, не вставая со стула. Джун Стар ска-

зала: «Сыграйте такую музыку, под которую можно отбить чечетку». Невестка опустила еще одну монету в автомат, он заиграл что-то быстрое, и Джун Стар вышла из-за стола и отбила чечетку.

— Какая милашка,— сказала жена Рыжего Сэма, ложась грудью на стойку.— Пойдешь ко мне в дочки?

— Еще чего! — сказала Джун Стар.— Да я и за миллион в такой развалюхе жить не стану,— и побежала на свое место.

— Какая милашка,— повторила женщина, натянуто улыбаясь.

— И тебе не стыдно? — прошипела бабушка.

Тут вошел Рыжий Сэм и сказал жене, что хватит прохлаждаться, пора выполнять заказ. Брюки цвета хаки держались у него на бедрах, а под рубашкой, как куль с мукой, колыхалось брюхо. Он подошел к ним, уселся за ближний столик и испустил глубокий переливчатый вздох.

— Как ни крутись, все равно в дураках останешься,— сказал он и утер распаренное красное лицо грязным платком,— такие времена пошли, никому верить нельзя,— сказал он,— что, не правду я говорю?

— Да, вы правы, в прежние времена люди были куда приличнее,— сказала бабушка.

— Вот на прошлой неделе заявили ко мне два парня, подкатили на «крайслере». Машина старая, побитая, но дорогая, ну я им и поверил. Они сказали, что работают на лесопилке, и хотите верьте, хотите нет, а я отпустил им бензину в долг. Вот вы мне объясните, почему?

— Потому, что вы хороший человек,— не задумываясь, ответила бабушка.

— Да, мэм, не иначе, как поэтому,— сказал Рыжий Сэм, будто пораженный бабушкиным ответом.

Тут в зал вошла его жена: она несла пять тарелок без подноса разом — по две в каждой руке и одну на согнутом локте.

— На всем белом свете никому нельзя верить,— сказала она.— Ни одной живой душе, ну, ни единой,— повторила она и метнула взгляд на Рыжего Сэма.

— А вы читали про этого преступника, про Изгоя, который убежал из тюрьмы? — спросила бабушка.

— Он к нам как пить дать пожалует. Прослышит про нас — и пожалует,— сказала жена Сэма.— Прослышит, где хоть два цента в кассе есть, и как пить дать...

— Хватит,— сказал Рыжий Сэм,— иди принеси гостям кока-колу.— И женщина ушла.

— Хорошего человека найти не легко,— сказал Рыжий Сэм.— Жизнь пошла хуже некуда. А ведь я еще помню времена, когда можно было уйти из дому и даже дверь не запирать. Не то, что теперь.

Рыжий Сэм и бабушка потолковали о прежних временах. Старушка сказала что, по ее мнению, во всем виновата Европа: в Европе, наверное, думают, у нас денег куры не клюют. Рыжий Сэм сказал, что верно, то верно. Дети выбежали из «Башни» на белый слепящий солнечный свет и стали смотреть на обезьянку, затаившуюся в кружеве мыльного дерева. Обезьянка сосредоточенно вылавливала блох и каждую аккуратно раскусывала, словно деликатес.

Палящим полднем они снова двинулись в путь. Бабушка клевала носом и чуть не каждую минуту просыпалась от собственного храпа. По-настоящему она проснулась уже за Тумсборо и вдруг вспомнила, что здесь по соседству есть старая плантация, куда она приезжала как-то раз еще до своего замужества. Она сказала, что по фасаду дома шли шесть белых колонн, и вела к нему дубовая аллея, и по бокам ее стояли две увитые плющом беседки, где можно было отдохнуть, когда нагуляешься по саду с кавалером. Она ясно помнила, куда надо свернуть, чтобы проехать к плантации. Она знала, что Бейли будет жалко тратить время на какой-то старый дом, но чем больше она говорила про дом, тем больше ей хотелось снова увидеть его и проверить, сохранились ли те беседки. «И еще там есть тайник,— схитрила бабушка: она лгала, но ей очень хотелось, чтобы это была правда.— Я слышала, что, когда здесь проходила армия Шермана, фамильное серебро спрятали в тайник, а потом так и не отыскали...»

— Ой, ой! — закричал Джон Весли,— поедem туда, поглядим! Найдем клад! Простучим все доски и обязательно найдем! Кто там живет? Куда надо сворачивать? Эй, пап, можно, мы туда свернем?

— Мы в жизни не видели дома с тайником,— вмешалась Джун Стар.— Поедем к этому дому, посмотрим на него! Эй, пап, можно посмотреть на этот дом?

— Он отсюда недалеко,— сказала бабушка,— минут двадцать езды, не больше.

Бейли смотрел прямо перед собой. Челюсть у него выступила вперед подковой.

— Нет,— отрезал он.

Дети вопили и визжали: вынь да положь им дом с тайником. Джон Весли лягал ногами переднее сиденье, а Джун Стар повисла над матерью и надсадно ныла ей в ухо, что ничего хорошего они никогда не видят, даже на каникулах, и ничего никогда не бывает по-ихнему. Тут разревелся младенец, и Джон Весли так лягнул сиденье, что удар отозвался у отца в почках.

— Ладно! — крикнул Бейли, свернул к обочине и остановил машину.— Замолчите вы или нет? Если вы не помолчите хоть минуту, мы вообще никуда не поедем.

— Такая поездка будет очень полезной для их развития,— вставила бабушка.

— Ладно,— сказал Бейли,— но учтите, я делаю крюк один раз. И это будет первый и последний раз.

— Та грунтовая дорога, на которую надо свернуть, примерно в миле отсюда,— объяснила бабушка.— Я заметила, когда мы проезжали.

— Грунтовая! — простонал Бейли.

Пока они разворачивались и ехали назад, бабушка успела припомнить еще много интересного про дом — оказывается, там было красивое цветное окно над входом, а в зале люстра на много свечей. Джон Весли сказал, что тайник наверняка в камине.

— В дом войти нельзя,— сказал Бейли,— неизвестно, кто там живет.

— Вы останетесь на пороге — заговаривать зубы хозяевам, а я обегу дом и влезу в окно,— нашелся Джон Весли.

— Никто не выйдет из машины,— сказала его мать.

Они свернули, и машина, вздымая клубы красной пыли, запрыгала по грунтовой дороге. Бабушка вспомнила, как в прежние времена, когда мощеных дорог еще не было, за день еле-еле проезжали тридцать миль. Дорога шла по бугристой местности, на ней то и дело попадались водомоины, а на крутых насыпях она внезапно поворачивала. Они то взлетали на бугор, и на много миль под ними простирались голубые верхушки деревьев, то свержались в красную котловину — и пропыленные деревья возвышались над ними.

— Если усадьба сейчас не покажется,— сказал Бейли,— я поворачиваю.

Видно было, что по дороге давным-давно никто не ездит.

— Тут уже близко,— сказала бабушка, и не успела она закончить фразу, как ее пронзила страшная мысль. Мысль эта ее так обескуражила, что кровь хлынула старушке в лицо, глаза расширились, а ноги, непроизвольно подскочив, толкнули саквояж. Саквояж упал, газета, прикрывавшая корзинку, с рыком поднялась, и кот Питти Синг вспрыгнул к Бейли на плечо.

Детей бросило на пол, невестку, прижимавшую к груди младенца, через дверцу выбросило на землю, бабушку швырнуло на переднее сиденье. Машина перевернулась и рухнула под откос. Бейли усидел на месте, и шею ему гусеницей обвил кот — серый, с круглой белой мордой и оранжевым носом.

Едва дети убедились, что руки-ноги у них целы, как они выскочили из машины с воплем: «Авария! У нас авария!» Бабушка, скорчившаяся под приборным щитком, мечтала оказаться раненой: тогда Бейли не сможет обрушить на нее свой гнев. А страшная мысль, что пришла ей в голову перед аварией, была вот такая: дом, который она так живо помнила, находился не в Джорджии, а в Теннесси.

Бейли обеими руками оторвал от себя кота и шваркнул его о дерево. Потом вылез из машины и искал глазами жену. Она сидела, привалившись спиной к склону красного, вымытого дождями овражка, и прижимала к груди разрывающегося от крика младенца. Плечо у нее было сломано, по лицу тянулся глубокий порез, но в остальном все было в порядке. «А у нас авария!» — захлебывались от восторга дети.

— Только никого не убило,— разочарованно протянула Джун Стар, когда увидела, что бабушка выкарабкалась из автомобиля и, прихрамывая, отошла от него. Шляпку удержала на ее голове булавка, но поломанные поля встали дыбом и букетик фиалок повис над ухом. Бейли и бабушка тоже спустились в овражек — посидеть, прийти в себя. Всех била дрожь.

— Может, кто-нибудь проедет мимо,— хрипло сказала невестка.

— Я чувствую, я себе что-то повредила,— сказала бабушка, прижимая рукой бок, но никто не отозвался. У Бейли стучали зубы. Он был в желтой рубашке навыпуск, по которой прыгали ядовито-синие попугаи, и лицо его было

едва ли не желтее рубашки. Бабушка решила не говорить им, что тот дом в Теннесси.

Дорога шла футах в десяти над ними, так что они видели лишь верхушки деревьев по ту ее сторону. Прямо за овражком тоже стоял лес, черный, высокий, непроглядный. Через несколько минут на дальнем холме показался автомобиль, он приближался так медленно, словно те, кто в нем сидел, рассматривали их. Бабушка встала и отчаянно замахала руками, чтобы привлечь к себе внимание. Машина так же медленно скрылась за поворотом, показалась снова и еще медленнее поднялась на холм, с которого они свалились. Машина была черная, выдавшая виды, и напоминала катафалк. В ней сидели трое мужчин.

Машина затормозила прямо у них над головой, водитель уперся в них твердым непроницаемым взглядом и молча смотрел так несколько минут. Потом обернулся к своим спутникам, сказал что-то вполголоса и те вылезли из машины. Первым вылез жирный парень в черных брюках и красной футболке, по груди которой скакал серебряный жеребец. Парень зашел справа и остановился, распутив рот в глуповатой ухмылке. Второй был в армейских штанах и синем полосатом пиджаке, надвинутая на лоб серая шляпа закрывала его лицо. Он неспеша зашел справа. Оба молчали.

Водитель вылез из машины и остановился, по-прежнему не сводя с них глаз. Этот был постарше. Волосы его уже тронула седина, очки в серебряной оправе придавали ему ученый вид. Его длинное лицо прорезали глубокие морщины, и ни рубашки, ни майки на нем не было. Он был одет в тесные джинсы и в руках держал черную шляпу и револьвер. Парни тоже были вооружены.

— А у нас авария! — заорали дети.

Бабушку не покидало странное ощущение, что она знает человека в очках. Лицо его казалось ей таким знакомым, будто она знала его всю жизнь, только не могла припомнить, кто он. Он отошел от машины и стал спускаться под откос, осторожно ступая, чтобы не оскользнуться. Обут он был в коричневые с белым туфли, из которых торчали толстые красные лодыжки, и носков на нем не было.

— Добрый день, — сказал он. — Вижу, вы перевернулись.

— Целых два раза! — сказала бабушка.

— Разок, — поправил он, — мы видали. Загляни в ма-

шину, Хайрам, погляди, исправна она или нет,— сказал он тихо парню в серой шляпе.

— Зачем вам револьвер? — спросил Джон Весли. — Что вы с ним будете делать?

— Дамочка,— сказал старший невестке,— поκληчьте ребятишек, велите им рядышком с вами сесть. А то они мне на психику действуют. Все, все рядком, вон там, где и сидите.

— Чего это вы нам указываете, что нам делать? — спросила Джун Стар.

Позади черной пастью зияли леса.

— Подите сюда,— сказала невестка.

— Послушайте,— вдруг сказал Бейли.— С нами случилась беда. С нами...

И тут бабушка вскрикнула. Она вскочила и вперилась в старшего взглядом.

— Вы Изгой,— сказала она,— я вас сразу узнала.

— Да, мамаша,— сказал старший, чуть улыбаясь: видно было, что известность, невзирая ни на что, радует его,— только лучше вам было б не узнавать меня, для вас для всех же лучше.

Бейли резко обернулся и так обругал старушку, что даже дети смутились. Она расплакалась, а Изгой покраснел.

— Мамаша,— сказал он,— не горюйте. С мужчинами бывает: иной раз они сказанут такое, чего и не думают. Он небось не хотел вас так обзывать.

— Вы ведь не станете убивать даму, правда? — сказала бабушка, вытащила из-за манжеты чистый платочек и промокнула глаза.

Изгой уперся носком в землю, выковырял ямку, потом засыпал ее.

— Не хотелось бы.

— Послушайте,— чуть не кричала бабушка,— я знаю, вы хороший человек, сразу видно, что вы не из простых. Я знаю, вы из приличной семьи.

— Да,— сказал он,— приличней не бывает,— и оскалил в улыбке крепкие белые зубы.— Лучше моей матери не рождалось на свет женщины, а уж отец и вовсе золотой был человек,— сказал он. Парень в красной футболке встал за ними и прижал револьвер к бедру. Изгой присел на корточки.— Пригляди за ребятишками, Бобби Ли,— сказал он,— ты же знаешь, они мне на психику действуют,— и об-

вел взглядом сбившуюся в кучку шестерку. На лице его было написано смущение, словно он растерялся и не знает, что бы им сказать.— Небо-то какое, ни облачка,— заметил он, поднимая глаза.— Солнце, правда, спряталось, зато и облаков не видать.

— Да, прекрасная погода! — сказала бабушка.— Послушайте,— сказала она.— Вы себя напрасно Изгоем назвали, потому что в душе вы хороший человек. Я как вас увидела, так сразу поняла.

— Тихе! — гаркнул Бейли.— Всем молчать и не вмешиваться.— Он сидел на корточках, как бегун перед стартом, но не двигался с места.

— Спасибо на добром слове, мамаша,— сказал Изгой и рукояткой револьвера нарисовал на земле кружок.

— Я их телегу за полчаса в порядок приведу,— сказал Хайрам из-за поднятого капота.

— Вот и ладно, только сперва вы с Бобби Ли возьмите его и парнишку ихнего,— сказал Изгой, указывая на Бейли и Джона Весли,— и сведите в тот лесок. У ребят просьба к вам,— сказал он Бейли.— Не откажите прогуляться с ними в лесок, а?

— Послушайте,— сказал Бейли.— Мы попали в страшную беду. Вы все ничего не понимаете.— Голос его сорвался. Глаза были такими же пронзительно-синими, как поугай на рубашке, и он не трогался с места.

Бабушка поднесла руку к шляпе — опустить поля, будто собиралась на прогулку с сыном, но соломка осталась у нее в руке. Она минуту смотрела на нее, потом уронила на землю. Хайрам поддержал Бейли за локоть, казалось, он помогает подняться немощному старику. Джон Весли ухватил отца за руку. Бобби Ли замыкал шествие. Так они дошли до темной опушки, и тут Бейли оглянулся, вцепился в голый серый ствол сосны и крикнул: «Мама, я сейчас вернусь. Жди меня».

— Возвращайся сию минуту! — крикнула бабушка, но мужчины уже скрылись в лесу.

— Бейли, сынок,— скорбно позвала бабушка, при этом она не отрываясь смотрела на Изгоя; тот по-прежнему сидел перед ней на корточках.— Я чувствую, что вы хороший человек,— сказала она, чуть не плача.— Вы не из простых.

— Нет, мамаша, нехороший я человек,— повременив, будто он обдумывал ее слова, ответил Изгой,— но и хуже

меня люди бывают. Отец мой говорил: ты, видно, другого помета, чем твои братья и сестры. А разница та, говорил отец, что одни всю жизнь проживут и не подумают зачем, а другим всенепременно надо знать, что да почему, и малец этот из таковских. Он всюду встревать будет.— Изгой надел черную шляпу, поднял на бабушку глаза, потом отвел их в глубь леса, словно его снова что-то смутило.— Извините, что я при вас без рубашки, дамочки,— сказал он, чуть ссутулясь,— только мы одежду, в которой удрали-то, зарыли, ну и пробавляемся, пока чего получше не подберем. Эту вот, что на нас, у встречных заняли,— объяснил он.

— Не беспокойтесь,— сказала бабушка,— у Бейли должна быть запасная рубашка.

— Там разберемся,— сказал Изгой.

— Куда они его повели? — закричала невестка.

— Отец мой тоже был парень не промах,— сказал Изгой.— Но с властями умел ладить, у него все было шито-крыто.

— И вы бы могли стать честным человеком, если б только постарались,— сказала бабушка.— Вы только подумайте, как хорошо остепениться, зажить спокойно, не бояться, что за тобой гонятся по пятам.

Изгой все ковырял землю рукояткой револьвера; казалось, он обдумывает бабушкины слова.

— Да, это вы точно сказали, мамаша, уж кто-нибудь да обязательно за тобой гонится,— тихо сказал он.

И тут бабушка — она смотрела на него сверху — заметила, какие тощие у него лопатки.

— Вы когда-нибудь молитесь? — спросила она.

Он покачал головой. Но бабушка увидела только, как заколыхалась черная шляпа над лопатками.

— Нет, мамаша,— сказал он.

В лесу раздался выстрел, за ним второй. И снова наступила тишина. Старушка судорожно обернулась. Было слышно, как по верхушкам деревьев долгим довольным вздохом прошелестел ветер.

— Бейли, сынок! — позвала она.

— Я ведь когда-то по дорогам ходил, псалмы распевал,— говорил Изгой,— чего только я не перепробовал в жизни. В армии служил, на суше и на море, здесь и за границей, женат был два раза, и в похоронном бюро, и на железной дороге работал, матушку-землю пахал, как-то

в смерч попал, раз видал, как человека живьем сожгли,— и он поглядел на невестку и девочку: они прижались друг к другу, и лица у них были белые, а глаза остекленели,— а раз видал даже, как женщину засекли насмерть,— сказал он.

— Молитесь и молитесь,— начала бабушка,— молитесь и молитесь.

— Плохим я в детстве не был, не помню такого,— продолжал Изгой чуть не баюкающим голосом,— но разок я остутился и засадили меня в тюрьму, и похоронили заживо.— Он поднял глаза и уставился на бабушку, не давая ей отвести взгляд.

— Вот вы бы тогда и начали молиться,— сказала она.— За что вы в первый раз попали в тюрьму?

— Направо взгляни — перед тобой стена,— сказал Изгой и снова поднял глаза к безоблачному небу,— налево взгляни — тоже стена. Наверх взгляни — потолок, вниз взгляни — пол. Забыл я уже, мамаша, что я сделал. Я уж там сидел-сидел, вспоминал-вспоминал, что я сделал, и так до сих пор и не вспомнил. Иной раз померещится — вот-вот вспомню, да нет, куда там.

— А может быть, вас по ошибке посадили,— нерешительно сказала бабушка.

— Нет, мамаша,— сказал Изгой,— не могло тут быть ошибки. У них бумага на меня была.

— Вы, наверное, что-нибудь украли,— сказала бабушка.

Изгой криво ухмыльнулся:

— Ни у кого такого не было, на что б я позарился,— сказал он.— Мне доктор, какой психов лечит, говорил, будто меня за то посадили, что я отца убил, только врал он. Отец мой еще в девятьсот девятнадцатом помер от испанки, и я к тому касательства не имел. И схоронили его в Маунт-Хопвеле, на кладбище баптистском, можете туда поехать — своими глазами на могилку поглядеть.

— Если б вы молились,— сказала старушка,— Иисус бы вас спас.

— Так-то оно так,— сказал Изгой.

— Тогда почему же вы не молитесь? — спросила бабушка, и ее вдруг заколотила дрожь восторга.

— А меня спасать нечего,— сказал он,— только я сам себя спасти могу.

Бобби Ли и Хайрам вышли из лесу и побрели к ним.

Бобби Ли волочил за собой желтую рубашку в ядовитосиних попугаях.

— Кинь мне рубашку эту, Бобби Ли,— сказал Изгой. Рубашка взлетела, опустилась ему на плечо, и он натянул ее. Бабушка не смогла бы объяснить, что напоминает ей эта рубашка.— Нет, мамаша,— сказал Изгой, застегивая рубашку,— я так понимаю, что не в злодействе суть. Чего ни сделаешь, убьешь ли человека, колесо ли с машины снимешь — все равно забудешь потом, что ты сделал, а наказание так и так понесешь.

Невестка широко открывала рот, словно ей не хватало воздуха.

— Дамочка,— попросил Изгой,— пройдитеесь в лесок с девчоночкой вашей. Бобби Ли и Хайрам вас к мужу проведут.

— Спасибо,— сказала невестка еле слышно. Левая рука ее висела плетью, и уснувшего младенца она держала правой.

— Подсоби дамочке подняться, Хайрам,— сказал Изгой, видя, с каким трудом невестка поднимается по откосу.— А ты, Бобби Ли, возьми за руку девчоночку.

— Вот еще, не хочу я держаться с ним за руки,— сказала Джун Стар,— он на свинью похож.

Толстый парень побагровел, засмеялся, схватил Джун Стар за руку и потащил вслед за Хайрамом и невесткой в лес.

Оставшись с Изгоем наедине, бабушка обнаружила, что ей отказал голос. В небе не было ни облачка, но и солнца не было. Вокруг чернел лес. Бабушка хотела сказать Изгою, чтоб он молился. Она открывала и закрывала рот, но не могла произнести ни звука. И наконец: «Господи Иисусе, господи Иисусе»,— услышала она свой голос, она хотела сказать: «Господи Иисусе, спаси его»,— но произнесла это так, будто поминала имя божье всуе.

— Да, мамаша,— сказал Изгой, словно соглашаясь с ней.— Иисус все перевернул вверх тормашками. Прямо как я. Разница только, что он зла не делал, а я делал, это они доказали, потому как у них бумага на меня была, хотя бумагу ту,— сказал он,— мне и не показывали. Так что теперь я везде подпись свою ставлю. Я тогда еще решил: завести подпись, и все, что ни сделал, записывать, и делам своим учет вести. Чтоб знать, что ты сделал, и сравнить злодейство свое с наказанием, тебе назначенным, и посмот-

реть, по злодейству ли наказание. Тогда на Страшном суде доказать можно, что обошлись с тобой несправедливо. Я себя Изгоем потому назвал,— сказал он,— что совсем один остался и так и не пойму, по справедливости я от людей терпел или нет.

Из лесу послышался отчаянный вопль, за ним выстрел.

— А вы как считаете, мамаша, по справедливости это, когда одного наказывают — меры не знают, а другого вообще не наказывают.

— Господи Иисусе! — закричала бабушка. — Вы же из хорошей семьи. Я знаю, у вас рука не поднимется на даму. Я знаю, вы не из простых! Молитесь! Господи, не станете же вы стрелять в даму. Я отдам вам все деньги!

— Мамаша! — сказал Изгой, глядя мимо нее в лес. — Слыханное ли дело, чтоб покойник давал на чай гробовщику.

Раздались еще два выстрела, и бабушка вытянула шею — как индюшка, которая томится жаждой, — и закричала: «Бейли, сынок!» — так, словно у нее разрывалось сердце.

— Только Иисус мог воскрешать мертвых, — продолжал Изгой, — да и он зря это затеял. Он все перевернул вверх тормашками. Если так было, как он говорит, тогда ничего не остается, как все бросить и идти за ним, а если не так, тогда те считанные часы, что тебе жить предназначено, надо получше провести — убивать, дома жечь или другие паскудства делать. Слаще паскудства ничего нет, — почти прорычал он. — Только и есть счастья в жизни.

— А может быть, он и не воскрешал мертвых. — Старушка сама не сознавала, что говорит; голова у нее закружилась, колени подогнулись, она села наземь.

— Меня там не было, когда он людей воскрешал, так что зря говорить не стану, — сказал Изгой, — а хотелось бы мне там быть, — сказал он и стукнул кулаком по земле. — По справедливости должен был я там быть, уж тогда б я знал наверняка, воскрешал он мертвых или нет. Слышь, мамаша, — чуть не визжал он, — будь я там, я б все вызнал наверняка и, может, совсем другим человеком бы стал. — Казалось, голос его вот-вот сорвется, и тут бабушку озарило. Она увидела его перекошенное лицо рядом со своим, и ей показалось, что он сейчас заплачет. «Ты ведь мне сын, — забормотала бабушка. — Ты один из детей моих». Она протянула к нему руку и коснулась его плеча. Изгой

отскочил, словно его ужалила змея, и всадил бабушке в грудь три пули. Потом положил револьвер на землю, снял очки и стал протирать стекла.

Хайрам и Бобби Ли вернулись из лесу и остановились на краю овражка поглядеть на бабушку — она не то сидела, не то лежала в луже крови, по-детски поджав ноги, и улыбалась безоблачному небу.

Без очков глаза Изгой — воспаленные и водянистые — казались незащитными.

— Забери ее и брось туда же, куда и других, — сказал он и подхватил на руки кота, который терся об его ногу.

— Болтливая старушка была, — сказал Бобби Ли и с гиком прыгнул в овражек.

— Хорошая была бы женщина, если б в нее каждый день стрелять, — сказал Изгой.

— Тоже мне удовольствие, — сказал Бобби Ли.

— Заткнись, Бобби Ли, — сказал Изгой. — Нет в жизни счастья.



Всего у миссис Фримен было три выражения лица: наедине с собой — неопределенное, на людях — сопутствующее либо застопоренное. Обычно глаза ее упорно и неуклонно следовали за оборотом разговора, вдоль его осевой линии, как фары тяжелого грузовика. Застопоренное выражение появлялось редко, разве что ее напрямик заставляли брать слова назад, — и тогда лицо ее застывало, темные глаза едва заметно тускнели и миссис Фримен словно оборачивалась штабелем мешков с зерном: стоять стоит, а все равно что неживая. И ничего ей не втолкуешь, как ни старайся; да миссис Хоупвел и не старалась. Любые слова как об стену горюх. Кто-кто, а уж миссис Фримен прямо-таки

ни в чем не могла ошибиться. Она стояла на своем, и в самом лучшем случае из нее можно было вытянуть, что «оно, может, и так, если не эдак»; или же она приглядывалась к выставке пыльных бутылей наверху буфета и замечала: «Инжиру-то ишь летом наготовили, а все без толку».

Самые важные дела решались на кухне за завтраком. Поутру миссис Хоупвел вставала в семь и включала отопление у себя и у Анжелы. Анжелой звали ее дочку, ширококостую блондинку с протезом вместо ноги. Ей было тридцать два года, и она кончила университет, но миссис Хоупвел все считала ее ребенком. Пока мать завтракала, Анжела вставала, ковыляла в ванную и хлопала дверь, а вскоре с черного хода являлась и миссис Фримен. Анжела слышала, как мать приглашает: «Да проходите же»; потом разговор шел вполголоса, из ванной не разобрать. К появлению Анжелы о погоде уже было переговорено, и обсуждались дочери миссис Фримен — Глайниз и Каррамэй. Анжела называла их Глицерина и Карамеля. Рыженькой Глайниз было восемнадцать, и женихи за ней ходили толпами; белобрысая Каррамэй в свои пятнадцать была уже замужем и ждала ребенка. Миссис Фримен каждое утро докладывала, сколько раз ее дочку вытошнило. Что ни съест, все выдает обратно.

Миссис Хоупвел любила всем рассказывать, какие Глайниз и Каррамэй прелестные девушки, а уж миссис Фримен — настоящая дама, и краснеть за нее нигде и ни перед кем не приходится. Потом сообщалось, как она в свое время случайно наняла Фрименов, а они ей ниспосланы свыше — бывают же подарки судьбы! — и живут у нее вот уже четыре года. Срок нешуточный, а все потому, что не какое-нибудь отребье. Люди надежные. Она позвонила прежнему нанимателю насчет рекомендации: тот сказал, что мистер Фримен работать может, но жена у него — не приведи господь. «Во всякой бочке затычка, всюду лезет, — сказал он. — Если не успеет, пока пыль не улеглась, считайте, что ее и в живых нету. Дневать и ночевать будет в ваших делах. Сам-то он ничего, — сказал он, — но супругу его что я, что жена и минутой бы дольше не вытерпели». Так что миссис Хоупвел несколько дней помедлила.

В конце концов она их все-таки наняла, потому что выбора не было, но заранее в точности определила, как с миссис Фримен обходиться. Раз уж ей такая охота всюду лезть,

ладно, решила миссис Хоупвел, пусть себе всюду лезет, даже и присмотрим, чтоб она чего не упустила — пусть за все отвечает, пусть будет ко всему приставлена. У самой миссис Хоупвел недостатков не было; зато она умела так распорядиться чужими, что все выходило как нельзя лучше. Словом, Фримены были наняты и работали у нее пятый год.

Одно хорошо, другое плохо. Это было первое излюбленное присловье миссис Хоупвел. Второе гласило: такова жизнь! Было и еще одно, самое важное: что ж, сколько людей, столько мнений. Эти суждения она обычно высказывала за столом, мягко и убедительно, как бы делясь сокровенными мыслями; и грузная, нескладная Анжела, на лице которой постоянная озлобленность заслоняла все прочие выражения, чуть скашивала льдисто-голубые глаза с таким видом, будто ослепла усилием воли и прозревать не намерена.

Когда миссис Хоупвел говорила миссис Фримен, что такова жизнь, та отвечала: «А я что говорю». Что ни возьми, она все сама знала. Куда было до нее мистеру Фримену. Когда миссис Фримен с мужем только еще обживались на новом месте, миссис Хоупвел раз как-то сказала ей: «Ну, вы у нас все насквозь видите», — и подмигнула. Миссис Фримен отвечала: «А что. Я вообще догадливая. Это кому как дается».

— Каждому свое, — говорила миссис Хоупвел.

— Да почти что так, — говорила миссис Фримен.

— На нас свет клином не сошелся.

— А я что говорю.

Дочь привыкла, что такими разговорами приправляются все завтраки, тем более обеды, а бывало, что и ужины. Без гостей ели в кухне, на скорую руку. Миссис Фримен всегда ухитрялась застать их с ложкой у рта, и доедать приходилось при ней. Летом она выстаивала в дверях, а зимой облокачивалась на холодильник и смотрела сверху вниз или пристраивалась к газовому радиатору, подобрав сзади юбку. Иной раз она прислонялась к стене и водила головой из стороны в сторону. Уходить она не торопилась. Миссис Хоупвел это порядком раздражало, но терпения ей было не занимать. Она знала, что одно хорошо, другое плохо и что зато ее Фримены — люди надежные, а уж если по нашим временам заполучишь надежных людей, то и держись за них.

Со всяким отребьем она вдоволь намучилась. До Фрименов арендаторы у нее больше года не жили. Не таковы у них были жены, чтоб долго терпеть их бок о бок. С мужем миссис Хоупвел давно развелась, а обходить поля надо хотя бы вдвоем; приходилось кое-как уламывать Анжелу, и та отпускала грубости, строила кислые мины, и миссис Хоупвел наконец говорила ей: «Не можешь вести себя по-человечески, так и без тебя обойдусь»,— а на это дочка становилась столбом и, угрюмо набычившись, отвечала: «Уж какая есть — не нравится, не надо».

Миссис Хоупвел не винила ее: ногу ведь тоже не вернешь (а ногу случайно отстрелили на охоте, когда Анжеле было десять лет). Как-то у нее не укладывалось в голове, что девочке ее тридцать два и что она больше двадцати лет так и прожила с одной ногой. Лучше было считать ее ребенком, а то просто сердце разрывалось; ведь это ж подумать, что ей за тридцать, всякую фигуру потеряла, а до сих пор ни разу в жизни не потанцевала и не повеселилась *нормально*, как положено девушке. Звали ее Анжела, но в двадцать один год она законным порядком переменяла имя, благо была в чужих местах. Миссис Хоупвел ничуть не сомневалась, что она долго подыскивала себе самое дурацкое имя на свете. Слова матери не сказала, уехала и переменяла; а какое было чуждое имя — Анжела. Теперь по документам она была Хулга.

Миссис Хоупвел считала, что «Хулга» — вообще не имя, а какая-то несуразная ерунда: не то холка, не то втулка. Она дочь так не называла. Она по-прежнему говорила «Анжела», и та машинально откликнулась.

Хулга притерпелась к миссис Фримен: по крайней мере не нужно теперь разгуливать с матерью. Даже беседы о Глайниз и Каррамэй можно снести, лишь бы ее не трогали. Сперва она думала, что нипочем не уживется с миссис Фримен, раз ее не возьмешь никакой грубостью. Иногда миссис Фримен мрачнела и несколько дней подряд ходила надутая непонятно из-за чего; но прямые нападки, явная издевка, грубости в лицо — это ей все было как с гуся вода. В один прекрасный день она вдруг стала звать ее Хулгой.

При миссис Хоупвел она ее так не называла — та бы вспылала,— но если ей случалось встретить девушку где-нибудь во дворе, она тут же обращалась к ней, прибавляя: «Хулга»,— и грузная, очкастая Анжела-Хулга хмурилась и краснела, словно ей в душу лезут. Кому какое дело

до ее заветного имени. Сначала она облюбовала его только за грубость, а потом ее осенило: это же то самое, что ей нужно. Для нее имя звучало гулко, как удар молота в небесной кузне, где трудится потный, грубый Вулкан и куда по первому зову спешит его супруга Венера. Это имя было ее высшим жизненным свершением. Она несказанно торжествовала, что матери не удалось вылепить из нее ангелочка-Анжелу, и торжествовала еще больше, что сумела превратить себя в Хулгу. Однако оттого, что имя пришлось по вкусу и миссис Фримен, она только злилась. Казалось, будто колкие глазки миссис Фримен так и буравили ее, добираясь до самого сокровенного. Чем-то она привлекала миссис Фримен; и однажды Хулга поняла, что ту притягивает ее искусственная нога. Миссис Фримен особенно интересовали всякие гнусные хвори, скрытые уродства, растление малолетних. Из болезней она предпочитала затяжные и безнадежные. Миссис Хоупвел не раз при Хулге рассказывала в подробностях о той злосчастной охоте — как ногу оторвало напрочь, а девочка даже сознания не потеряла. Миссис Фримен никогда не уставала про это слушать, словно дело было час назад.

Проковыляв утром на кухню (необязательно ведь так ужасно топать, а топала она назло, за это миссис Хоупвел поручилась бы), Хулга молча оглядывала их. Миссис Хоупвел — в красном кимоно, волосы накручены на тряпочки — доедала завтрак, а миссис Фримен, облокотясь на холодильник, нависала над столом. Хулга ставила на огонь кастрюльку с яйцами и стояла у плиты, скрестив руки, и занятая разговором миссис Хоупвел посматривала на нее краем глаза и думала, что девочка просто себя запустила, а так-то она вовсе и недурна собой. Лицо как лицо: к нему еще приятное выражение, так и совсем бы ничего. Миссис Хоупвел любила говорить, что иной, может, красотой и не блещет, но если умеет видеть в жизни хорошее, то и сам хорошеет.

Посматривая так на Анжелу, она каждый раз огорчалась, что девочке взбрело на ум стать доктором философии. Проку ей от этого никакого не было, а теперь со степенью в университете уже делать нечего. Миссис Хоупвел считала, что затем девушкам и стоит учиться, чтобы покрутиться среди сверстников, но Анжела «доучилась до точки». А начинать все заново у нее сил бы не хватило. Доктора сказали миссис Хоупвел, что даже при самом за-

ботливом уходе Анжела едва ли доживет до сорока пяти. У нее был органический порок сердца. Анжела говорила прямо, что, будь она поздоровее, она бы недолго любовалась на красноземные пригорки и простых надежных людей. А уехала бы читать лекции в каком-нибудь университете, где бы ее слушали люди с понятием. И миссис Хоупвел прекрасно представляла, как бы она вырядилась огородным пугалом и собрала себе очень подходящих слушателей. Она и тут-то разгуливала в заношенной юбке и желтом свитере с вылинявшим ковбоем. Она думала, что это забавно; а ничего забавного, просто глупо, не вышла из детского возраста — и все тут. Ума хоть отбавляй, а соображения ни на грош. Миссис Хоупвел казалось, что дочка год от году все больше пыжится, грубит, заносится, ставит себя от всех особняком, того и гляди, вообще вид человеческий потеряет. А что за несусветицу она несла! Ни с того, ни с сего вскочила раз посреди еды, красная, с набитым ртом, и огорошила собственную мать: «Ты! Да ты загляни внутрь себя! Загляни внутрь себя и *ничего* не увидишь! Господи! — вскрикнула она, тяжело опустилась на стул и уставилась в тарелку. — Мальбранш как в воду глядел: в нас и есть наш предел! В нас и есть наш предел!» Миссис Хоупвел так и не поняла, чего это она так расхотелась. Она только заметила, в надежде хоть как-то повлиять на Анжелу, что иной раз и улыбнуться не мешает.

Философская степень дочери ставила миссис Хоупвел в полный тупик. Можно сказать: «Моя дочь медсестра», или «Моя дочь учительница», или даже: «Моя дочь инженер-химик». Но кому скажешь: «Моя дочь философ». Философией занимались в древности разные там греки-римляне. Анжела с утра усаживалась в глубокое кресло и весь день читала. Иногда она выходила погулять, но не жаловалась ни собак, ни кошек, ни птичек, ни цветы, ни природе, ни достойных молодых людей. На достойных молодых людей она глядела так, словно их глупость била ей в нос.

Однажды миссис Хоупвел подвернулась книга, которую дочка только что отложила; раскрыв наудачу, она прочла: «Наука, с другой стороны, призвана вновь и вновь отстаивать свою исконную трезвость и основательность, утверждая, что имеет дело лишь с данностью. Как же задано Ничто в мире науки? Оно задано как кошмар или фантазм. Всякая точная наука уточняет одно: что Ничто для нее не существует. Именно таково Ничто в строгом научном

подходе. И мы верим науке и ничего не желаем знать про Ничто». Эти слова были подчеркнуты синим карандашом, и миссис Хоупвел они показались какими-то зловещими тарабарскими заклинаниями. Она поскорее захлопнула книгу и вышла из комнаты, поеживаясь, будто ее прохватило сквозняком.

В это утро Анжела вошла посреди разговора о Каррамэй.

— После ужина четыре раза вытошнило, — проговорила миссис Фримен, — и под утро два раза вскакивала. А вчера весь день в комодке рылась. Дел других нет. Торчит перед зеркалом и прикидывает, что на нее еще лезет.

— Надо, чтоб она ела, — заметила миссис Хоупвел, потягивая кофе и глядя в спину Анжелы, стоявшей у плиты. Любопытно, о чем девочка толковала вчера с продавцом Библий; удивительное дело, как это ему удалось разговаривать с ней.

Накануне к ним забрел долговязый тощий парень, предлагал купить Библию. Он показался в дверях с большим черным чемоданом, тяжело кренившимся его набок, и прислонился к косяку. Устал он, видимо, до полусмерти, однако весело воскликнул: «Доброе утро, миссис Кедрач!» — и опустил чемодан на коврик. Симпатичный паренек; костюм, правда, небесного цвета, а желтые носки совсем сползли; вдобавок и без шляпы. На лице его выдавались скулы, темно-русая прядь прилипла ко лбу.

— Моя фамилия Хоупвел, — сказала она.

— Ну! — воскликнул он как бы озадаченно, хотя глаза его поблескивали. — А я гляжу, на почтовом ящике написано «Кедрач», так я и подумал, что вы миссис Кедрач! — Он радостно рассмеялся, с пыхтеньем подхватил ношу и как-то невзначай оказался в передней. Словно чемодан ввалился сам собой и рывком затащил хозяина. — Так вы, значит, миссис Хоупвел! — сказал он, стиснув ей руку. — Очень, как говорится, приятно, вам туда, а мне обратно! — Он снова рассмеялся, но веселость тотчас сбежала с его лица. Он выждал, пристально посмотрел на нее в упор и сказал: — Сударыня, у меня к вам серьезное дело.

— Что ж, проходите, — пригласила она без особой радости, потому что обед был почти готов. Он вошел в гостиную, примостился на краешке стула, задвинул чемодан между колен и окинул взглядом комнату, как бы соображая, с кем имеет дело. В двух сервантах мерцало столовое

серебро; видно, ему еще не приходилось бывать в такой красивой гостиной.

— Миссис Хоупвел, — сказал он задушевно, как старый знакомый, — вы ведь верите, что жить надо по-христиански.

— М-да, разумеется, — отозвалась она.

— Про вас известно, — сказал он и помедлил, глубоко-мысленно склонив голову набок, — что вы чудесный человек. Слухом земля полнится.

Миссис Хоупвел терпеть не могла, когда ее принимали за дурочку.

— Вы чем торгуете? — спросила она.

— Библиями, — сказал парень, пробежался глазами по комнате и прибавил: — Я вижу, у вас в гостиной нет семейной Библии, все у вас есть, а этого, вижу, не хватает!

Миссис Хоупвел не могла сказать: «Моя дочь неверующая и не потерпит Библии в гостиной». Она сказала, поджав губы: «Моя Библия у меня на ночном столике». Это была неправда. Библия затерялась где-то на чердаке.

— Сударыня, — сказал он, — слову божьему место в гостиной.

— Ну, это уж как на чей вкус, — начала она. — По моему...

— Сударыня, — сказал он, — доброму христианину положено иметь слово божье в каждой комнате, не говоря уж что в сердце. А вас по лицу сразу видно, что вы добрая христианка.

Она поднялась и сказала:

— Словом, молодой человек, Библия ваша мне не нужна, а вот обед мой, того и гляди, пригорит.

Он не встал. Он принялся обминать сцепленные ладони и, опустив взгляд, тихо сказал:

— Что же, сударыня, по правде-то, мало кому теперь нужна Библия, а я вам не указчик, это понятно. Что говорю, то говорю, а как получше сказать, не знаю. Я простой малый. — Он посмотрел на ее недружелюбное выражение. — Вам, конечно, с нашим братом не с руки знаться, мы народ простой.

— Да что вы! — воскликнула она. — Ведь простые, надежные люди, это же соль земли! Каждому свое, свет ни на ком клином не сошелся. Такова жизнь!

— Золотые ваши слова, — сказал он.

— Да как же, по-моему, простых-то, надежных людей

на свете и не хватает! — сказала она взволнованно. — Отсюда, по-моему, и все наши беды!

Лицо его просветлело.

— А я и не представился, — сказал он. — Меня Менли Пойнтер зовут, родом из-под Уиллоби, из самой там глуши.

— Подождите минутку, — сказала она. — Я схожу посмотрю, как там с обедом.

Она вышла из комнаты и увидела, что Анжела стоит у двери и подслушивает.

— Сплавь свою соль земли, — сказала она, — есть пора.

Миссис Хоупвел укоризненно посмотрела на нее и пошла привернула огонь под овощами.

— Я людям грубить не привыкла, — сказала она себе под нос и вернулась в гостиную.

За это время он успел выложить из чемодана две Библии — по одной на каждое колено.

— Вы уж лучше их спрячьте, — посоветовала она. — Мне они не нужны.

— Я ценю, что вы по-честному, — сказал он. — Нынче ведь честных только и найдешь, что в деревенской глуши.

— Вот именно, — сказала она, — среди бесхитростного простонародья!

Из-за неплотно прикрытой двери донесся стон.

— К вам небось ребята ходят рассказывают, как им ученье дается, — сказал он, — только от меня вам про это не услышать. Да как-то меня и не тянет в колледж, — сказал он. — Я хочу помогать людям жить по-христиански. Видите, в чем дело, — сказал он, понизив голос, — у меня с сердцем неладно. Я, наверно, недолго и протяну. А коли знаешь, что дела твои плохи и долго не протянешь, сами понимаете, сударыня... — Он осекся на полуслове и поглядел на нее.

Он болен, как Анжела! У нее слезы подступили к глазам, но она быстро взяла себя в руки, проговорила: «Может, пообедаете с нами? Мы очень были бы рады!» — и тут же пожалела об этом.

— Да, мэм, — сказал он конфузливо, — я бы, конечно, с удовольствием!

Анжела мельком глянула на него, когда их познакомили, а потом за весь обед даже не посмотрела в его сторону. Он к ней обращался, а она будто и не слышала. Вечная история: обязательно надо обхамить человека! И миссис Хоупвел по обыкновению сияла радужием, чтоб невежливость

дочери не лезла в глаза. Гость легко разговорился о себе. Он рассказал, что у отца с матерью их было двенадцать, он седьмой; ему восемь лет было, когда отца пришибло деревом. Мало сказать, пришибло, а прямо надвое раскроило, тело и узнать-то было нельзя. Остались они на материной шее, та из кожи вон лезла, и все ходили в воскресную школу и каждый вечер читали Библию. Сейчас ему девятнадцать, а Библии продает вот уж четыре месяца. Семьдесят семь штук он продал и еще на две договорился. Его мечта — стать миссионером и принести побольше пользы людям. «Потерявший душу свою сбережет ее», — простосердечно сказал он, и это прозвучало так искренно, так естественно и откровенно, что миссис Хоупвел ни за что бы не позволила себе улыбнуться. Он придерживал горошек на краю тарелки хлебным ломтиком, а потом тем же ломтиком дочиста подобрал остатки соуса. Заметно было, что Анжела исподтишка следит, как он держит нож и вилку; паренек тоже нет-нет да и окинет ее взглядом, словно хочет на себя внимание обратить.

После обеда Анжела собрала со стола и скрылась, оставив их беседовать вдвоем. Он снова рассказал ей про свое детство, про несчастье с отцом и вообще про свою жизнь. Чуть не каждые пять минут она подавляла зевок. Он просидел два часа, пока она не сказала, что, к сожалению, ей пора из дому, у нее дела в городе. Он упрятал свои Библии, поблагодарил ее и совсем было распрощался, но замешкался в дверях, сжал ей руку и сказал, что сколько он по людям ходит, но она вот просто замечательная женщина, и спросил, нельзя ли в другой раз еще зайти. Она сказала, что будет всегда рада его видеть.

Анжела стояла на дорожке и высматривала что-то вдали, когда он спустился с крыльца, скособочившись под тяжестью чемодана. Он остановился рядом с ней, лицом к лицу, и заговорил. Миссис Хоупвел не могла его расслышать, но ее бросило в дрожь при мысли о том, что ему скажет Анжела. Потом Анжела, видно, что-то сказала и парень заговорил снова, взволнованно размахивая свободной рукой. Потом Анжела еще что-то сказала, и парень опять заговорил. Затем миссис Хоупвел с изумлением увидела, что они вместе двинулись к воротам. Анжела прошла с ним до самых ворот, и миссис Хоупвел представить себе не могла, о чем они разговаривали, а спросить пока не решалась.

Между тем миссис Фримен напомнила о себе. Она переместилась от холодильника к радиатору, и миссис Хоупвел повернулась к ней лицом, чтоб показать, что слушает.

— Вечеру Глайниз опять ездила гулять с Харви Хиллом,— сказала миссис Фримен.— А у ней, значит, ячмень на глазу.

— Хилл,— рассеянно отозвалась миссис Хоупвел,— это который в гараже работает?

— Нет, это который учится на массажиста,— сказала миссис Фримен.— И, значит, у ней ячмень на глазу. Два дня как раздуло. Вот, она говорит, он ее вечером к дому-то подвез и говорит: «Давай я тебе ячмень твой сниму», а она говорит: «Как это?», а он говорит: «Ложись на заднее сиденье, увидишь». Она легла, а он цоп ее за шею и давай месить. И так это ее пальцами чпок, чпок, чпок, потом уж она его отпихнула. А нынче утром,— сказала миссис Фримен,— куда ячмень подевался? Прямо будто и не было никакого ячменя.

— Чудеса, да и только,— сказала миссис Хоупвел.

— Он ей говорит: пойдём к судье, распишемся,— продолжала миссис Фримен,— а она ему, что жениться так жениться, только не в конторе.

— Что говорить, Глайниз славная девочка,— сказала миссис Хоупвел.— Глайниз и Каррамэй обе очень славные девочки.

— Каррамэй говорит, она когда за Лаймана выходила, Лайман сказал: к судье, говорит, это и есть самое святое дело. Она говорит, он сказал: к священнику ни за полтысячи не пойду.

— Полтысячи ему мало, а сколько надо? — спросила Хулга от плиты.

— Он сказал: ни за полтысячи не пойду,— повторила миссис Фримен.

— Ну что ж, пора нам всем и за дела приниматься,— сказала миссис Хоупвел.

— К судье, говорит Лайман, это и есть самое святое дело,— сказала миссис Фримен.— А доктор говорит, что пусть Каррамэй ест чернослив. Это, мол, лучше всякого лекарства. Давит, мол, снизу, вот и спазмы. А сказать, чего у нее на самом деле?

— Еще неделька-другая, и все это пройдет,— сказала миссис Хоупвел.

— Невматочная у нее,— сказала миссис Фримен.— А то бы ее так не выворачивало.

Хулга выпустила вареные яйца на блюдечко и понесла его к столу вместе с полной до краев чашкой кофе. Она осторожно уселась и стала есть. Если миссис Фримен вдруг надумает уходить, придется задерживать ее расспросами, а то мать — по глазам видно — только и дожидается. Сразу начнет обиняками выспрашивать про разносчика Библий, а это лишнее.

— И как же это он ей шею месил? — спросила она.

Миссис Фримен пустилась описывать, как он ей месил шею. Она сказала, что машина у него ничего себе, «меркурий-55», а Глайниз говорит: пойду за такого, у кого «плимут-36», лишь бы к священнику. Хулга спросила, а как, если б у него был всего-то «плимут-32»? Миссис Фримен сказала, что Глайниз говорит — пойдет и за такого, у кого «плимут-36».

Миссис Хоупвел сказала, что у Глайниз просто на редкость ясная голова. Она сказала, что восхищается, какая у обеих девочек ясная голова. Она сказала, что, кстати же, у них вчера побывал очень милый молодой человек, предлагал купить Библию.

— Господи,— сказала она,— я с ним чуть не умерла со скуки, но такой он откровенный, такой прямодушный — не обижать же. Из таких, знаете, простых, надежных людей,— сказала она,— настоящая соль земли.

— Я видела, как он пришел,— сказала миссис Фримен,— а потом видела, как ушел.

И Хулга уловила легкий оттенок в ее голосе, легкий намек, что ушел-то вроде не без провожатых. Она и бровью не повела, но шея у нее покраснела, и она как бы сглотнула краску вместе с ложкой желтка. Миссис Фримен смотрела на нее с видом соучастницы.

— Вот и я говорю — на нас свет клином не сошелся,— сказала миссис Хоупвел.— И хорошо, что все такие несхожие.

— Одни несхожие, а другие очень даже схожие,— сказала миссис Фримен.

Хулга встала, проковыляла в свою комнату с грохотом вдвое против обычного и заперла дверь. С разносчиком Библий она условилась на десять утра у ворот. Она полночи размышляла об этом. Сперва она думала, до чего все это забавно, а потом ей вдруг забрезжил глубинный смысл.

Она лежала и сочиняла диалоги, будто бы нелепые, а на самом деле полные скрытого значения, до какого ни одному разносчику Библий в жизни не додуматься. Их вчерашний разговор был в том же духе.

Он тогда остановился перед ней и замер. Его худое оживленное лицо было обсыпано капельками пота; он выставил остренький нос и смотрел вовсе не так, как за обеденным столом. Он разглядывал ее без всякого стеснения, во все глаза и по-детски, как невиданного зверя; а запыхался так, будто долго бежал вдогонку. Во взгляде было что-то знакомое, кто-то на нее уж так смотрел. С минуту он молчал. Потом прошептал, ловя воздух ртом:

— Ты когда-нибудь ела такого цыпленка, чтоб он был вчерашний?

Девушка ответила непроницаемым взглядом. Он как будто выдвинул вопрос на собрании философского общества.

— Ела,— ответила она затем, точно после всестороннего изучения вопроса.

— Невелик же он был, коли накануне вылупился! — возликовал он, затрясся от безудержного хихиканья, густо покраснел и наконец застыл, восхищенно глядя на ее неподвижное лицо.

— А тебе сколько лет? — чуть слышно спросил он.

Она помедлила с ответом. Потом вяло обронила: «Семнадцать».

Он заулыбался так, словно всколыхнулось небольшое озерцо.

— Я вижу, у тебя нога деревянная,— сказал он.— Ну, ты же и молодчина. Ну, ты же и прелесть.

Она молчала, стояла и смотрела мимо него.

— Проводи меня до ворот,— сказал он.— Ты молодец девочка, ты прямо прелесть, ты мне сразу понравилась, только в комнату вошла.

Хулга двинулась вперед.

— Тебя как зовут? — спросил он, улыбаясь ей в затылок.

— Хулга,— сказала она.

— Хулга,— тихо повторил он.— Хулга. Хулга. В жизни такого имени не слыхал. А ты застенчивая, да, Хулга?

Она кивнула, не отрывая глаз от его большой красной руки, сжимавшей ручку огромного чемодана.

— А приятно, когда девушка в очках,— сказал он.—

Очень меня разные мысли одолевают. Есть такие люди — все им пустяки, а я нет. Потому что мне жить недолго осталось.

— Мне тоже недолго жить осталось, — вдруг отозвалась она и подняла взгляд. Его малюсенькие карие глазки лихорадочно блестели.

— Слушай, — сказал он, — ты не думаешь, что некоторым прямо суждено встретиться, раз у них все так, в общем, похоже? Раз у обоих, в общем, серьезные мысли в голове? — Он перебрал чемодан в другую руку, а освободившейся схватил ее под локоть. — Я по субботам отдыхаю, — сказал он. — Люблю пройтись по лесу посмотреть, как разделилась мать-природа. Забрести куда-нибудь подальше. Ну там, пик-ник устроить. А что бы нам с тобой завтра устроить пик-ник? Давай, а, Хулга, — сказал он и поглядел обморочным взглядом, словно вот-вот упадет замертво. Его даже качнуло к ней.

Ночью она представляла, как она его соблазняет. Она представляла, как они идут вместе, минуют оба дальних луга и выходят к сараю, а там все складывается так, что она его легко соблазняет, и его, конечно, начинает мучить совесть. Но даже и низший ум подвластен духовной ясности. Она представляла, как очищает его совесть от угрызений и таким образом помогает ему глубже осмыслить жизнь. Она помогает ему освободиться от комплекса стыда и обратить стыд себе на пользу.

Она отправилась к воротам ровно в десять, незаметно скрывшись из дому. Никакой еды она с собой не захватила, позабыв, что обычный пикник без еды не обходится. Она надела брюки и грязноватую белую рубашку, подумала и смочила воротник лосьоном — за неимением духов. Когда она подошла к воротам, там никого не было.

Она поглядела в обе стороны шоссе и остервенела от мысли, что ее провели, что он только и хотел, чтоб она ради него попусту прошла к воротам. Вдруг знакомая долговязая фигура возникла из-за куста напротив. Он улыбнулся и приподнял новехонькую широкополую шляпу. Вчера он был без шляпы: должно быть, купил для такого случая. Шляпа была каштанового цвета, с красно-белой лентой по тулье и слегка ему великовата. Он выступил из-за куста все с тем же черным чемоданом в руке, в том же костюме и желтых носках, сползших в туфли от ходьбы. Он пересек шоссе и сказал: «Я так и знал, что ты придешь!»

Девушка ехидно подумала, что ручаться ему за это не стоило бы. Она показала на чемодан и спросила:

— А Библии зачем прихватил?

Он взял ее под руку, неудержимо и непрестанно улыбаясь.

— Почему знать, Хулга, когда понадобится слово божие, — сказал он.

Ей вдруг показалось, что все это не наяву; но они уже были у края насыпи. К лесу они пошли через выгон. Она чувствовала сбоку его легкий, пружинистый шаг. Видно, и чемодан полегчал: он им даже размахивал. Полпути они прошли без единого слова, потом он приобнял ее пониже пояса и тихо спросил:

— А у тебя деревяшка докуда?

Она густо покраснела и кинула на него такой взгляд, что парень смешался.

— Да я ничего худого, — сказал он. — Я к тому, что ты молодчина и вообще. Тебя, наверно, бог бережет.

— Нет, — сказала она, ускорив шаг и глядя перед собой, — в бога я не верю.

Он остановился и присвистнул. «Ну!» — воскликнул он, словно растерял все слова от удивления.

Она шагала как заведенная, и скоро он опять пританцовывал сбоку, обмахиваясь шляпой.

— Удивительная ты девушка, — заметил он, искоса поглядывая на нее. У опушки он снова ее обнял, молча притянул и поцеловал взаем.

Поцелуй, скорее упорный, чем пылкий, вызвал у нее тот самый приток адреналина, который иным помогает вытаскивать тяжелые сундуки из горящего дома: у нее же лишь усиленно заработал мозг. Он еще прижимал ее к себе, а она устремила на него, как бы издали, свой ясный, сторонний, насмешливый умственный взор; и любопытство мешалось в ней с жалостью. Ее никогда еще не целовали, и она удовлетворенно отметила, что это довольно заурядное ощущение вполне подконтрольно сознанию. Иные и от сточной воды опьянеют, скажи им только, что это водка. Парень мягко отстранил ее и глядел выжидательно и неуверенно, а она повернулась и молча пошла дальше, будто ей такое не в новинку.

Его пыхтение снова послышалось сбоку; завидев корень, он кидался ей помогать, чтоб она не споткнулась. Он отвел и придержал гибкие терновые ветви в длинных ши-

пах. Она вела, а он поспевал сзади, тяжело дыша. Наконец они выбрались на солнечную полянку, мягко круглившуюся на подъеме к другой, поменьше. За холмом видна была проржавевшая крыша старого сеного сарая.

По склону холма розовели кустики полевой гвоздики.

— Ты, значит, не спасешься? — внезапно спросил он, остановившись.

Девушка улыбнулась. До этого она ему не улыбнулась ни разу.

— У меня свое вероучение, — сказала она, — и по моему выходит, что я уже спасена, а ты обречен, но я же сказала тебе, что не верю в бога.

Восхищению его, казалось, не было предела. Он опять по-детски уставился на нее, словно давешний невиданный зверь протянул лапу из-за прутьев и потрепал его по плечу. Она подумала, что он, того и гляди, опять станет ее целовать, и на всякий случай заспешила дальше.

— А где бы нам тут сесть посидеть? — выговорил он, сбиваясь на шепот.

— Вон в том сарае, — сказала она.

Они заспешили, точно сарай мог отъехать, как поезд. В большом двухъярусном сарае было темно и прохладно. Парень указал на лесенку, приставленную к сеновалу.

— Жаль, нам туда не взобраться.

— Почему не взобраться? — спросила она.

— А нога-то, — почтительно сказал он.

Девушка презрительно усмехнулась в его сторону и, цепко перебирая руками, взобралась по лестнице, а он благоговейно стоял внизу. Она ловко подтянулась в проем, глянула сверху вниз и сказала: «Очередь за тобой, если не раздумал»; и он полез, кое-как управляясь с чемоданом.

— Библия нам не понадобится, — заметила она.

— Это почем знать, — пропыхтел он.

Забравшись на сеновал, он с минуту переводил дыхание. Она опустилась на ворох соломы. Солнечный свет с плавающими пылинками струился над нею широким косым пологом. Она откинулась в солому, повернула голову и поглядела в раскрытые ворота сеновала. За двумя усеянными гвоздикой склонами темнела гряда леса. В холодном синем небе не было ни облачка. Парень прилег рядом, подsunул под нее руку, другой обнял и стал обцеловывать ей лицо, издавая ртом какие-то рыбки всплески. Шляпу он не снял, только сбил на затылок, чтоб не ме-

шала. Когда помешали ее очки, он снял их и сунул себе в карман.

Сперва она не отвечала на поцелуи, потом несколько раз чмокнула его в щеку, добралась до губ и так впилась в них, точно хотела высосать весь воздух из его груди. Дыхание его было чистое и свежее, как у ребенка, а поцелуи по-детски липучие. Он ворковал, что любит ее, что влюбился с первого взгляда, но и воркование тоже было вроде сонного лепета ребенка, которого мать укладывает в постель. Все это, однако, не сбивало ее с мысли, и мысли не путались с ощущениями.

— Ты еще не сказала, что любишь меня,— наконец прошептал он, высвободившись.— Без этого нельзя.

Она отвернула лицо и посмотрела в пустые небеса, потом на темную грядку, потом ниже, на два склона, превратившиеся в зыблющиеся зеленые озера. Она не заметила, что он забрал ее очки, а расплывчатый пейзаж ей ни о чем не говорил: ей, как обычно, было не до пейзажей.

— Без этого нельзя,— повторил он.— Скажи, что любишь, без этого никак нельзя.

Она всегда была осторожна по части обязательств.

— В каком-то смысле,— начала она,— оставя точность в стороне, можно и так выразиться. Но я подобных слов не употребляю. У меня иллюзий нет. Я из тех, кто прозревает суть вещей и упирается взглядом в ничто.

Парень насупился.

— Без этого нельзя. Я сказал, а теперь ты обязана.

Ее это почти растрогало.

— Ах ты, бедняжка,— пробормотала она.— Может, оно и лучше, что тебе непонятно.— И она притянула к себе его голову.

— Все мы обречены,— сказала она,— но некоторые сорвали повязку с глаз и видят, что смотреть не на что. Это и есть своего рода спасение.

Он растерянно моргал, глядя сквозь бахрому ее волос.

— Это ладно,— он чуть не хныкал,— ну ты меня любишь или не любишь?

— Люблю,— сказала она и прибавила: — в некотором смысле. Но я должна тебе кое-что сообщить. Между нами все должно быть начистоту.

Она приподняла его за подбородок и посмотрела ему в глаза.

— Мне тридцать лет,— сказала она.— И я, между прочим, доктор наук.

Парень смотрел сердито, но не отступался.

— Ну и что,— сказал он.— Мало ли чего в жизни бывает. Ты мне лучше скажи, любишь или не любишь? — Он прижал ее к себе и покрыл ее лицо яростными поцелуями; наконец она сказала: «Люблю, люблю».

— Вот и ладно,— сказал он, отпустив ее.— Тогда докажи.

Она улыбнулась, глядя на смутный, переливчатый пейзаж. Вот она его и соблазнила и все вышло само собой.

— Как? — спросила она. Все-таки не худо бы его немного попридержать.

Он склонился и прильнул губами к ее уху.

— Покажи, докуда у тебя деревяшка,— прошептал он.

Девушка резко вскрикнула, и лицо ее мгновенно посерело. Просьба была бесстыдная, но не это ее смутило. В детстве ей иной раз бывало стыдно, но образование начисто удалило из ее жизни чувство стыда, как хороший хирург удаляет раковую опухоль. Стыдиться чего-нибудь ей так же не пришло бы в голову, как верить в его Библию. Но протез ей был дорог, как павлину хвост. Никто, кроме нее, протеза не касался. Она берегла его, как другой бережет свою душу, таилась с ним от всех и едва ли не от самой себя.

— Нет,— сказала она.

— Конечно,— проворчал он, отсев от нее.— За молоко-сосу меня считаешь.

— Да нет же, нет! — воскликнула она.— Он кончается у колена. У колена, не выше. Зачем тебе это нужно?

Он посмотрел на нее долгим, пронизывающим взглядом.

— А затем,— сказал он,— что этим ты и особенная. Не то что все.

Она сидела, пристально глядя на него. Ни в ее лице, ни в круглых льдисто-голубых глазах не было никакого волнения, но сердце ее словно остановилось и перекачивать кровь принялся мозг. Она решила, что впервые в жизни оказалась лицом к лицу с настоящей невинностью. Этот мальчик понял ее инстинктом, который превыше всякой мудрости. И когда через минуту она сипло выдохнула: «Хорошо», она как будто отдалась ему. Как будто рассталась с собственной жизнью и чудом обрела ее в нем.

Он осторожно закатал штанину. На протез был надет белый носок и бурая туфля; он был обтянут грубой материей вроде брезента и кончался уродливым креплением, подстежкой к культе. Парень добрался до подстежки и трепетно выговорил:

— А теперь покажи, как его снимать и надевать.

Она показала ему, как снимать, и снова надела, а потом он снял его сам, держа бережно, как живую ногу.

— Смотри! — сказал он детским, восторженным голосом. — Теперь я тоже умею!

— Пристегни его, — сказала она. И представила себе, как сбежит с ним и как он каждый вечер будет отстегивать протез, а утром снова пристегивать.

— Зачем же, — пробормотал он и поставил протез подалее от нее. — Пусть пока постоит. Мало тебе меня, что ли.

Она тревожно вскрикнула, но он опрокинул ее на спину и снова принялся целовать. Без ноги она чувствовала себя целиком в его власти. Рассудок ее вдруг отказал и занялся чем-то очень ему не свойственным. Выражение ее лица поминутно менялось. Парень то и дело поглядывал назад, на торчащий из соломы протез, и глаза его были, как стальные шипы. Наконец она оттолкнула его и сказала:

— Ну, пристегни обратно.

— погоди, — сказал он.

Он перегнулся, подтянул свой чемодан и раскрыл его. Обнаружилась голубая в крапинку подкладка и всего две Библии. Он вынул одну из них и откинул обложку. Под обложкой была полая картонка, а в ней — фляжка виски, колода карт и синенькая коробочка с наклейкой. Он разложил все это перед нею, словно приношения на алтаре. Синюю коробочку он сунул ей в руку. *Использовать только как презентивное средство от заражения*, прочла она и выронила коробочку. Парень отвинчивал крышку фляги. Он с улыбкой кивнул на колоду карт. На рубашке каждой карты была непристойная картинка.

— Хлебни-ка, — сказал он, уступая ей фляжку. Он совал ей фляжку в самый нос, но она не двигалась, как замороженная.

Наконец она обрела голос и заговорила почти умоляюще.

— Как же ты, — проговорила она, — вы же соль земли, простые, надежные люди?

Парень вскинул голову. Он словно сообразил, что его не иначе как оскорбляют.

— Ну и что из этого? — сказал он, выпятив губу. — Уж не хуже вашего-то, как ни глянь.

— Отдай мою ногу, — сказала она.

Он носком отбросил протез подальше.

— Ладно тебе, давай сперва поразвлечемся, — ласкательно сказал он. — Мы еще толком и не познакомились.

— Отдай мою ногу! — взвизгнула она и рванулась было за протезом, но он легко отпихнул ее.

— Чего это ты вдруг вскинулась? — хмуро спросил он, завинтив фляжку и быстро заложив ее обратно в Библию. — Сама же только что говорила, что ни во что не веришь. Я уж думал, ай да девушка!

Лицо ее побагровело.

— Ты-то христианин! — с присвистом зашипела она. — Именно что христианин — слова с делами никак не сходятся. Да, уж ты настоящий христианин, ты...

Парень злобно поджал губы.

— А по-твоему, как выходит, — сказал он с горделивым негодованием, — прямо я верю в такую дребедень! Подумаешь, Библии продаю — на мякине меня не проведешь, не вчера родился, знаю, что почему!

— Отдай мою ногу! — выкрикнула она.

Он вскочил одним движением, мгновенно запрятал в Библию карты и синюю коробочку, а Библию кинул в чемодан. Она увидела, как он схватил ее ногу и как та сиротливо улеглась в чемодане между двух Библий. Он захлопнул крышку, с размаху бросил чемодан в проем и сам полез вслед.

Когда над проемом осталась одна голова, он обернулся и оглядел ее уже без всякого восхищения.

— Везет мне на разные штуковины, — сказал он. — У одной дамочки я тем же манером стеклянный глаз раздобыл. И не думай, что ты меня словишь, меня ведь вовсе и не Пойнтер зовут. Зовут меня всюду по-разному, и долго нигде не задерживаюсь. И чего я тебе еще скажу, Хулга, — пренебрежительно протянул он, — ты уж не строй из себя. Заладила: ничто, ничто — да я сроду ни во что не верю! — И каштановая шляпа нырнула в проем.

Девушка неподвижно сидела на соломе, озаренная пыльным солнечным светом. Потом она обратила переко-

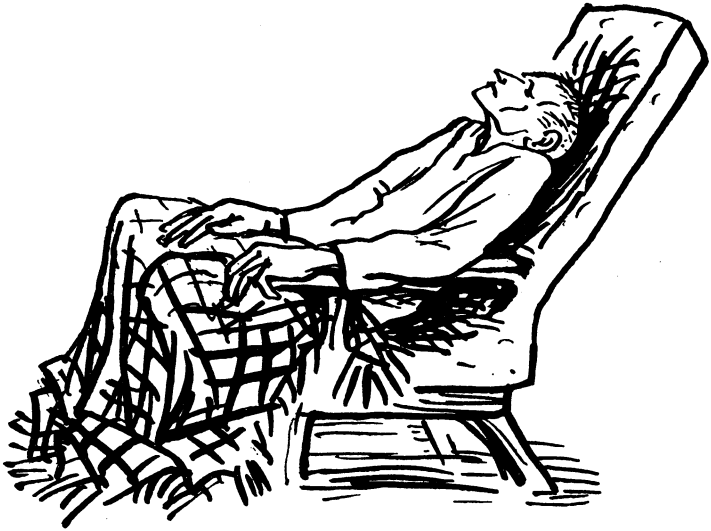
шенное лицо к воротцам и увидела, как синяя фигурка быстро пробирается через зеленое крапчатое оверцо.

Миссис Хоупвел и миссис Фримен выпалывали дикий лук на дальнем выгоне и видели, как он вынырнул из лесу и пошел к шоссе напрямиком через луг.

— Да это не тот ли нудный молодой человек, что упрасивал меня купить Библию,— сказала миссис Хоупвел, прищурясь.— Должно быть, обходил там негров со своим товаром. Уж такой простак,— сказала она,— но, верно, будь все мы таковы, и на земле жилось бы получше.

Неторопливый взгляд миссис Фримен достиг его перед тем, как он исчез за холмом. Потом она перевела глаза на вонючий луковый росток, который только что выдернула.

— Этакая простота не всем дается,— сказала она.— Мне так нипочем бы не далась.



Вагон Эсбери остановился как раз против того места, где ждала на перроне мать. Ее худое лицо в очках сияло ему навстречу радостной улыбкой, но улыбка исчезла, едва она увидела его — напряженно выпрямившегося за спиной проводника. Улыбка исчезла так неожиданно, а в глазах появился такой испуг, что он впервые отчетливо понял, какой скверный у него вид, под стать самочувствию. Небо было серое, зябкое, но из-за темного леса, обступившего Тимберборо со всех сторон, поднималось удивительное, бледно-золотое солнце, словно с востока шел неожиданный могучий властелин. Станный свет залил длинный ряд одноэтажных кирпичных и деревянных домишек. Эсбери на миг показалось, что сейчас он станет свидетелем чудесного преобразования, что пологие скаты крыш вот-вот вытянутся вверх высокими башнями экзотического храма, возведенного во славу какого-то неведомого божества. Виде-

ние мелькнуло и тут же растаяло, и он снова перевел взгляд на мать.

Она тихо ахнула, и Эсбери стало приятно, что она сразу увидела печать смерти на его лице. Что ж, в шестьдесят лет его матери впервые предстоит взглянуть жизни в глаза, и если это испытание ее не убьет, то, надо полагать, поможет наконец стать взрослой. Спустившись с подножки, он поздоровался.

— Выглядишь ты не очень хорошо,— сказала она, окидывая его долгим изучающим взглядом.

— Мне не хочется разговаривать,— поспешил предупредить он.— Устал с дороги.

Миссис Фокс отметила про себя, что левый глаз у Эсбери воспален. Лицо было одутловатое, бледное, и он начал катастрофически лысеть — не скажешь, что ему всего двадцать пять лет. С темени на лоб острым клинышком ложилась жидкая рыжеватая прядь, и от этого его нос казался еще длиннее, а лицо еще более раздраженным, как и тон, каким он разговаривал с ней.

— У вас там, наверно, холодно,— сказала она.— Может, тебе снять пальто? У нас тут не холодно.

— Только не сообщай мне, сколько сейчас градусов! — почти выкрикнул он.— Я не маленький, сам знаю, снимать мне пальто или нет.

Поезд бесшумно тронулся и отошел, открыв по ту сторону линии второй ряд неказистых ветхих лавчонок. Эсбери проводил взглядом последний вагон: пятно металла, поблескивая, скрылось среди деревьев, и Эсбери показалось, что навек обрывается его связь с большим миром. Затем он хмуρο повернулся к матери, злясь, что позволил себе хотя бы на мгновение вообразить храм на этом убогом полустанке. С мыслью о смерти он почти свыкся, но как свыкнуться с мыслью о том, что он должен умереть *здесь!*

Вот уже почти четыре месяца он чувствовал приближение конца. Четыре месяца, день ото дня, он слабел все больше и больше, мучимый странными блуждающими болями в голове и во всем теле. Один в своих промозглых комнатушках, он лежал, скрючившись, под двумя одеялами, прослоенными тремя номерами «Нью-Йорк таймс», да еще положив сверху пальто, и как-то ночью его затрясло в таком леденящем ознобе, а потом бросило в такой жар, что простыни стали мокрыми от пота. С тех пор у него исчезли последние сомнения в том, что он и вправду тяжело

болен. Было у него место с неполным рабочим днем в книжном магазине, но он так часто не выходил на работу, что в конце концов его уволили. С тех пор он жил — если это была жизнь — на свои сбережения, таявшие день ото дня, и только эти гроши отгораживали его от родного дома. Теперь не осталось ничего. И вот он здесь.

— Где машина? — буркнул он.

— Вон там,— сказала мать.— На заднем сиденье спит твоя сестра — не люблю так рано ездить одна. Не стоит ее будить.

— Ни в коем случае,— сказал он.— Не буди лиха, пока оно тихо.

И, подняв два пузатых чемодана, он двинулся с ними через дорогу. Они были слишком тяжелы для него, и, когда Эсбери дотащил их до машины, мать заметила, что он совсем обессилел. Раньше он никогда не являлся домой с двумя чемоданами. Начиная с первых каникул, он обычно приезжал налегке, захватив лишь самое необходимое, и застывшее выражение покорности на его лице как бы говорило, что он готов вытерпеть ровно две недели и ни днем больше.

— На этот раз ты с багажом,— заметила мать, но он не ответил.

Он открыл дверцу машины и, поставив оба чемодана к сиденью, где лежала сестра, окинул ее с ног до головы неприязненным взглядом, сразу узнав и эти топорные школьные полуботинки, торчащие вверх носками, и тесный черный костюм. На голове у нее была намотана какая-то белая тряпка, из-под которой торчали металлические бигуди, глаза были закрыты, а рот раскрыт. Брат и сестра были очень друг на друга похожи, только у нее черты лица были крупнее. Она была старше его на восемь лет и заведовала окружной начальной школой. Эсбери тихо притворил дверцу, чтобы сестра не проснулась, обошел машину, сел на переднее сиденье рядом с матерью и закрыл глаза. Мать вывела машину задним ходом на улицу, и спустя несколько минут он почувствовал, что они свернули на шоссе. Тогда он открыл глаза. Шоссе тянулось меж широких полей желтой люцерны.

— Правда, наш Тимберборо очень похорошел? — задала свой излюбленный вопрос мать. Не было случая, чтобы она его не задавала.

— Какой был, такой и есть, — скрипучим голосом ответил он.

— Два магазина отстроили заново, — снова начала она. И вдруг сердито сказала: — Слава богу, что приехал домой — тут хоть есть хороший врач. Сегодня же отведу тебя к доктору Блоку.

— А я не намерен идти к доктору Блоку, — сказал он, стараясь сдержать дрожь в голосе. — Ни сегодня, ни завтра и ни послезавтра. К твоему сведению, если бы я хотел пойти к врачу, я мог сделать это и там. Или тебе неизвестно, что в Нью-Йорке имеются врачи лучше Блока?

— Но он тебя знает, он отнесется к тебе с особым вниманием, — сказала она. — Кто из тамошних докторов отнесся бы к тебе с таким вниманием?

— А я не нуждаюсь в его особом внимании, — сказал он. Затем немного помолчал, глядя на затянутое фиолетовой дымкой поле, и добавил: — Блоку не определить, что со мной — это выше его понимания... — и голос его оборвался каким-то странным звуком, похожим на всхлип.

Он не мог, как советовал его друг Гетц, внушить себе, будто все это иллюзия — и то, что было прежде, и те немногие недели, которые ему осталось прожить. Гетц был убежден, что смерть — это сущий пустяк. Гетц, чье лицо вечно пылало багровыми пятнами, ибо он негодовал по любому поводу, прожил полгода в Японии и вернулся оттуда не менее грязным, чем обычно, зато невозмутимым, как сам Будда. Весть о близкой кончине Эсбери он принял со спокойным равнодушием. «И хотя Бодисатва ведет в нирвану несметное множество живых существ, — сказал он, явно что-то цитируя, — нет в действительности ни Бодисатвы, ни тех, кого он мог бы повести за собой». Все же, проявив некоторую заботу о благе друга, Гетц выложил четыре с половиной доллара и повел его на лекцию по Веданте. Зря потратился. Пока Гетц зачарованно внимал маленькому темнокожему человечку на подмостках, скучающий взгляд Эсбери блуждал по присутствующим. Он скользнул мимо нескольких девиц в сари, молодого японца, иссиня-черного мужчины в феске, и еще каких-то девиц типа секретарш. И наконец остановился на сидевшем с краю худощавом человеке в очках и во всем черном — священнике. Тот слушал вежливо, но без особого интереса, и на его лице, полном молчаливого превосходства, Эсбери прочел свои собственные мысли. После окончания лекции в квартире у

Гетца собралось несколько студентов, здесь же был и священник, все такой же сдержанный и молчаливый. С подчеркнуто вежливым вниманием он выслушал рассуждения по поводу приближающейся кончины Эсбери, но почти ничего не сказал. Девушка в сари заметила, что о «самопогружении» тут говорить не приходится, а спасение — понятие, лишенное смысла.

— «Спасение означает лишь победу над жалким преубеждением против смерти, — процитировал Гетц, — и спасаться никому не дано».

— А что скажете вы? — спросил Эсбери священника и, поймав его сдержанную улыбку, посланную через головы собеседников, так же сдержанно улыбнулся в ответ. В улыбке священника Эсбери почудилась какая-то ледяная ясность.

— Я думаю, — сказал священник, — о реальной вероятности преображения, о явлении Нового Человека. Разумеется, — жестко добавил он, — при содействии третьей ипостаси Святой Троицы.

— Что за чепуха! — сказала девушка в сари, но священник лишь скользнул по ней своей улыбкой, на этот раз чуть ироничной.

Уходя, он молча дал Эсбери маленькую карточку, написав на ней свое имя и фамилию: Игнатий Вогл, член Общества Иисуса, и адрес. Быть может, думал теперь Эсбери, надо было к нему зайти, священник произвел на него впечатление человека, умудренного житейским опытом, он, вероятно, понял бы единственную в своем роде трагедию его смерти, смысл которой недоступен пустомелям у Гетца. И уж тем более Блоку.

— Блоку не определить, что со мной — это выше его понимания.

Мать сразу же догадалась, что он имеет в виду: конечно же, он на грани нервного срыва. Однако не сказала ни слова. Не стала говорить, что предвидела все заранее. Когда люди мнят себя бог весть какими умными — даже если они действительно умные, — словами их не вразумишь, а у Эсбери на беду еще и артистическая натура. Она понятия не имела, от кого он эту натуру унаследовал; отец его — юрист, бизнесмен, фермер и политик в одном лице — твердо стоял обеими ногами на земле; а уж о ней самой и говорить нечего. После смерти мужа она дала дочери и сыну возможность получить высшее образо-

вание и дальше заниматься науками; однако теперь ей ясно: чем больше люди учатся, тем меньше умеют. Отец их окончил восемь классов школы, ютившейся в одной комнатухе, зато умел все.

Она-то могла бы объяснить Эсбери, что его вылечит. «Солнце и работа на ферме, и ты станешь другим человеком!» — сказала бы она ему, да только знала, как он это воспримет. В коровнике он, конечно, будет только мешать, но, так и быть, она пустила бы его туда, если бы он захотел. Пустила же в прошлом году, когда он приехал домой писать свою пьесу. Он писал пьесу про негров (и к чему это писать пьесы про негров, просто непонятно!) и сказал, что хотел бы поработать вместе с ними, вникнуть в их интересы. «А у них один интерес, как бы исхитриться ничего не делать», — хотела она сказать, да разве ему что-нибудь объяснишь! Негры к нему притерпелись, и он научился прилаживать доилку и один раз вымыл все бидоны, а еще один раз, кажется, приготовил скотине корм. Потом его лягнула корова и больше он в коровник не ходил. А если бы пошел теперь, гулял бы побольше на свежем воздухе, занялся бы починкой изгороди и вообще взялся бы за любое настоящее дело и бросил свое писательство — никаких нервных срывов у него бы не было, — это она твердо знала.

— Что с твоей пьесой про негров? — спросила она.

— Пьес я больше не пишу, — сказал он. — И запомни раз и навсегда: я не стану работать в коровнике, я не буду гулять на свежем воздухе. Я болен. Меня то в жар бросает, то в холод, и кружится голова, и хочу я только одного — чтобы ты оставила меня в покое.

— Но если ты действительно болен, тем более необходимо показаться доктору Блоку!

— И я не покажусь доктору Блоку, — отрезал он и, плотнее вжавшись в сиденье, напряженно уставился перед собой.

Она свернула на их рыжую проселочную дорогу между выгонами. По одну сторону ее паслись яловые коровы, по другую — дойные. Машина замедлила ход, а потом и вовсе остановилась — внимание матери привлекла корова с набрякшим выменем.

— Они ее пропустили, — сказала мать. — Ты посмотри на ее вымя!

Эсбери судорожно повернулся в другую сторону, но от-

туда на него воззрившись малорослая гернсийка с бельмом на глазу, как будто почувствовала в нем нечто родственное.

— Боже! — вскричал он затравленным голосом. — По-едем мы или нет?! Сейчас ведь шесть утра!

— Едем, едем, — сказала мать и поспешно тронула машину.

— Чей вопль предсмертный слышу я? — сонным голосом протянула с заднего сиденья сестра. — Ах, это ты! — продолжала она. — Писатель пожаловал к нам снова! Чудненько! Чудненько! — Голос у нее был на редкость гнусавый.

Он не ответил ей и даже не повернул головы. Это он давно усвоил: не нужно ей отвечать.

— Мэри Джордж! — резко оборвала ее мать. — Эсбери болен. Оставь его в покое.

— А что с ним? — спросила Мэри Джордж.

— Вон и наш дом! — сказала мать, словно все, кроме нее, были слепые. Дом стоял на вершине холма — двухэтажный, белый, с большой верандой и красивыми колоннами. Она всегда испытывала гордость, подъезжая к нему. «За такой дом многие из твоих городских дружков отдали бы полжизни», — не раз говорила она Эсбери.

Однажды она приехала к нему в Нью-Йорк, в этот жуткий свинарник, где он жил. По грязной каменной лестнице мимо раскрытых мусорных бачков, стоявших на каждой площадке, они дотащились на пятый этаж, до его квартиры — две сырые комнатухи и конурка с унитазом. «Дома ты бы так не жил», — попрекнула его она. «Да! — с какой-то одержимостью во взгляде сказал он. — Дома это было бы невозможно!»

Очевидно, она просто не представляет себе, думала она, что это значит — быть писателем, быть тонкой, артистической натурой. Правда, его сестра утверждает, что он вовсе никакой не писатель, что у него нет таланта и в том-то, мол, вся беда. Но Мэри Джордж сама неудачница. Эсбери считает, что она только разыгрывает из себя интеллигентку, а вообще-то ее умственный коэффициент ниже среднего и мысли у нее заняты лишь одним: как бы заполучить мужа, да только, мол, ни один нормальный мужчина второй раз на нее не взглянет. Мать пыталась убедить его, что Мэри Джордж, если задумает, может быть очень даже привлекательной, но он сказал, что лучше уж ей не задумываться, а то при ее-то умишке совсем свихнется. Будь

в ней хоть чуточку привлекательности, сказал он, она бы не торчала тут директрисой начальной школы, а Мэри Джордж сказала, что, будь у Эсбери капля таланта, он бы уже давно где-нибудь напечатался. Интересно знать, напечатал ли он что-нибудь да и вообще написал ли он хоть строчку?

Миссис Фокс напомнила, что ему всего двадцать пять лет, а Мэри Джордж сказала, что почти все писатели начинают печататься лет в двадцать и, значит, он уже на пять лет опоздал. Миссис Фокс не очень-то разбиралась во всех этих делах, но все же высказала предположение, что, быть может, он пишет очень длинную книгу. «Ну как же, просто конца ей нет! — сказала Мэри Джордж. — Хорошо бы он хоть какой-то стишок осилил». Миссис Фокс надеялась, что это все-таки будет не стишок.

Машина покатила по подъездной дорожке, и в воздух врассыпную взметнулись цесарки и с пронзительными криками понеслись прочь.

— Вот мы и дома! В добрый час! — радостно возвестила мать.

— О боже! — простонал Эсбери.

— Писателя доставили в газовую камеру, — прогнусавила Мэри Джордж.

Он нажал на ручку двери, вылез из машины и, забыв про чемоданы, нетвердым шагом, будто слепой, поплелся к крыльцу. Сестра вылезла вслед за ним, но так и осталась стоять у дверцы, провожая взглядом его согнутую пошатывающуюся фигуру. Когда она увидела, как он поднимается по ступенькам, у нее даже челюсть отвисла от удивления.

— Ну и ну, — сказала она, — да с ним и в самом деле что-то неладно! Он постарел на сто лет.

— А я тебе что говорю! — прошипела мать. — Так будь добра, помолчи и оставь его в покое.

Он вошел в дом. В прихожей из зеркала в простенке на него глянуло бледное, измученное лицо, и он на мгновение остановился и посмотрел на него, потом, держась за перила, стал подниматься по крутой лестнице, миновал площадку и второй лестничный марш, покороче, и вошел в свою комнату, просторную, с большим окном, блеклым голубым ковром на полу и чистыми белыми занавесками, повешенными к его приезду. Но он, ни на что не глядя, добрел до кровати и ничком повалился на нее. Кровать

была старинная, узкая, с высокой резной спинкой, по которой из увитой гирляндами корзины сыпались деревянные фрукты.

Еще в Нью-Йорке он написал матери письмо, занявшее два блокнота. Письмо это ей предстояло прочесть лишь после его смерти. Такое письмо оставил своему отцу Кафка. Но отец Эсбери умер двадцать лет назад, что Эсбери считал благословением судьбы. Этот провинциальный деятель, этот судейский крючок, уж конечно, во все бы совал свой нос. Его он бы не смог выносить, Эсбери это точно знал. Он читал кое-какие его письма и был потрясен их тупостью.

Конечно, мать не сразу поймет письмо. Она всегда все понимает слишком буквально. Пройдет какое-то время, прежде чем ей откроется весь его смысл, и все же, думал Эсбери, мать поймет, что он простил ее, простил все зло, которое она ему причинила. Только это письмо откроет ей глаза. Сейчас она вряд ли чувствует свою вину. Она так довольна собой, что ей и в голову не приходит ничего подобного, но письмо заставит ее прозреть, пусть и в муках; и это единственная ценность, которую он может ей завещать.

И если ей будет больно читать это письмо, ему было еще больнее писать его — потому что сказать ей всю правду значило сказать всю правду самому себе.

«Я бежал из дому, чтобы спастись от его рабского духа, — писал он, — бежал, чтобы обрести свободу, дать волю воображению, освободить его, как орла из клетки, и «кружить, взмывая к небесам» (Йетс). И что же я открыл? Оно не способно к полету, мое воображение. Ты приручила его, одомашнила, и оно сидит, как курица на насесте, и отказывается лететь!» Последующие фразы были подчеркнуты дважды. «У меня нет воображения. У меня нет таланта. У меня ничего нет — одно лишь желание творить, быть талантливым. Почему ты не убила и его тоже? О, зачем, зачем ты подрезала мне крылья?»

Когда он писал эти слова, отчаяние его достигло предела, и он подумал, что, читая их, она почувствует наконец его трагедию и поймет, какую роль сыграла в ней сама. Нет, она никогда ни к чему его не принуждала. В этом не было необходимости. Но она создала атмосферу, которой он вынужден был дышать, и, когда он наконец вырвался на свободу, у него не хватило дыхания и он задохнулся.

Он надеялся, что, если она и не сразу поймет это письмо, оно будет преследовать ее как боль, как озноб, и, может быть, придет время, когда она все же увидит себя в истинном свете.

Все, что он еще написал, он уничтожил: два скучнейших романа, несколько лишенных действия пьес, увечные стихи и недоделанные рассказы. Оставил только эти два блокнота. Они лежали в черном чемодане, который его сестра, пыхтя и отдуваясь, втаскивала сейчас наверх. Мать шла впереди с чемоданом поменьше. Когда она вошла в комнату, он перевернулся на спину.

— Я распакую твои вещи, достану пижаму,— сказала она,— и ты сразу ляжешь в постель, а я принесу тебе завтрак.

— Не надо мне никакого завтрака,— раздраженно сказал он, спуская ноги с кровати,— а вещи я распакую сам, не трогай.

В раскрытой двери появилась сестра, на лице ее было написано любопытство. Она грохнула черный чемодан на пол и стала ногой подталкивать его к кровати, чтобы рассмотреть Эсбери получше.

— Если бы я так плохо выглядела,— сказала она,— я бы легла в больницу.

Мать метнула на нее сердитый взгляд, и она ретировалась. Миссис Фокс затворила дверь, подошла и присела на постель рядом с сыном.

— На сей раз я требую,— сказала она,— чтобы ты остался подольше и как следует отдохнул.

— На сей раз,— ответил он,— я останусь навсегда.

— Вот и чудесно! — воскликнула она.— Пусть у тебя тут будет маленький кабинет. По утрам ты будешь писать пьесы, а днем помогать в коровнике.

Он повернул к ней застывшее бледное лицо.

— Задерни шторы и дай мне поспать,— сказал он.

Она ушла, и некоторое время он лежал, разглядывая следы сырости на серых стенах. Из пятна в углу подтеки вычертили несколько сосулек, а на потолке, прямо над его кроватью, распластала крылья свирепая птица. В клюве ее поперечиной креста торчала длинная сосулька, а с крыльев и хвоста свисали сосульки поменьше. Птица эта парила на потолке, когда он был еще совсем маленьким, и ужасно раздражала его, а иной раз пугала. Ему часто мерещилось, что она шевелится и вот-вот опустится вниз и ткнет ему

сосулькой в голову. Он закрыл глаза и подумал: «Не так уж долго мне осталось смотреть на нее». С этой мыслью он и заснул.

Когда он проснулся далеко за полдень, над ним нависало розовое лицо с открытым ртом, а из больших столь знакомых ушей тянулись к его незащищенной груди черные трубочки Блокова фонендоскопа. Заметив, что он проснулся, доктор соорудил идиотскую рожу, свирепо выпучил глаза и скомандовал: «Скажи а-а-а!»

Детишки по всей округе просто души не чаяли в докторе Блоке. Они устраивали приступы рвоты и метались в лихорадке, лишь бы он навестил их. Позади Блока сияла улыбкой миссис Фокс.

— Вот и доктор Блок! — сказала она, словно поймала этого ангела на крыше и принесла своему малышу.

— Убери его отсюда, — пробормотал Эсбери. Он смотрел в дурацкое рововое лицо будто со дна черной ямы.

Доктор повел ушами и еще пристальнее вцепился в него взглядом. Блок был совершенно лысый, с круглым, бессмысленным, как у младенца, лицом. Ничто в его наружности не говорило об уме, разве только испытующий взгляд холодных, цвета никеля глаз, с бесстрастным любопытством устремляющихся на все, что бы он ни рассматривал.

— Паршиво выглядишь, — проворчал он, складывая фонендоскоп и прячя его в свой чемоданчик. — В твоём возрасте так не выглядят. Я по крайней мере других примеров не знаю. Как это ты себя довел до такого?

Что-то глухо билось у Эсбери в затылке, как будто сердце ненароком попало туда и теперь рвалось обратно.

— Я вас не звал, — сказал Эсбери.

Блок положил ладонь на его щеку и оттянул веко гневно сверкавшего глаза.

— Видно, неважнецки тебе жилось, — сказал он и начал прощупывать Эсбери поясницу. — Я разок и сам там побывал, — продолжал он, — посмотрел что к чему и скорей домой. Ничего хорошего. Открой-ка рот!

Эсбери машинально открыл рот. Глаза-буравчики обжали его глотку и ввинтились вглубь. Эсбери судорожно лягнул зубами и хриплым, срывающимся голосом сказал:

— Если бы я считал, что мне нужен врач, я бы остался, где был. Там хоть можно найти хорошего.

— Эсбери! — воскликнула мать.

— И давно у тебя болит горло? — спросил Блок.

— Это она вас позвала, — сказал Эсбери, — пусть она и отвечает.

— Эсбери! — повторила мать.

Блок наклонился и вытащил из чемоданчика резиновый жгут. Он закатал Эсбери рукав и наложил жгут пониже плеча. Потом достал шприц, примерился к вене и, напевая что-то себе под нос, воткнул иглу, Эсбери лежал, устремив в одну точку яростный оскорбленный взгляд — этот идиот вторгался в сокровенную тайну его крови! «Бог правду видит, — напевал Блок себе под нос, — да не скоро скажет...» Когда шприц наполнился, он вынул иглу.

— Кровь не совет, — сказал он. Выпустив содержимое шприца в бутылочку, он заткнул ее пробкой и поставил в чемодан.

— Эсбери, — начал он, — давно ли у тебя...

Эсбери сел.

— Я вас не звал, — сказал он, вскидывая пульсирующую голову, — и я не стану отвечать ни на один ваш вопрос. Вы не мой врач. И вам никогда не определить, что со мной, — это выше вашего понимания.

— Многое на свете выше моего понимания, — сказал Блок. — Толком-то я, пожалуй, еще вообще ничего не понял. — Он со вздохом поднялся. Глаза его поблескивали словно откуда-то издалека.

— Он очень болен, потому и грубит, — пояснила миссис Фокс. — А я хотела бы, чтобы вы приходили каждый день, пока не поставите его на ноги.

Глаза у Эсбери потемнели от ярости.

— Вам не определить, что со мной, это выше вашего понимания, — повторил он и лег на спину, закрыв глаза. Он не открывал их, пока Блок и мать не вышли из комнаты.

В последующие несколько дней, хотя ему становилось все хуже, мозг его работал с беспощадной ясностью. На грани смерти он пребывал в просветленном и возвышенном состоянии духа, и пустая болтовня матери особенно раздражала его. У нее только и было на уме, что коровы, какие-то там Маргаритки и Красавки со всеми интимными подробностями их жизни: у одной начался мастит, у другой обнаружили глисты, а у третьей слу-

чился выкидыш. Мать настояла, чтобы днем он выходил посидеть на веранде «полюбоваться видом», и, поскольку покориться было легче, чем спорить с ней, он тащился на веранду и, закутав ноги в плед, скрючившись в три погибели, сидел там, судорожно вцепившись в ручки кресла, словно боялся вдруг взвиться в слепящую синеву небес. Перед ним на четверть акра простирался газон — до колючей проволоки, отделявшей его от ближнего выгона. Там, под сенью деревьев, отдыхали коровы. Между двумя невысокими холмами поблескивал пруд, и мать любила, сидя на веранде, глядеть, как стадо переходит по плотине на противоположный берег. Картинку эту обрамляла стена деревьев, блекло-синих в ту пору дня, когда его заставляли отсиживать на веранде, печально напоминавших ему линиялы комбинезоны негров.

Он с раздражением слушал, как мать винит негров во всех смертных грехах.

— Да уж эта парочка себе на уме,— говорила она.— Они своего не упустят.

— А кому еще о них позаботиться,— пробормотал себе под нос Эсбери.

Спорить с ней не имело смысла. В прошлом году он писал пьесе, героем которой был негр, и ему захотелось пригласиться к ним поближе, послушать, что они сами думают о своей жизни. Но эти двое, как видно, с годами вообще потеряли способность думать. Да и говорить тоже. Один из них, по имени Морган, со светло-коричневой кожей, был наполовину индеец, второй, постарше, по имени Рэндолл, был толстый и очень черный. Когда им приходилось обращаться к нему, казалось, что они разговаривают не с ним, а с невидимкой, который стоит справа или слева от него, а его самого тут просто нет, и, проработав с ними бок о бок два дня, Эсбери понял, что никакого сближения не произошло. Тогда он решил перейти от слов к делу. И однажды, стоя возле Рэндола, когда тот прилаживал доилку, он преспокойно достал сигареты и закурил. Негр перестал возиться с доилкой и устался на него. Подождав, когда Эсбери сделает вторую затяжку, он сказал:

— Курить тут не велено. Хозяйка не велит.

Подошел Морган и, ухмыляясь, стал рядом.

— Знаю,— сказал Эсбери и, нарочно помедлив, встряхнул пачку и протянул ее сначала Рэндоллу, который взял одну сигарету, потом Моргану — тот тоже взял одну. По-

том он дал им обоим огонька, и теперь все трое стояли и курили. Было тихо, только мерно похлюпывали две доилки да корова время от времени шлепала себя по боку хвостом. Это была минута единения, минута равенства, когда казалось, будто и вовсе нет разницы между черными и белыми.

На следующий день с маслобойни вернули два бидона молока — оно пахло табаком. Эсбери взял вино на себя, сказал матери, что курил он один.

— Раз ты курил, значит, и они курили,— сказала она.— Уж я-то их знаю! — Она и мысли не допускала, что негры могут быть невиновны. Его же этот опыт единения столь подбодрил, что он решил его повторить.

На следующий день, когда они с Рэндолом сливали молоко в бидоны, Эсбери во внезапном порыве взял пластмассовый стаканчик, из которого негры пили воду, и, наполнив его теплым молоком, осушил до дна. Рэндол перестал сливать молоко и замер над бидоном, глядя на Эсбери.

— И это нельзя,— сказал он.— Вот уж это никак нельзя.

Эсбери снова наполнил стакан и протянул его Рэндолу.

— Так нельзя же,— повторил тот.

— Слушай,— резко сказал Эсбери.— В мире сейчас все меняется. И я после вас могу пить, и вы после меня. Ничего не случится.

— Нам-то и вообще это молоко пить не разрешается...— сказал Рэндол.

Но Эсбери все протягивал ему стакан.

— Выкурил же ты сигарету,— сказал он.— И молоко выпей. От трех стаканов у матери не убудет. Чтобы жить свободно, нужно мыслить свободно.

Подошел второй негр и стал у двери.

— Да ни к чему мне это молоко,— сказал Рэндол.

Эсбери круто повернулся к двери и протянул стакан Моргану.

— А ну-ка, друг, выпей ты,— сказал он.

Морган сначала молча смотрел на него, потом хитро прищурился.

— А сами-то небось не пьете! — сказал он.

Эсбери терпеть не мог молоко. Его замутило и от первого стакана. Однако он отпил еще полстакана и протянул остаток негру, который взял стакан, заглянул в него, сло-

вно в нем была сокрыта великая тайна, а потом поставил на пол возле холодильника.

— Ты что, не любишь молоко? — спросил Эсбери.

— Отчего же не люблю? Люблю,— сказал Морган,— а пить не стану.

— Почему?

— Нельзя. Хозяйка не велит,— сказал Морган.

— Ах ты, черт побери! — взорвался Эсбери.— Заладили: хозяйка, хозяйка!

Назавтра он попытался проделать тот же опыт, и на следующий день, и еще через день, но они не притронулись к молоку. А еще несколько дней спустя, подойдя к коровнику, он услышал, как Морган спросил:

— С чего это он повадился каждый день пить молоко? И ты ему позволяешь?

— Его дело,— сказал Рэндол.— А я свое знаю.

— И что это он так честит свою мамашу?

— А, видать, порола мало в детстве,— сказал Рэндол.

Эсбери стало тогда так невыносимо тошно, что он уехал в Нью-Йорк на два дня раньше. И сейчас он уже, по сути, не существует, он уже умер там, в Нью-Йорке, и терзает его лишь эта вынужденная задержка — сколько ему тут маяться? Конечно, он мог бы ускорить конец, однако самоубийство не будет победой. Смерть идет к нему сама, как торжество справедливости, как дар судьбы. Это его величайший триумф. К тому же умники соседи рассудят по-своему: значит, мать никудышная, если сын сам себя на тот свет отправил. На сей раз они угадали, но все же он был склонен пощадить ее и не подвергать публичному позору. Пусть истина откроется одной ей, когда она прочтет письмо. Он запечатал блокноты в плотный конверт и написал на нем: «Вскрыть только после смерти Эсбери Портера Фокса». Конверт он запер в ящике письменного стола, а ключ положил в карман пижамы — пока он еще не подыскал ему надежного места.

Когда они сидели днем на веранде, мать посчитала нужным среди прочего поговорить о чем-нибудь интересном для него. На третий день она заговорила о его работе.

— Когда ты поправишься,— сказала она,— хорошо бы тебе написать роман о твоих родных местах. Что-нибудь вроде «Унесенных ветром». Нам просто необходим еще один такой роман.

Он почувствовал, как у него сводит нутро.

— И обязательно вставь войну,— посоветовала она,— чтобы было подлиннее.

Он осторожно прислонился к спинке кресла, словно опасался, как бы не раскололась голова. Потом, выдержав паузу, сказал:

— Я не собираюсь писать никаких романов.

— Ну ладно,— сказала она,— если тебе не хочется писать роман, можешь писать просто стихи. Стихи — это так мило.

Она понимала, что ему нужен образованный собеседник, но единственный образованный человек, которого она знала, была Мэри Джордж, а с ней он говорить не станет. Был еще мистер Буш, удалившийся на покой методистский священник, но она все никак не решалась заговорить о нем с Эсбери. Наконец она рискнула.

— Знаешь, я думаю пригласить в гости доктора Буша,— сказала она, повысив его в звании.— Тебе будет интересно. Он собирает старинные монеты.

Она никак не ждала той реакции, которая последовала. Эсбери вдруг всего затрясло и из горла его вырвался громкий судорожный смех. Казалось, он вот-вот задохнется. Потом смех перешел в кашель.

— Если ты думаешь, что перед смертью я нуждаюсь в духовной поддержке,— сказал он,— ты глубоко ошибаешься. И уж во всяком случае, не этому ослу ее оказывать! Господи боже!

— Да я вовсе не это имела в виду,— сказала она.— У него такие редкие монеты, времен Клеопатры...

— Имей в виду, если он явится сюда, я пошлю его к черту,— заявил он.— Буш! Нет, это уж слишком.

— Очень рада, что тебя хоть что-то развеселило,— обиженно сказала она.

Несколько минут они молчали. Потом мать взглянула на него. Наклонясь вперед, Эсбери улыбался. Он улыбался все радостнее и радостнее, он просто сиял, как будто его вдруг осенила гениальная идея. Она с удивлением наблюдала за ним.

— Хочешь, я скажу тебе, с кем бы я хотел побеседовать? — сказал он.

Впервые со дня возвращения домой у него было добродушное выражение лица, и все же ей почудился какой-то подвох.

— С кем же? — спросила она подозрительно.

— С католическим патером,— сказал он.

— С патером? — недоверчиво переспросила мать.

— И лучше всего с иезуитом,— сказал он, по-прежнему радостно улыбаясь.— Да, именно с иезуитом. В городе они есть. Позвони и попроси, чтобы кто-нибудь ко мне приехал.

— Что это вдруг на тебя нашло? В чем дело? — спросила мать.

— Понимаешь ли, католики вообще люди образованные, во всяком случае, большинство из них,— сказал он,— но с иезуитами как-то вернее. С иезуитом можно поговорить не только про погоду.

Вспомнив Игнатия Вогла из Общества Иисусова, он представил себе будущего собеседника. Может быть, он будет чуть попроще, чуть более циничный. Иезуиты могут себе позволить быть циниками, пускать в ход любые средства. Их орден не даст их в обиду. Хоть поговорить перед смертью с образованным человеком в этой пустыне! К тому же мать просто изведется от злости. Как ему раньше не пришло это в голову!

— Но ты ведь исповедуешь другую веру,— сердито сказала миссис Фокс.— И до города отсюда двадцать миль. Кто же поедет в такую даль? — Она надеялась, что тем самым разговор исчерпан.

Но он уже загорелся своей идеей и твердо решил заставить мать позвонить — она всегда исполняла его желания, если он настаивал.

— Я умираю,— сказал он.— И это единственное, о чем я тебя прошу. Неужели ты мне откажешь?

— Ты не умираешь!

— Когда ты наконец это поймешь,— сказал он,— будет слишком поздно.

Снова наступила тягостная тишина. Потом мать сказала:

— В наше время врачи не дают молодым людям умереть. Они лечат их новыми лекарствами.— И она закачала ногой с раздражающей уверенностью.— Умереть теперь не так просто, не то что в прежние времена.

— Мама,— сказал он,— ты должна быть готова. Думаю, даже Блок это понимает, просто он тебе еще не сказал.

Блок теперь каждый день приходил хмурый, не строил рож и не отпускал шуточек, а молча брал кровь, и его никелевые глазки враждебно поблескивали. Он был врагом

смерти по должности и призванию, и сейчас вид у него был такой, словно он знал, с каким сильным противником схватился. Он не будет прописывать никаких лекарств, пока не поймет, в чем дело,— сказал он как-то, и Эсбери тогда рассмеялся ему в лицо.

— Мама, поверь мне, я умираю.— Он старался выговорить каждое слово так, чтобы оно обрушилось ей на голову, точно удар молотка.

Мать слегка побледнела, однако не сдалась.

— Неужели ты мог хоть на мгновение подумать, что я вот так просто дам тебе умереть? — сердито сказала она, и глаза ее стали твердыми, как две горные вершины, видневшиеся вдаль. Его же впервые за все это время кольнуло сомнение.— Неужели ты мог?

— Но что же ты сделаешь? — дрогнувшим голосом спросил он.

В ответ она только хмыкнула, затем встала и ушла с веранды, всем своим видом говоря, что не намерена больше ни секунды слушать эту чепуху.

Позабыв про иезуита, он поспешно перебрал в уме все свои симптомы: приступы лихорадки участились, у него едва достаёт сил выползти на веранду, еда ему отвратительна. Нет, Блок не мог сказать ей ничего утешительного. Вот и сейчас, сидя здесь, он почувствовал, как его снова начинает пробирать озноб, будто смерть уже заигрывала с ним, постукивая его костями. Он стянул с ног плед, закутался в него и, пошатываясь, стал подниматься по лестнице.

Ему становилось все хуже. За несколько дней он так ослабел и так упорно донимал мать, требуя к себе иезуита, что в конце концов в порыве отчаяния она сдалась — что ж, пусть себя потешит, если ему так хочется. Она позвонила и ледяным голосом объяснила, что у нее болен сын, может быть, он даже немного не в своем уме, но он хочет побеседовать со священником. Пока она говорила, Эсбери, босой, накинув плед, подслушивал, свесившись через перила. Едва она положила трубку, он окликнул ее и спросил, когда придет священник.

— Завтра в течение дня,— раздраженно ответила мать.

Все-таки она позвонила — значит, ее уверенность несколько поколебалась. Теперь всякий раз, когда она впускала или провожала Блока, они долго шептались в холле. В тот вечер он слышал, как мать и Мэри Джордж тихонько

разговаривали в гостиной. Ему показалось, что называют его имя; он встал с постели, вышел на лестничную площадку и спустился на три ступеньки. Голоса зазвучали более отчетливо.

— Не могла я не позвать этого священника,— говорила мать.— Боюсь, с ним что-то серьезное. Сначала я думала, это просто нервы, но, видно, он болен по-настоящему. Доктор Блок тоже так считает. Беда еще в том, что он поддался болезни.

— Брось ты эти глупости, мама,— сказала Мэри Джордж,— сколько раз я тебе говорила: никакая это не болезнь, это все чисто психосоматическое.

Ну как же, она одна все знает, все понимает!

— Нет, нет,— сказала мать,— он очень болен. Вот и доктор говорит...

Голос у нее оборвался. Или ему почудилось?

— Блок идиот,— сказала Мэри Джордж.— А тебе пора бы взглянуть правде в глаза: писать Эсбери не может, вот он и прячется в болезнь. Придумал себе новую роль — будет изображать тяжелобольного. Знаешь, что ему требуется?

— Что? — спросила мать.

— Два-три сеанса электрошока,— сказала Мэри Джордж,— чтобы раз и навсегда выбить эту писательскую дурь у него из башки.

Мать испуганно ахнула, а Эсбери крепче вцепился в перила.

— Попомни мои слова,— продолжала сестра,— он проторчит в этом доме еще лет пятьдесят — в качестве украшения.

Эсбери вернулся к себе. Может быть, Мэри Джордж и права. Он не преуспел в служении своему богу — искусству, но он был верным слугой и потому в награду ему ниспосылается смерть. С самого начала какое-то мистическое чувство подсказывало ему, что так случится. Он заснул с мыслью о тихом семейном кладбище, где он скоро будет лежать, и во сне увидел, как его медленно несут туда, на кладбище, а мать и Мэри Джордж равнодушно смотрят вслед, сидя на веранде в креслах. Гроб понесли через плотину, и мать с сестрой перевели взгляд на пруд, где процессия двигалась вверх ногами. В отдалении за процессией неотступно следует худая темная фигура в черном одеянии. На лице у незнакомца странное выражение — смесь

аскетизма и порока. Эсбери опустили в неглубокую могилу на склоне холма, и смутные тени провожающих, помедлив в молчании, рассеялись по темнеющему лугу. Иезуит отступил под засохшее дерево и в раздумье закурил. Взошла луна, и тут Эсбери ощутил чье-то присутствие, кто-то склонился над ним, легкое теплое дыхание коснулось его холодного лба. Он знал, что это Искусство пришло пробудить его, и он сел и открыл глаза. На другом берегу сиял огнями дом матери, а черная гладь пруда была усыпана блестящими никелевыми звездочками. Иезуит исчез. В лунном свете паслись на лугу коровы, и большая пестрая корова подошла к нему и стала мягко облизывать его голову, словно это был ком соли. Эсбери задрожал и проснулся — простыни были мокрые от пота, его бил озноб, и, сидя в темноте, он понял, что до конца осталось совсем немного. Он заглянул в самый кратер смерти и снова упал на подушки.

На следующий день мать заметила на его изможденном лице то отрешенное, неземное смирение, какое бывает у смертельно больных детей, когда им до времени устраивают елку. Сидя в постели, он распорядился, как расставить стулья, и велел матери снять картину, на которой была изображена дева, прикованная цепями к скале, — он знал, что у иезуита эта картина вызовет улыбку. Удобное кресло-качалку он велел убрать вообще, и, когда все его требования были выполнены, пустая комната с подтеками на голых стенах стала похожа на монастырскую келью. Он решил, что теперь она как раз во вкусе гостя.

Все утро он ждал, раздраженно поглядывая на потолок, где, казалось тоже в ожидании гостя, парила птица с сосулькой в клюве. Но священник прибыл лишь под вечер. Мать отворила парадную дверь, и Эсбери услышал, как в холле внизу загудел громкий голос — слов он разобрать не мог. Сердце у него заколотилось. Громко заскрипели ступеньки лестницы, и почти тут же вошла мать с напряженным лицом, а следом за ней тучный старик. Тяжело ступая, он подошел к кровати, взял стоявший рядом стул и подсунул его под себя.

— Я отец Финн. Из Ордена, — дружески сообщил он. У него было широкое красное лицо, жесткий ежик седых волос и бельмо на одном глазу, зато здоровый глаз, голубой и ясный, в упор уставился на Эсбери. На жилете отца Финна виднелось жирное пятно.

— Ты хочешь побеседовать со священником? — сказал он. — Разумно. Никому не дано знать, когда призовет его господь. — Он многозначительно устремил свой здоровый глаз на мать Эсбери. — Благодарю вас, теперь вы можете нас покинуть, — сказал он.

Миссис Фокс не шевельнулась, она словно застыла.

— Мне хотелось бы поговорить с отцом Финном наедине, — сказал Эсбери, почувствовав, что неожиданно приобрел союзника, хотя священник оказался совсем не таким, как он ожидал.

Мать метнула на него негодующий взгляд и удалилась. Далеко она не уйдет, он это знал, будет стоять под дверью.

— Как хорошо, что вы пришли, — сказал Эсбери. — Здесь так тоскливо. Интеллигентному человеку не с кем слова сказать. Интересно, преподобный отец, что вы думаете о Джойсе?

Священник привстал вместе со стулом и сел поближе.

— Придется тебе кричать, — сказал он. — Слеп на левый глаз и глух на правое ухо.

— Что вы думаете о Джойсе? — спросил Эсбери громче.

— Это какой Джойс? — спросил священник.

— Джеймс Джойс, — сказал Эсбери и засмеялся.

Священник махнул своей огромной ручищей, словно ему докучали комары.

— Я с ним не знаком, — сказал он. — А скажи-ка, молишься ли ты на ночь и по утрам?

Эсбери несколько растерялся.

— Джойс был великим писателем, — пробормотал он, забыв, что надо кричать.

— Не молишься, стало быть? — сказал священник. — Ты никогда не преисполнишься добродетели, если не будешь регулярно молиться. Ты не сможешь возлюбить Иисуса, если не будешь говорить с ним.

— Меня всегда привлекал миф об умирающем боге! — прокричал Эсбери, но священник, как видно, не разобрал.

— Трудно ли тебе соблюдать себя в чистоте? — спросил он Эсбери и, видя, что тот побледнел, продолжал, не дожидаясь ответа: — Все мы грешны, но ты должен молиться, и святой дух поможет тебе быть чистым помыслами, душой и телом. Ничего не достигнешь без молитвы. Молись вместе со своими родными. Ты молишься вместе со своими родными?

— Упаси боже... — пробормотал Эсбери себе под нос и закричал: — У матери нет времени на молитвы, а сестра — атеистка.

— Прискорбно! — сказал священник. — Тогда ты должен молиться и за них.

— Кто может творить — молится своим творчеством, — бросил Эсбери.

— Этого мало! — отрезал священник. — Если ты не молишься каждый день, твоя бессмертная душа пребывает в небрежении! А катехизис ты знаешь?

— Еще чего! — буркнул Эсбери.

— Кто тебя создал? — воинственно спросил священник.

— На этот счет существуют разные мнения, — сказал Эсбери.

— Бог тебя создал, — коротко пояснил священник, — Что есть бог?

— Бог есть идея, сотворенная человеком, — сказал Эсбери, чувствуя, что входит во вкус этой игры.

— Бог есть дух бесконечно совершенный, — сказал священник. — Ты очень невежественный юноша. Для чего бог создал тебя?

— Бог меня не...

— Бог создал тебя, чтобы ты знал его, любил его, служил ему в этой жизни и радовался ему в будущей! — отбарабанил священник. — Если ты не учишь катехизис, откуда же тебе узнать, как спасти свою бессмертную душу?

Эсбери понял, что совершил ошибку и пора избавиться от старого дурака.

— Послушайте, — сказал он, — я не католик.

— Это не оправдание, все равно ты должен молиться! — проворчал старик.

Эсбери в изнеможении откинулся на подушки.

— Я умираю! — крикнул он.

— Но ты еще не умер, — сказал священник. — И как ты предстанешь перед господом богом, если ты ни разу не говорил с ним? Что ты надеешься получить, если ты ни о чем его не просил? Разве бог пошлет святого духа тому, кто не просил об этом? Моли его послать тебе святого духа.

— Святого духа? — переспросил Эсбери.

— Неужели ты так невежествен, что никогда не слышал о святом духе? — спросил священник.

— О святом духе я, конечно, слышал,— в бешенстве ответил Эсбери.— Но вот уже в ком я меньше всего нуждаюсь, так это в святом духе.

— Ты его и не дождешься,— сказал священник, и его зрячий глаз вспыхнул лютым огнем.— Ты хочешь, чтобы душа твоя была проклята навеки? Хочешь навечно лишиться бога? Хочешь принять муку страшнее огня — муку утраты? И вечно мучиться этой мукой?

Эсбери беспомощно задвигал руками и ногами, словно этот жуткий глаз пришили его к постели.

— Как святой дух снизойдет в твою душу, если она полна скверны? — ревел священник.— Святой дух не явится тебе, пока ты не увидишь себя таким, каков ты есть — ленивым самодовольным невеждой,— сказал он, стуча кулаком по столику у кровати.

В комнату ворвалась миссис Фокс.

— Хватит! — крикнула она.— Как вы смеете так говорить с несчастным больным мальчиком?! Доводить его до такого состояния! Лучше уходите отсюда!

— Да он, бедняга, даже не знает катехизиса,— сказал, поднимаясь, священник.— Вы должны были приучить его к ежедневной молитве. Вы пренебрегли своими материнскими обязанностями.— Он снова повернулся к кровати и милостиво изрек: — Я дам тебе мое благословение, но отныне ты должен молиться, неукоснительно, каждый день.— Старик возложил руку на голову Эсбери и пробубнил что-то по-латыни.— Можешь вызвать меня в любое время, мы с тобой еще потолкуем,— сказал он и двинулся следом за миссис Фокс, твердо направившейся к двери. До Эсбери донеслись его последние слова: — Он у вас, в общем-то, неплохой парень, только уж очень невежественный.

Избавившись от священника, мать поспешно вернулась в комнату, чтобы еще раз сказать Эсбери, что она все это предвидела и предупреждала его. Но он сидел в постели бледный, с перекошенным лицом, уставясь перед собой большими глазами испуганного ребенка, и у нее не хватило духу попрекнуть его. Столь же поспешно она удалилась.

К утру он так ослабел, что мать приняла решение отправить его в больницу.

— Не поеду ни в какую больницу,— твердил он, крутя пульсирующей от боли головой, словно пытаюсь оторвать ее напроць.— Пока я в сознании, не поеду ни в какую больницу.

Он с горечью подумал, что стоит ему потерять сознание, и она-таки уволочет его в больницу, где его накачают чужой кровью и лишь бессмысленно продлят страдания. Конец уже совсем близок — он был в этом убежден, быть может, это случится даже сегодня, и теперь Эсбери терзали мысли о бесполезно прожитой жизни. Ему представилось, что он скорлупа, которую надо чем-то наполнить, только он не знал чем. Он в последний раз обвел взглядом комнату: нелепую старинную мебель, узор на ковре, глупую картину, которую мать снова повесила на стену. Он даже поглядел на свирепую птицу с сосулькой в клюве и понял, что она не случайно там, что у нее есть какое-то свое предназначение, только он не может его отгадать.

Он должен был найти что-то, перед тем как умрет, пережить какое-то самое значительное, самое важное в его жизни откровение — должен сам придумать его для себя, дойти до него собственным умом. Он всегда полагался только на себя и никогда не хныкал, не ныл в тоске по несбыточному.

Однажды, когда Мэри Джордж было тринадцать лет, а ему пять, она, посулив ему какой-то загадочный подарок, заманила его в огромный шатер, полный народу, и, протаскив сквозь толпу к помосту, где стоял человек в синем пиджаке и красно-белом галстуке, громко сказала: «Я-то уже спасенная, а вот теперь спасите его. Он премерзкий мальчишка и уже очень о себе воображает». Эсбери вырвался от нее и выскочил оттуда, как затравленный щенок, а потом все-таки попросил у нее обещанный подарок, на что она ответила: «Вот и получил бы в подарок вечное спасение, если бы потерпел, а раз ты такой дурак, то не получишь ничего!»

День близился к концу, и теперь он сходил с ума от страха, что умрет, так и не пережив этого последнего самого важного откровения. Встревоженная мать не отходила от его постели. Она дважды звонила Блоку, но не могла его застать. Эсбери подумал, что даже сейчас она не понимает, что конец его совсем близок, осталось всего каких-нибудь несколько часов.

Свет в комнате начал странно изменяться, казалось, он принимает чей-то облик. Он вошел сгустившейся тенью и словно бы приостановился в ожидании. И за окном он тоже ждал, затаясь в блеклой кромке деревьев, выступавшей над подоконником. И вдруг Эсбери вспомнил то чувство

общности, которое испытал, когда курил вместе с неграми в коровнике, и задрожал от волнения. Еще один раз, напоследок, они выкурят вместе по сигарете!

И тут же, повернувшись к матери, он сказал:

— Мама, я хочу попрощаться с неграми.

Мать побледнела, и ему показалось, что лицо ее сейчас отделится от тела и уплывет в сторону. Затем ее губы отвердели, брови сошлись на переносице.

— Прощаться? — спросила она слабым голосом. — Куда это ты собрался?

Он посмотрел на нее долгим взглядом, потом сказал:

— Ты знаешь куда. Позови их. Времени осталось мало.

— Чепуха какая! — прошептала она, но встала и поспешно вышла из комнаты. Он слышал, как по пути она еще раз пыталась дозвониться Блоку. Это даже трогательно, подумал он, что в эти последние минуты она все еще цепляется за Блока. Он ждал, он приготовился к предстоящей встрече, как верующий приготовился бы к последнему причастию. Вскоре он услышал на лестнице их шаги.

— Вот и Рэндол с Морганом, — сказала мать, вводя их. — Пришли тебя проведать.

Негры, шаркая ногами и несмело улыбаясь, прошли через комнату и стали у его кровати: впереди Рэндол, за ним Морган.

— А вы молодцом, — сказал один. — Совсем молодцом.

— И впрямь молодцом, — сказал другой. — Давно вас таким не видел.

— Правда, он молодцом? — сказала мать. — Вот и я ему говорю.

— Истинная правда, — сказал Рэндол. — Даже и не похоже, что хвораете.

— Мама, — с усилием сказал Эсбери. — Я хотел бы поговорить с ними наедине.

Мать на мгновение оцепенела, затем, тяжело ступая, вышла, пересекла холл и, войдя в комнату напротив, опустилась там в кресло-качалку. Он видел в открытую дверь, как она нервно закачалась взад-вперед. У негров был такой вид, будто рухнула их последняя защита.

Эсбери не помнил, что он хотел сделать, голова его клонилась от тяжести.

— Я умираю, — сказал он.

Улыбка застыла на губах Рэндола и Моргана.

— А по виду не скажешь, — сказал Рэндол.

— Я скоро умру,— повторил Эсбери. Затем с облегчением вспомнил, что собирался выкурить с ними по сигарете. Он дотянулся до пачки на столике, взял ее и, забыв встряхнуть, протянул Рэндолу.

Негр взял пачку и положил ее в карман.

— Вот спасибо-то вам. Уж такой вы добрый.

Эсбери смотрел на него недоуменным взглядом, будто опять позабыл, что ему надо делать. Но тут он заметил бесконечную печаль на лице второго негра, а потом понял, что лицо у него скорее угрюмое, чем печальное. Он пошарил в ящике столика, вытащил оттуда еще одну, нераспечатанную, пачку и сунул ее Моргану.

— Большое спасибо, мистер Эсбери,— просияв, сказал Морган,— и правда вы молодцом!

— Я вот-вот умру,— раздраженно сказал Эсбери.

— Да нет, вы совсем молодцом,— сказал Рэндол.

— Денек-другой полежите и, глядишь, встанете,— посулил ему Морган. Казалось, оба не знали, куда спрятать глаза. Эсбери бросил затравленный взгляд через холл туда, где мать, повернув кресло-качалку, сидела теперь к нему спиной. Она, как видно, не имела ни малейшего намерения избавить его от них.

— Должно, простыли где-нибудь,— немного погодя сказал Рэндол.

— А я, как простыну, пью немножко скипидару с сахаром,— сказал Морган.

— Помолчи ты,— сказал Рэндол.

— Сам помолчи,— сказал Морган.— Мне лучше знать, что я пью.

— Они такого не пьют, что наш брат пьет,— проворчал Рэндол.

— Мама! — дрогнувшим голосом позвал Эсбери.

Мать встала с кресла.

— Мистеру Эсбери вредно так долго разговаривать! — крикнула она.— Завтра еще зайдете.

— Ну, мы пошли,— сказал Рэндол.— А вы молодцом!

— Это точно,— сказал Морган.

И они друг за другом двинулись к двери, продолжая толковать о том, как прекрасно он выглядит, но еще прежде, чем они вышли из комнаты, перед глазами у Эсбери все поплыло. В дверях тенью мелькнула фигура матери и сразу же исчезла на лестнице. Он услышал, что она опять звонит Блоку,— слушал без всякого интереса. Кружилась

голова. Теперь он знал, что никакого откровения перед смертью не будет. Значит, оставалось сделать только одно дело: отдать ей ключ от ящика, где лежит письмо, и ждать конца.

Он впал в тяжкий сон, от которого очнулся около пяти часов и, словно в глубине темного колодца, увидел очень маленькое белое лицо матери. Он достал из кармана пижамы ключ, протянул ей и, запинаясь, объяснил, что в ящике стола лежит письмо, которое она должна прочитать, когда его уже не будет, но она, как видно, ничего не поняла. Она положила ключ на столик возле кровати и там оставила, а Эсбери снова погрузился в сон, и два огромных жернова закрутились у него в голове.

После шести он услышал в полусне, как внизу, у подъезда, остановился автомобиль Блока. Эсбери словно кто-то окликнул, и он проснулся окончательно, с совершенно ясной головой. И вдруг его охватило жуткое предчувствие, что судьба уготовила ему нечто такое, чего он даже не мог вообразить. Он замер, как животное перед землетрясением.

Блок и мать поднимались по лестнице, громко разговаривая, но слов он не различал. Первым вошел Блок и построил ему веселую рожу; из-за его спины улыбалась мать.

— Знаешь, что у тебя, солнышко? — воскликнула она. Голос ее грянул над ним подобно выстрелу.

— Как, микроб, ты ни хитрил, старый Блок тебя схватил! — пропел Блок, плюхаясь в кресло возле кровати. Жестом боксера-победителя он вскинул руки над головой и сразу же уронил их на колени, словно это движение вконец изнурило его. Затем он извлек красный шутовской платок и начал старательно промокать им лицо, причем каждый раз, когда он отнимал платок, на лице у него появлялось другое выражение.

— Вы такой умница, просто все на свете знаете! — сказала миссис Фокс. — Эсбери, — продолжала она, — у тебя бруцеллёз. Излечивается довольно трудно, но от него не умирают. — Мать так сияла улыбкой, что резало глаза, как от лампочки без абажура. — Я так счастлива!

Эсбери медленно приподнялся, потом снова упал на подушки. На лице его ничего не отразилось.

Блок с улыбкой склонился над ним.

— Ты не умрешь, — сказал он с глубочайшим удовлетворением.

В Эсбери, казалось, все затаилось. Все, кроме глаз. Они тоже смотрели неподвижно, но где-то в их туманной глубине было еле приметное движение, словно там что-то слабо сопротивлялось. Взгляд Блока проник туда, как стальная булавка, приколол это что-то и держал до тех пор, пока оно не испустило дух.

— Бруцеллёз не такая уж страшная штука, Эсбери,— сказал он.— Это то же, что у коров болезнь Банга.

Юноша издал глухой стон и снова затих.

— Наверно, пил там в Нью-Йорке сырое молоко,— прошептала мать, и оба они на цыпочках удалились, как видно решив, что он засыпает.

Когда на лестнице стихли их шаги, Эсбери снова сел. Он осторожно, украдкой, повернул голову и бросил взгляд на то место, куда мать положила отданный ей ключ. Рука его быстро протянулась к столику, он схватил ключ и снова спрятал в карман. Потом взглянул в овальное зеркало, стоявшее на комодике у противоположной стены. Из зеркала на него глянули все те же глаза, что смотрели каждый день, но ему показалось, что они посветлели. Они будто очистились страхом, готовясь встретить какое-то ужасное видение. Он вздрогнул и поспешно перевел взгляд на окно. Из-под лилового облака безмятежно выплыло слепящее, червонного золота солнце. Ниже на алом небе чернела ломаной линией полоса деревьев — хрупкая преграда, которую он воздвиг в своем воображении, чтобы защитить себя от того, что близилось. Эсбери откинулся на подушки и стал смотреть в потолок. Тяжкая боль, так долго терзавшая его тело, притупилась. Старая жизнь в нем иссякла. Он ожидал прихода новой. И тут он почувствовал, как подступает озноб, но озноб такой странный, такой легкий, словно теплая рябь на поверхности холодных морских вод. Дыхание его стало прерывистым. Свирепая птица, в таинственном ожидании парившая над его головой все детство и всю болезнь, взмахнула вдруг крыльями. Эсбери побелел от ужаса, и с глаз его будто вихрем сорвало последнюю плену заблуждения. Он понял, что до самого конца, измученный и хилый, покорно влача череду дней, он будет жить в этом всеочищающем страхе. Из уст его вырвался слабый стон — последний тщетный протест. Но святой дух — не жарким пламенем, а ледящей стынью — неотвратимо нисходил к нему.



Приемная врача была почти полна, когда в нее вошли супруги Терпин, и с появлением высокой, полной миссис Терпин небольшое помещение показалось и вовсе крошечным. Она встала у столика с журналами живым укором немислимой тесноте этой комнатенки. Быстро окинула пациентов острым взглядом маленьких черных глаз, высматривая, куда бы сесть. Был один свободный стул и место на кушетке возле светленького мальчика в грязном синем комбинезоне, только следовало ему сказать, чтобы он подвинулся и дал сесть тете. Мальчику было лет пять или шесть, однако миссис Терпин сразу поняла, что никто ему не скажет, чтобы он подвинулся. Он сидел, развалившись, раскинув вялые руки и вяло глядя перед собой, из носу у него текло.

Миссис Терпин решительно положила руку Клоду на плечо, сказала так, чтобы слышали все, кому хочется слышать: «Вон есть место, Клод, садись», — и слегка подтолкнула его к свободному стулу. Клод был краснолицый, лысый и плечистый, ростом лишь чуть пониже миссис Тер-

пин, но он послушно сел, точно привык делать все, что она велит.

Миссис Терпин осталась стоять. Единственный, кроме Клода, мужчина в приемной был тощий жилистый старик, он сидел, выложив на колени узловатые руки, и глаза у него были закрыты, будто он спал, или умер, или делал вид, что спит или умер, чтобы не вставать и не уступать ей место. Взгляд миссис Терпин с удовольствием остановился на хорошо одетой седой даме, которая смотрела на нее с таким выражением, словно хотела сказать: «Если бы этот мальчик был мой сын, он бы умел себя вести и давно подвинулся бы — места на кушетке хватит и вам, и ему».

Клод со вздохом поглядел на жену и сделал движение встать.

— Сиди, сиди, — сказала миссис Терпин. — Тебе нельзя стоять, ты же знаешь. У него на ноге язва, — объяснила она присутствующим.

Клод поставил ногу на журнальный столик и отвернул брючину: на плотной синевато-белой икре краснела вздувшаяся рана.

— Боже мой, — сказала симпатичная дама. — Отчего это у вас?

— Корова его лягнула, — ответила миссис Терпин.

— Какой ужас! — сказала дама.

Клод опустил брючину.

— Может быть, мальчик подвинется? — предложила дама, но мальчик не шевельнулся.

— Сейчас, наверное, кого-нибудь вызовут, — сказала миссис Терпин.

Она не понимала, почему это врач — ведь они зарабатывают такие деньги, в больнице платишь по пять долларов в день только за то, что они сунут голову в дверь и на тебя посмотрят, — не может завести себе приемную попросторнее. Эта мала до неприличия. На столике лежали обтрепанные журналы, стоящая с краю большая пепельница из зеленого стекла полна окурков и ватных тампонов со следами крови. Если бы миссис Терпин была здесь хозяйкой, пепельницу вытряхивали бы по двадцать раз на день. У дальней стены стульев не было. В ней было проделано квадратное окошко в комнату рядом с кабинетом доктора, куда то и дело входила сестра, а секретарша сидела и слушала радио. На окошке стоял выкрашенный золотой краской горшок с пластмассовым папоротником, листья кото-

рого спускались до самого пола. Из приемника доносилось негромкое церковное пение.

Дверь рядом с квадратным окошком приоткрылась, выглянула сестра с высоченной копной желтых волос и пригласила следующего. Женщина возле Клода уперлась руками в подлокотники и встала, обдернула юбку и проковыляла к двери, за которой исчезла сестра.

Миссис Терпин опустилась в освободившееся кресло, и оно сжало ее, словно корсет.

— Ох, худеть надо,— сказала она, с комическим вздохом закатывая глаза.

— Вы вовсе не такая полная,— сказала хорошо одетая дама.

— Еще какая полная,— сказала миссис Терпин.— Вот Клод, например, ест все, что хочет, и не прибавляет в весе, а я только погляжу на что-нибудь вкусное — и уже потолстела.— Плечи и живот у нее затряслись от смеха.— Правда, ты можешь есть все, что хочешь, Клод? — спросила она, оборачиваясь к мужу.

Тот вместо ответа ухмыльнулся.

— По-моему, совершенно неважно, сколько вы весите,— сказала хорошо одетая дама,— если у вас такой легкий характер. Легкий характер — это все.

Рядом с дамой сидела очень толстая девушка лет девятнадцати и, сердито хмурясь, читала большую книгу в синей обложке; книга эта, как заметила миссис Терпин, называлась «Развитие человечества». Девушка подняла голову и сердито посмотрела на миссис Терпин, будто та ей чем-то не понравилась. Наверное, ее раздражало, что в комнате разговаривают и мешают ей читать. Лицо у бедняжки было сплошь покрыто угрями, и миссис Терпин подумала, как жалко, когда у девушки в таком возрасте такое лицо. Она дружелюбно улыбнулась ей, но та лишь сильнее нахмурилась. Миссис Терпин вон и сама не из худеньких, но кожа у нее всегда была прекрасная и, хоть ей сейчас сорок семь лет, на лице ни морщинки, только вокруг глаз — от того, что слишком много смеется.

За некрасивой девушкой сидел мальчик, все так же разваливаясь и глядя перед собой, а возле мальчика — худая, высохшая старуха в пестром ситцевом платье. У миссис Терпин с Клодом лежали в сарае три мешка корма для кур, так мешковина была точно такой расцветки. Она с первого взгляда поняла, что мальчик пришел со старухой. Сразу

видно, белая голытьба, усталились и сидят себе, и, кажется, не позови их, так и просидят до второго пришествия. Возле хорошо одетой дамы, но уже у другой стены, сидела женщина с длинным, худым лицом — конечно, мать мальчика. На ней был желтый бумажный свитер и бордовые брюки, все какое-то замызганное, грязные желтые волосы связаны сзади красной тесемкой, на губах следы табачного сока. Негры и те лучше, честное слово, подумала миссис Терпин.

По радио пели:

Взглянул на небо я —
С высот взглянул творец.
Ах, скоро я надену
Золотой венец.

Миссис Терпин всегда незаметно разглядывала, кто как обут. У хорошо одетой дамы на ногах были серые с красным замшевые туфли в тон платью. У самой миссис Терпин ее любимые черные лакированные лодочки. Неприглядная девушка — в школьных туфлях без каблуков и в толстых носках. Старуха — в теннисных туфлях, а мать мальчика — в каких-то шлепанцах из черной соломки с золотой ниткой: от такой неряхи другого и не жди.

Когда миссис Терпин не спалось по ночам, она лежала и размышляла, кем бы она согласилась стать, если бы ей нельзя было родиться собой. Например, призывает ее господь, прежде чем сотворить, и говорит: «Ты можешь быть или негритянкой, или белой голытьбой. Других мест для тебя у меня нет», — что бы она ему на это ответила? «Прошу тебя, господи, — ответила бы она ему, — позволь мне подождать, пока освободится какое-нибудь другое место». Но он говорит ей: «Нет, ты должна родиться сейчас, и, кроме этих двух мест, я ничего тебе предложить не могу, так что выбирай». Она просит и молит его, убеждает, придумывает всякие отговорки, но он неумолим, и наконец она соглашается: «Ну, ладно, — говорит она, — тогда сотвори меня негритянкой, только пусть я буду хорошая, добропорядочная негритянка, а не какая-нибудь неряха». И господь сотворяет ее негритянкой — скромной, аккуратной, всеми уважаемой, словом, такой, какая она и есть, только с черной кожей.

Рядом с матерью мальчика сидела рыжая женщина, довольно еще молодая, она читала журнал, который взяла со

столика, и жевала жевательную резинку — вó дает, сказал бы Клод. Ног ее миссис Терпин не было видно. Женщина эта была не голытьба, однако ж так себе, не слишком высокого полета птица. Миссис Терпин, когда у нее случалась бессонница, любила также расставлять людей по ступенькам лестницы. На самую нижнюю она ставила негров, не таких, какой была бы она, если бы родилась с черной кожей, а каких большинство; дальше — не над неграми, а на той же ступеньке, только с другого краю — шла белая голытьба; выше находились домовладельцы, еще выше — домо- и землевладельцы, и к ним принадлежали миссис Терпин с Клодом. Над миссис Терпин с Клодом стояли богачи, у которых и дома просторнее, и земли больше. Но тут миссис Терпин начинала сбиваться, потому что некоторые богачи были без роду без племени и, значит, ниже их с Клодом, а люди из хороших, старых семей разорялись и вынуждены были сдавать свою землю в аренду, да к тому ж еще имелись цветные, которые владели и домами и землей. Например, здесь, в городе, жил зубной врач негр, у которого было два красных «линкольна», плавательный бассейн и ферма, а на ферме — стадо породистых коров с белой отметиной на лбу. И вот расставленные по ступенькам люди начинали кружиться в голове у миссис Терпин, как на карусели, и, когда ее наконец смаривал сон, ей снилось, что всех их погрузили в товарные вагоны и везут в газовые камеры жечь.

— Какие красивые часы, — сказала она, кивая головой направо, где висели большие стенные часы с медным циферблатом в виде солнца с расходящимися лучами.

— Да, очень славные, — с готовностью согласилась хорошо одетая дама. — И точные, — добавила она, взглянув на свои часики.

Сидящая рядом с дамой некрасивая девушка подняла глаза на часы, хмыкнула, посмотрела прямо в глаза миссис Терпин и хмыкнула еще раз. Потом снова уткнулась в книгу. Это были, конечно, мать и дочь, потому что, хотя нравом они и отличались друг от друга, овал лица у обеих был одинаковый и одинаковые голубые глаза. Только у дамы они приветливо светились, а на болезненно бледном лице девушки то угрюмо тлели, то вспыхивали.

А если бы господь сказал миссис Терпин: «Ладно, могу сотворить тебя белой голытьбой, негритяжкой или уродливой?»

Ей было ужасно жалко девушку, хотя, конечно, и с таким некрасивым лицом необязательно так некрасиво вести себя.

Женщина со следами табачного сока на губах повернулась всем корпусом и поглядела на часы. Потом повернулась обратно и поглядела вроде бы в сторону миссис Терпин. Один глаз у нее косил.

— Хотите знать, где берут такие? — громко спросила она.

— Нет, у меня дома есть неплохие часы,— сказала миссис Терпин. Если такая особа влезет в разговор, то пиши пропало — никому больше не даст и рта раскрыть.

— Вы можете купить их на зеленые купоны,— сказала женщина.— Он их, наверное, тоже на зеленые купоны купил. На них можно что угодно купить, нужно только собрать побольше. Я, например, купила себе ожерелье.

«Лучше бы ты мыло с мочалкой купила»,— подумала миссис Терпин.

— А я — простыни, которые натягиваются на матрас,— сказала симпатичная дама.

Дочь с треском захлопнула книгу. Глаза ее глядели прямо перед собой, сквозь миссис Терпин, сквозь желтую занавеску и стекло большого, во всю стену, окна, у которого та сидела. В них зажегся странный, неестественный свет, каким отсвечивают ночью дорожные знаки. Миссис Терпин оглянулась посмотреть, не происходит ли что-нибудь интересное на улице, но ничего не увидела. На занавеске мелькали лишь смутные тени прохожих. Почему девушка смотрит на нее с такой злобой, непонятно.

— Мисс Финли,— сказала сестра, приоткрыв дверь.

Жующая резинку женщина встала и прошла в кабинет мимо миссис Терпин и Клода. Она была обута в красные туфли на высоких каблуках.

Глаза некрасивой девушки в упор глядели через столик на миссис Терпин, словно у девушки были особые причины ее невзлюбить.

— Чудесная стоит погода, правда? — сказала мать девушки.

— Да, сейчас только собирать хлопок, если сумеешь негров заставить,— сказала миссис Терпин.— Не желают они его больше собирать. Белые не собирают, и негры туда же — хотят доказать, что они не хуже белых.

— Ха, пусть попробуют,— сказала неряха, подавшись вперед.

— А у вас нет хлопкоуборочной машины? — спросила симпатичная дама.

— Нету,— ответила миссис Терпин,— эти машины половину хлопка в поле оставляют. Да у нас и хлопка не так уж много. В наше время, если хочешь вести хозяйство, нужно иметь всего понемногу. У нас несколько акров хлопка, свиньи, куры и коровы есть, небольшое стадо, Клод сам с ним управляется.

— Кого я не выношу,— сказала неряха, вытирая рот тыльной стороной руки,— так это свиней. До чего противные твари, хрюкают, все вокруг разрывают, а уж вонища от них!

Миссис Терпин наконец снизошла до нее.

— Наши свиньи не грязные,— сказала она,— и никакой вони от них нет. Наши свиньи чище, чем кое у кого дети. Они не ходят по земле. У нас свинарник с цементным полом,— объяснила она симпатичной даме,— и Клод каждый день обливает их из шланга, а потом моет пол.— «Они в десять раз чище, чем этот мальчик»,— подумала она. Бедный маленький заморыш. Он сидел все в той же позе, только засунул в рот грязный палец.

Женщина отвернулась от миссис Терпин.

— Вот уж ни за что не стала бы мыть свиней из шланга,— сказала она, обращаясь к стене.

«А тебе и не придется, у тебя их никогда не будет»,— подумала миссис Терпин.

— Хрюкают, визжат да все разрывают — фу! — проворчала женщина.

— Да, у нас всего понемногу,— сказала миссис Терпин симпатичной даме.— Зачем разводить больше, чем под силу справиться самим, ведь с работниками сейчас ох как трудно. Мы в этом году нашли негров убирать хлопок, так, представляете, Клод каждый вечер возит их с поля домой на машине. Пешком пройти полмили они не могут, куда там! Обхаживаем их и так, и этак, и знаете, что я вам скажу? — Она весело засмеялась.— До чего мне все это надоело! А что делать? Хочешь, чтобы негры на тебя работали, изволь плясать вокруг них на задних лапках. Утром приходят — бегу навстречу: «Здравствуйте, как дела?», потом Клод сажает их в машину и везет, а я стою и машу

им, чуть рука не оторвется, а они машут мне. — И она для наглядности быстро замахала рукой.

— Будто они вам ровня, — сказала дама, всем своим видом показывая, как хорошо она понимает миссис Терпин.

— Вот именно, — сказала миссис Терпин. — А вернутся с поля — бегу встречать с ведром холодной воды. И так оно теперь всегда и будет. Надо смотреть правде в глаза.

— Ну уж нет! — сказала женщина. — Чтобы я стала обхаживать негров и мыть свиней из шланга? Да ни в жизнь! — И она презрительно фыркнула.

Миссис Терпин и симпатичная дама обменялись взглядом, который говорил: чтобы о каких-то вещах судить, нужно их для начала иметь. Однако всякий раз, как миссис Терпин обменивалась с дамой взглядами, она чувствовала, что некрасивая девушка все еще смотрит на нее своими странными глазами, и ей приходилось делать над собой усилие, чтобы не потерять нить разговора.

— В хозяйстве все требует глаза, — сказала она и про себя добавила: «Конечно, если у тебя ни кола ни двора, приезжай хоть каждый день в город, сиди возле здания суда и поплеывай».

По занавеске за спиной миссис Терпин проплыла причудливая вращающаяся тень, упав слабым отражением на стену напротив. К крыльцу со стуком приставили велосипед. Дверь отворилась, и в приемную проскользнул парнишка-негр с подносом из аптеки. На подносе стояли два красно-белых бумажных стаканчика с крышками. Негр был высокий, очень черный, в застиранных белых штанах и зеленой нейлоновой рубашке. Он медленно, словно бы в такт музыке, жевал резинку. Поставив поднос возле горшка с папоротником, он просунул голову в окошко, ища секретаршу. Ее на месте не было. Тогда он положил локти на подоконник и стал жевать, медленно покачивая узким выставленным задом. Потом закинул руку за голову и почесал затылок.

— Вон кнопка, видишь? — сказала ему миссис Терпин. — Нажми, девушка и придет. Она, верно, где-нибудь тут.

— Да? Правда! — с готовностью отозвался парнишка, будто в первый раз увидел кнопку, потянулся вправо и позвонил. — Она когда бывает, а когда нет, — сказал он, повернулся к публике лицом и оперся локтями о подоконник. Появилась сестра, и он снова повернулся — к ней. Она

протянула ему доллар, он порылся в карманах, достал мелочь и отсчитал ей сдачу. Она дала ему на чай, и он ушел с пустым подносом. Тяжелая дверь медленно повернулась на петлях и как бы со вздохом захлопнулась. Все молчали.

— Негров нужно отправить в Африку,— наконец сказала неряха.— Они же оттуда родом, там пусть и живут.

— Нет, я ни за что не соглашусь расстаться с моими добрыми чернокожими друзьями,— сказала симпатичная дама.

— Есть кое-кто и похуже,— поддержала ее миссис Терпин.— А негры что ж, они всякие бывают, как и мы.

— Конечно, все люди разные, так уж мир устроен,— сказала своим приятным голосом дама.

При этих ее словах прыщавая девушка оскалилась и вывернула нижнюю губу так, что стало видно бледную кожу внутри. Однако губа тут же вернулась на место. Миссис Терпин в жизни не видела такой безобразной гримасы. В голове у нее промелькнула отчетливая мысль, что ведь девушка сделала эту гримасу ей. Она смотрела на миссис Терпин так, точно знала и ненавидела ее всю жизнь — не только всю свою жизнь, но и всю ее жизнь. «Господь с тобой, девушка, я же тебя не знаю»,— мысленно сказала ей миссис Терпин.

Потом заставила себя вспомнить, о чем шел разговор, и сказала:

— Что толку посылать их в Африку, они туда все равно не поедут. Им здесь слишком хорошо живется.

— У меня поехали бы,— сказала неряха.

— Всех негров все равно не отправить,— сказала миссис Терпин.— Они найдут тысячу лазеек, притворятся больными, несчастными, будут лить слезы, умолять, такой крик поднимут, что и сам не рад будешь. Не-е-ет, не отправлять их.

— Как приехали, так и уедут,— сказала неряха.

— Тогда-то их было меньше, чем сейчас,— объяснила миссис Терпин.

Неряха поглядела на нее как на слабоумную, но миссис Терпин не обиделась — подумает, было бы на кого.

— Они здесь останутся,— сказала она,— поедут в Нью-Йорк, переженятся с белыми и посветлеют. Все они об этом мечтают — чтобы их порода посветлела.

— Вы, конечно, знаете, кто родится от таких браков? — спросил Клод.

— Нет, Клод, а кто? — спросила миссис Терпин.

Клод подмигнул и сказал без тени улыбки:

— Негры с белой отметиной на лбу.

Все засмеялись, кроме неряхи и некрасивой девушки. Девушка вцепилась в лежащую на коленях книгу побелевшими пальцами. Неряха обвела всех таким взглядом, будто считала их слабоумными. Старуха в платье из мешочного ситца с тем же отсутствующим видом глядела на сапоги сидящего напротив нее старика — того, который притворялся, что спит, когда миссис Терпин вошла в приемную. Руки старика по-прежнему тяжело лежали на коленях, а сам он хохотал, позабыв обо всем на свете. Мальчик повалился набок и лежал, уткнувшись старухе в колени.

Наконец смех умолк, и снова стало слышно тихое гнусавое пение по радио:

Ты идешь трам-трам,
А у меня свой путь,
Но все мы трам-трам-трам
Когда-нибудь.

Возьмемся за руки трам-трам
И радостно пойдем вперед,
Смеемся в лицо невгодам.

Некоторых слов миссис Терпин не разобрала, но смысл уловила и одобрила, и это настроило ее на более серьезный лад. Главное в жизни, считала она, — помогать всем, кому нужна помощь. Если она видела, что кто-то попал в беду — неважно, негр или белый, голытьба или человек приличный, — она старалась вызволить его, не жалея сил. И больше всего она была благодарна господу за то, что он сделал ее такой. Если бы господь сказал ей: «Пожалуйста, могу сотворить тебя дамой из общества, у тебя будет сколько угодно денег, и ты будешь тонкая и стройная, но учти — доброго сердца тебе не видать», — она бы не задумываясь ответила: «Нет, господи, я так не согласна. Не надо мне ни красоты, ни богатства, дай мне только доброе сердце». Радость наполнила ее до краев. Господь же сотворил ее ни негротянкой, ни белой голытьбой, ни уродиной. Он сотворил ее такой, как она есть, и дал ей всего понемногу. «Благодарю тебя, господи, — сказала она про себя, — благодарю тебя, благодарю, благодарю!» Когда она начинала пересчитывать благодеяния, которыми осыпал ее господь,

ей делалось так хорошо и легко, будто она весила не сто восемьдесят фунтов, а всего сто двадцать пять.

— Чем болен ваш мальчик? — спросила у неряхи симпатичная дама.

— Язва у него, — с гордостью сказала та. — Я с ним минуты покоя не знаю. Вон, сидят — два сапога пара, — сказала она, указывая головой на старуху, которая гладила светленькие волосы мальчика высохшей рукой. — Кроме кока-колы и конфет, ничего в рот взять не заставишь.

«А ты их ничем больше и не кормишь, — подумала миссис Терпин, готовить-то тебе лень». До чего ж хорошо знала она эту породу! И ведь не в том беда, что у этих людей ничего нет. Ты дай им все — и все через месяц будет издрано, испакощено, порублено на дрова. Миссис Терпин убедилась в этом на собственном опыте. Помогать таким людям мы должны, но помочь им невозможно.

Вдруг некрасивая девушка снова вывернула губу. Глаза ее сверлили миссис Терпин, точно два сверла. Теперь уже сомнения не было: взгляд ее выражал что-то очень важное.

«Да что ж это, — воскликнула про себя миссис Терпин, — я ведь не сделала тебе ничего дурного!» Может, девушка с кем-то ее спутала? Все равно это не резон позволять, чтобы тебя запугивали.

— Вы, верно, учитесь в колледже? — храбро спросила миссис Терпин, глядя в глаза девушке. — Вон книгу читаете.

Девушка по-прежнему смотрела на нее в упор и явно не собиралась отвечать.

Мать покраснела.

— К тебе обращаются, Мэри Грейс, — вполголоса сказала она.

— Не глухая, слышу, — ответила Мэри Грейс.

Бедная мать снова залилась краской.

— Мэри Грейс учится в Уэллслейском колледже, — сказала она, крутя пуговицу на платье. — Это в штате Массачусетс, — добавила она, слегка сморщив нос. — Она и летом продолжает заниматься. Читает целыми днями, настоящий книжный червь. Она у них в Уэллсли одна из лучших студенток, изучает и английскую литературу, и математику, и историю, и психологию, и социологию, — щебетала дама. — По-моему, это слишком уж много. По-моему, ей нужно побольше отдыхать и развлекаться.

Наверное, девушка с удовольствием вышвырнула бы их всех в окно, такое у нее было выражение.

— На Севере, значит, учится,— сказала миссис Терпин, а про себя подумала, что вести себя ее там не научили.

— Мне с ним даже легче, когда он болеет,— сказала мать мальчика, снова привлекая к себе внимание.— Со здоровым с ним никакого сладу нет. Некоторые дети так устроены, что с ними нет сладу. Некоторые всех изводят больные, а с моим все наоборот. Заболел — и золото, а не ребенок. Сейчас-то он как раз здоров, это я пришла к доктору.

«Если кого и стоит отправить в Африку,— подумала миссис Терпин,— так это таких, как ты, милая».

— Да, что говорить,— сказала она вслух, но глядя в потолок,— есть кое-кто и похуже негров.

«И грязней, чем свиньи»,— добавила она про себя.

— По-моему, самого большого сожаления заслуживают люди с тяжелым характером,— сказала симпатичная дама, и голос ее дрогнул.

— Слава богу, что у меня характер легкий,— сказала миссис Терпин.— Не было в моей жизни дня, чтобы я прожила без смеха.

— Во всяком случае, с тех пор, как вышла замуж,— с комически серьезным видом сказал Клод.

Все, кроме девушки и неряхи, засмеялись.

У миссис Терпин заколыхался живот.

— Он у меня такой чудила,— сказала она,— и не хочешь, да будешь смеяться.

Девушка громко зарычала.

У матери сжались губы.

— По-моему, нет на свете ничего страшнее неблагодарности,— сказала она.— Когда имеют все и ничего не ценят. Я знаю одну девушку,— продолжала она,— родители не отказывают ей ни в чем, младший братишка ее обожает, она учится в колледже, носит самые дорогие вещи, но никогда не улыбнется и не скажет никому доброго слова, вечно ходит недовольная и злая.

— А если ее отшлепать? — спросил Клод.— Или она уж вышла из того возраста?

Девушка побагровела.

— Да,— сказала дама,— придется, видно, махнуть на нее рукой, пусть делает что хочет. Когда-нибудь она поймет, но будет поздно.

— Не бог весть какой тяжелый труд улыбнуться,— сказала миссис Терпин,— а как улыбка красит жизнь.

— Еще бы,— печально сказала дама,— но ведь есть люди, которым ничего не скажешь. Они не желают тебя слушать.

— В чем меня не упрекнешь,— с чувством сказала миссис Терпин,— так это в неблагодарности. Когда я думаю, какой меня мог создать господь и какой создал и сколько он мне всего дал — всего-всего понемногу и даже легкий характер в придачу, мне хочется крикнуть: «Благодарю тебя, господи!» — А вдруг бы ничего этого у нее не было? Например, Клод мог бы достаться какой-нибудь другой женщине, а достался ей. При этой мысли она почувствовала такой прилив благодарности, такую жгучую, не вмещающуюся в сердце радость, что не удержалась и воскликнула: — Благодарю тебя, господи, благодарю!

Книга ударила миссис Терпин в лоб. Она почувствовала удар в то же мгновение, как сообразила, что девушка на нее замахнулась. И не успела даже раскрыть рта: страшное лицо с воем ринулось на нее через столик, и пальцы девушки, словно когти, впились в ее мягкую шею. Мать взвизгнула, раздался громкий крик Клода. «Все, началось землетрясение», — решила миссис Терпин.

Что-то случилось с ее глазами, все стало маленьким и отодвинулось куда-то, будто она смотрела в перевернутый бинокль. Лицо Клода сморщилось и исчезло из поля зрения. Вбежала сестра, выбежала, снова вбежала. Из двери выскочил долговязый мужчина — врач. Веером посыпались с перевернувшегося столика журналы. Девушка упала, глухо стукнувшись затылком, и со зрением у миссис Терпин опять что-то случилось, из маленького все стало большим. Огромные, во все лицо глаза неряхи оцепенело глядели на пол. Там, прижатая с одной стороны сестрой, а с другой — своей матерью, билась и корчилась девушка. Над ней стоял на коленях доктор и пытался пригнуть ей руку. Наконец ему удалось вонзить в нее длинную иглу.

Из миссис Терпин точно вынули все внутренности, казалось, только сердце скачет посреди огромного, пустого барабана, в который превратилось ее тело.

— Вызовите кто-нибудь «скорую помощь», — кинул доктор тем отрывистым тоном, каким говорят молодые врачи во время чрезвычайных происшествий.

Миссис Терпин не могла шевельнуть пальцем. Сидевший возле нее старик проворно протрусил к телефону и стал звонить, потому что секретарша, видно, еще не вернулась.

— Клод! — позвала миссис Терпин.

На стуле, где он раньше сидел, его не было. Нужно сейчас же найти его, она это понимала, но чувствовала себя как во сне, когда догоняешь поезд: чем быстрее ты стараешься бежать, тем медленней движешься.

— Я здесь, — услышала она сдавленный, чужой голос.

Он сидел, согнувшись пополам, в углу, белый как бумага, и прижимал к себе ногу. Она хотела встать, подойти к нему, но не могла двинуться с места. А вот взгляд медленно опустился вниз, к дергающемуся лицу на полу, которое виднелось из-за плеча доктора.

Глаза девушки перестали метаться и остановились на ней. Они сейчас были гораздо голубее, чем раньше, словно запертая где-то в глубине их дверь распахнулась и в нее хлынули воздух и свет.

В голове у миссис Терпин прояснилось, и она почувствовала, что снова может двигаться. Наклонившись вперед, она заглянула прямо в яркие, бешеные глаза. Теперь она была твердо уверена, что девушка знает ее, знает тайным, беспощадным знанием, над которым не властны ни время, ни пространство, ни случай.

— Что вы хотите сказать мне? — хрипло спросила она и замерла, точно ждала откровения.

Девушка приподняла голову. Глаза ее были прикованы к глазам миссис Терпин.

— Старая рогатая свинья, исчадь ада, убирайся откуда пришла, — прошептала она тихо, но очень отчетливо. Глаза ее на мгновение вспыхнули, будто она обрадовалась, что удар попал в цель.

Миссис Терпин привалилась к спинке стула.

Глаза девушки закрылись, голова бессильно упала.

Доктор встал и отдал сестре пустой шприц. Потом нагнулся к дрожащей, как в ознобе, матери и положил руки ей на плечи. Она сидела на полу, губы ее были плотно сжаты, руки держали лежащую у нее на коленях руку Мэри Грейс, а та, как ребенок, уцепилась за ее большой палец.

— Поезжайте в больницу, — сказал доктор. — Я позволю и договорюсь. А теперь посмотрим вашу шею, — бодро обратился он к миссис Терпин и начал ощупывать ей шею.

Под подбородком у нее атели две полосы, изогнутые в виде полумесяца, над левым глазом вспухала зловеющая красная шишка. Пальцы доктора прошлись и по ней.

— Не надо,— сказала она, отталкивая его руку. Ей было трудно говорить.— Посмотрите лучше Клода. Она ударила его ногой.

— Сейчас я займусь им,— сказал доктор и стал считать ее пульс. Был он тощий, седой и, видать, не без юмора.— Возвращайтесь домой и забудьте на сегодня обо всех своих делах,— сказал он и похлопал ее по плечу.

«Нечего тебе меня хлопать»,— мысленно огрызнулась миссис Терпин.

— И приложите ко лбу лед,— сказал доктор. Подошел к Клоду, опустился на колени и стал смотреть его ногу. Потом помог Клоду подняться, и тот, хромя, пошел за ним в кабинет.

Никто в приемной не проронил ни звука, только слышались жалобные стоны матери, которая так и осталась сидеть на полу. Неряха не отрывала глаз от девушки. Миссис Терпин глядела в одну точку остановившимся взглядом. Наконец подъехала «скорая помощь» — длинная темная тень на занавеске. Вошли санитары, опустили носилки возле девушки, ловко уложили ее и унесли. Сестра помогла матери собрать вещи. Тень «скорой помощи» бесшумно отъехала, и сестра вернулась в комнату за перегородкой.

— Эта девушка что, сумасшедшая? — крикнула неряха сестре, но та не подошла к окошку и ничего не ответила.

— Конечно, сумасшедшая,— сказала неряха, обращаясь к сидящим в приемной.

— Бедненькая,— прошептала старуха. Мальчик попрежнему лежал у нее на коленях и вяло глядел перед собой. Он даже не поднял головы, когда началась суматоха, только подтянул под себя ногу.

— Слава богу, что я не сумасшедшая,— с жаром сказала неряха.

Вышел, прихрамывая, Клод, и они с миссис Терпин уехали домой.

Когда их пикап свернул на проселочную дорогу и стал одолевать подъем, миссис Терпин схватилась за край опущенного стекла и в тревоге выглянула наружу. По ровному пологому склону раскинулось усеянное лиловыми сорняками поле, а у подножья следующего холма, между двух огромных орешин, стоял на привычном месте, среди ярко-

го, как узорный фартук, цветника, их чистенький, выкрашенный желтой краской домик. Она не удивилась бы, увидев вместо него выжженную яму между двух почерневших труб.

Есть ни Клоду, ни ей не хотелось, поэтому они переоделись, опустили в спальне шторы и легли — Клод устроил ногу на подушке, а она приложила ко лбу мокрое полотенце. Но только она закрыла глаза, как прямо в лицо ей прыгнула мерзкая, рогатая свинья с острым торчащим хребтом и усеянным бородавками рылом. Миссис Терпин слабо, горестно застонала.

— Неправда,— сказала она со слезами.— Я не свинья. И не исчадь ада.— Но отрицать было бесполезно. Девушка ей не верила, ее глаза, даже голос, которым она произнесла те слова, тихие, но отчетливые, предназначенные для нее одной, были неумолимы. Она выбрала из всех сидящих в комнате миссис Терпин и бросила свое обвинение ей, хотя вокруг были всякие людишки, которые наверняка заслужили его больше. И тут только миссис Терпин поняла весь смысл того, что с ней сегодня случилось. Рядом сидела женщина, которая презрела свои материнские обязанности, но ее не тронули. А ей, Руби Терпин, всеми уважаемой, трудолюбивой женщине, примерной христианке, бросили в лицо такое обвинение. Слезы ее высохли, в глазах загорелся гнев.

Она приподнялась на локте, и полотенце соскользнуло ей на руку. Клод храпел, лежа на спине. Ей и хотелось рассказать ему, что сказала девушка, и было страшно, что он представит ее себе в виде рогатой свиньи — исчадия ада.

— Клод, ты спишь? — тихонько позвала она и тронула его за плечо.

Клод открыл один глаз — младенчески голубого цвета.

Она с опаской заглянула в него. Нет, он ни о чем не задумывается. Живет себе и живет.

— А что? — сказал он, и глаз его снова закрылся.

— Ничего,— сказала она.— Болит нога?

— Болит как черт,— сказал Клод.

— Скоро пройдет,— сказала она и снова легла. Клод тут же захрапел.

Они пролежали так почти до вечера. Клод спал. Она глядела в потолок, сдвинув брови. Но время от времени сжимала кулак и с силой взмахивала перед грудью, будто

доказывая свою невиновность неким невидимым пришельцам, которые, подобно утешителям Иова, рассуждали как будто и правильно, но на самом деле были неправы.

В начале шестого Клод проснулся.

— За неграми пора ехать,— вздохнул он, не двигаясь с места.

Она не отрываясь смотрела на потолок, будто там были написаны какие-то слова и она силилась разобрать их. Желвак у нее над глазом потемнел и стал зеленовато-синим.

— Послушай,— сказала она.

— Да?

— Поцелуй меня.

Клод потянулся к ней и громко чмокнул в губы. Потом ущипнул за бок, и руки их переплелись. Но выражение яростной сосредоточенности не исчезало с ее лица. Клод с кряхтением и оханьем слез с кровати и, хромя, пошел прочь. Она продолжала рассматривать потолок.

Наконец послышался шум пикапа, который возвращался с неграми, и тогда она поднялась, сунула ноги в туфли и, не завязывая шнурков, побрела на заднее крыльцо. Взяла там красное пластмассовое ведро, высыпала в него лед из холодильника, налила воды и вышла во двор. Каждый вечер, когда Клод привозил негров с поля, кто-нибудь из них помогал ему задать коровам сена, а остальные ждали в машине, и потом Клод вез их домой. Сейчас пикап стоял в тени под орешинной.

— Ну, как дела? — мрачно спросила миссис Терпин, подходя к машине с ведром и кружкой. В машине сидели три женщины и паренек.

— Хорошо,— ответила старшая из женщин.— А у вас? — И взгляд ее сразу обнаружил шишку у миссис Терпин на лбу.— Ай-ай-ай, вы, видать, упали? — сочувственно спросила она.

Старуха была черная, как сажа, и почти без зубов, в сдвинутой на затылок старой фетровой шляпе Клода. Две другие женщины были помоложе и посветлее, и шляпы у них были новые — ярко-зеленые, соломенные. У одной шляпа была на голове, другая свою сняла, и из-под ее поля скалился парнишка-негр.

Миссис Терпин поставила ведро в машину, сказала: «Пейте»,— и оглянулась, желая убедиться, что Клода поблизости нет.

— Не упала я,— сказала она, складывая на груди руки.— Со мной случилась очень нехорошая вещь.

— Нехорошая вещь? С вами? Не может быть! — сказала старуха. Она сказала это так, будто всем им было хорошо известно, что миссис Терпин находится под особым покровительством божественного провидения.— Вы просто упали и немножко ушиблись.

— Мы поехали сегодня в город к доктору — мистера Терпина корова лягнула,— сказала миссис Терпин строго, чтобы они оставили свои глупости,— и там была девушка. Толстая, все лицо в прыщах. Я почему-то сразу почувствовала, что с ней что-то неладно. И вот сидим мы с ее мамой, разговариваем, все хорошо, и вдруг — бац! — она швыряет в меня толстую книгу, которую читала, и...

— Не может быть! — вскричала старуха.

— Бросается ко мне через столик и начинает душить.

— Не может быть! — закричали негры.— Не может быть!

— Зачем же она это сделала? — спросила старуха.— Может, она больная?

Миссис Терпин глядела в одну точку горящим взглядом.

— Наверное, она больная,— сказала старуха.

— Ее увезли в больницу,— продолжала миссис Терпин,— но сначала она каталась по полу и не давалась сделать укол, а потом что-то мне сказала.— Она умолкла.— Знаете, что она мне сказала?

— Что она вам сказала? — спросили негры.

— Она сказала...— начала миссис Терпин, но осеклась и лицо ее потемнело. Белые лучи солнца обесцветили небо над головой, и листья орешины казались от этого черными. Нет, она не могла произнести то, что сказала ей девушка.— Злые, обидные слова,— наконец прошептала она.

— Да как она смела говорить вам злые, обидные слова,— сказала старуха.— Такой прекрасной, доброй леди. Добрей я и не встречала.

— Такой красивой,— сказала женщина, у которой шляпа была на голове.

— Такой дородной, полной,— сказала та, что была без шляпы.— Самой доброй белой леди на свете.

— Правда,— сказала старуха,— истинная правда. Самой доброй и самой красивой.

Миссис Терпин в точности знала цену негритянской лести и лишь пуще от нее распалилась.

— Она сказала...— снова начала она и на этот раз докончила гневной скороговоркой: — что я старая рогатая свинья, исчадь ада.

Потрясенные негры молчали.

— Где она? — пронзительно крикнула наконец самая молодая из женщин.

— Дайте ее сюда! Я убью ее!

— Нет, это я убью ее! — закричала другая.

— Ее надо посадить в сумасшедший дом, — горячо сказала старуха. — Разве найдешь другую такую добрую белую леди?

— И такую красивую, — подхватила другая. — Такую дородную и такую добрую. И угодную господе.

— Истинно так, — подтвердила старуха.

«Вот дуры», — выругалась про себя миссис Терпин. Что с неграми разговаривать, разве от них умное слово услышишь?

— Пейте, что же вы? — сухо сказала она. — Ведро потом оставьте в машине. Я тут с вами болтаю, а у меня дел по горло. — И она повернулась и ушла в дом.

С минуту она постояла посреди кухни. Синяк над ее глазом был как черная грозовая туча, которая выползла из-за горизонта и скоро закроет все небо. Нижняя губа угрожающе выпятилась. Она расправила свои широкие плечи и двинулась в комнаты, вышла через боковую дверь и направилась по дорожке к свинарнику. Вид у нее был такой, будто она одна, безоружная, идет сражаться против целой армии.

Солнце стало желтое, как луна в полнолуние, и быстро катилось над верхушками деревьев к западу, точно хотело поспеть к свиньям раньше, чем она. Дорожка была неухоженная, и по пути она отшвырнула ногой несколько довольно крупных камней. Загон стоял на бугорке, неподалеку от коровника, и соединялся с ним дорожкой. Он был небольшой, с комнату, вымощен цементом и обнесен дощатой оградой фута четыре высотой. Пол шел с легким уклоном, чтобы смывать навоз в канаву, откуда его потом развозили на поле. Кювет стоял на цементной кромке снаружи и, держась за верхнюю перекладину, поливал пол из шланга. Шланг тянулся от крана, устроенного рядом с загонем.

Миссис Терпин встала возле Клода, с ненавистью глядя на свиней. Их было семь пятнистых длиннорылых поросят и старая, недавно опоросившаяся матка. Она лежала на боку и похрюкивала. Поросята шныряли по полу, как слабоумные дети, встряхивались, выискивали своими крошечными свинными глазками, не осталось ли чего на полу. Миссис Терпин где-то читала, что свиньи — самые умные из всех животных. Неужели? Сомнительно. Говорят, они умнее собак. Была даже свинья-космонавт. Она в точности выполнила свое задание, а потом умерла от разрыва сердца, потому что во время осмотра с нее не сняли скафандр и посадили на стул, тогда как свинье положено стоять на четырех ногах.

Хрюкают, визжат да все разрывают.

— Дай сюда,— сказала она, вырывая шланг из рук Клода.— Отвези негров и ложись, хватит прыгать на больной ноге.

— Какая муха тебя укусила? — сказал Клод, однако сошел с кромки и зашагал, прихрамывая, прочь. Он не обращал внимания на ее вспышки.

Пока слышались его шаги, она не опускала шланга, и всякий раз, как ей казалось, что кто-то из поросят хочет лечь, она направляла струю воды на его задние ноги. Решив, что Клод за пригорком, она слегка повернула голову и метнула горящий ненавистью взгляд на дорожку. Клода не было видно. Тогда она снова повернулась к загону и глубоко вздохнула, как бы собираясь с силами.

— Зачем ты бросил мне такое обвинение? — спросила она тихо, почти шепотом, но шепот этот казался криком, столько в нем было негодования.— Как же так, я — человек и одновременно свинья? Примерная христианка и исчадь ада? — Левая рука ее судорожно сжалась в кулак, правая крепко вцепилась в шланг, и струя воды забила прямо в глаза лежащей свинье, но миссис Терпин этого не заметила и не услышала ее истощного визга.

За свинарником лежал луг, на нем их стадо из двадцати коров собралось вокруг принесенного Клодом и негром-парнишкой сена. Только что скошенный луг спускался к шоссе. По ту сторону шоссе было их хлопковое поле, а за ним роща, тоже принадлежащая им. Солнце, теперь ярко-красное, стояло над частоколом темных, покрытых пылью деревьев, точно фермер, заглядывающий к своим свиньям в загон.

— Почему из всех ты выбрал меня? — роптала она. — Я помогаю бедным, и черным и белым без разбору. Я тружусь не покладая рук от зари до зари. Я хожу в церковь.

Кому, как не ей, повелевать расстилавшимся у ее ног краем?

— Почему ты сказал, что я свинья? Чем я похожа на них? — Она ткнула струей воды в поросят. — Там было столько всякой голытьбы. Их и обвинял бы.

— Наверное, голытьба тебе больше по душе, — ну и нянчился бы с ней, — полыхала она. — И меня сотворил бы такой же. Если ты так любишь белую голытьбу, почему не сотворил меня такой? — Она взмахнула кулаком, в котором был зажат планг, и в воздух плеснула водяная змея. — Пожалуйста, я перестану трудиться, буду бездельничать, зарасту грязью, — клокотала она. — Буду целыми днями слоняться по городу, пить лимонад. Буду жевать табак, размазывать его по лицу и плевать в каждую лужу. Буду злая...

— Или сотворил бы меня негритянкой. Наверно, переделывать меня сейчас в негритянку поздновато, — ядовито продолжала она, — но ничего, я могу вести себя как негры. Улягусь посреди дороги и остановлю движение. Буду кататься по земле.

Все краски в предзакатном свете таинственно сгустились. Зелень луга горела, шоссе казалось фиолетовым. Миссис Терпин приготовилась к решающему броску.

— Называй, называй меня свиньей! — крикнула она, и крик ее полетел над лугом. — Называй сколько хочешь! Старой рогатой свиньей, исчадьем ада. Переставь эту нижнюю планку вверх. Все равно верх и низ останутся!

Вдалеке отозвалось невнятное эхо.

Последний всплеск ярости вылился в крик:

— Да кто ты есть-то?!

На миг все вокруг — и поля, и малиновое небо — зажглось ярким, чистым огнем. Слова ее покатались над лугом, над шоссе и полем, и звонкое, отчетливое эхо принесло их из-за рощи обратно, ответом на ее вопрос.

Она открыла рот, но не издала ни звука.

На шоссе показалась крошечная машина — пикап Клода, он быстро удалялся. До нее донеслось негромкое подвывание мотора. Издали машина казалась игрушечной. В любую минуту какой-нибудь грузовик мог врезаться в нее, швырнуть и Клода, и негров головой об асфальт.

Миссис Терпин замерла, напряженно всматриваясь туда, где исчезла машина. Минут через пять она увидела, что пикап возвращается. Вот он свернул с шоссе на грунтовую дорогу к их ферме, и тогда миссис Терпин медленно, словно ожившая статуя, опустила голову и посмотрела на животных так, будто наконец-то проникла в самое сердце тайны. Поросята лежали в углу возле нежно похрюкивающей свиньи. Теплый красный свет заливал их. От них исходило дыхание неведомой жизни.

Солнце скрылось за деревьями, а миссис Терпин все стояла, не в силах оторвать от свиней взгляда, точно впитывая в себя изначальное, животворящее знание. Наконец она подняла голову. В небе осталась одна только рдеющая полоса, она перерезала малиновое поле заката и убегала как бы продолжением шоссе в сгущающиеся сумерки. Миссис Терпин подняла лежащие на ограде руки и воздела их жестом, вдохновенным и древним. В глазах ее вспыхнул пророческий свет. Пролетая по небу, полоса представилась ей огромным мостом, перекинутым с земли над огненной пучиной. По нему теснились к небу бессчетные сонмы душ. Среди них была белая голытьба, впервые за всю жизнь отмытая, и толпы негров в белых одеждах, и тьмы тем калек и бесноватых, они били в ладоши, верещали и прыгали, как лягушки. А позади, особо ото всех, шел народ, к которому, она сразу догадалась, принадлежали они с Клодом, те, кому господь дал всего понемногу и вразумил, как с пользой всем распорядиться. Она потянулась вперед, чтобы получше разглядеть их. Они выступали важно, с большим достоинством, в их рядах, как всегда, царили благопристойность, добропорядочность, здравомыслие. Из всех только они держались с достоинством. Но по их изменившимся, растерянным лицам она увидела, что даже их добродетели поражены тленом. Руки ее опустились и сжали перекладину, сузившиеся глаза, не мигая, глядели на то, что виделось впереди. Через минуту видение погасло, но она все стояла в оцепенении.

Наконец она спустилась с кромки на землю, завернула крап и медленно пошла в темноте к дому. В роще гремел невидимый хор цикад, но она слышала только голоса душ, поднимающихся к небесным пастбищам с возгласами: «Аллилуйя!»



Шепард сидел на табурете у стойки, разделяющей пополам обшитую панелями кухню, и ел утреннюю овсянку прямо из порционной вощеной коробочки, в каких ее доставляли из магазина. Он жевал машинально, не сводя синих глаз со своего сына, пока тот обходил кухонные шкафчики один за другим, выбирая себе на завтрак что-нибудь по вкусу. Десятилетний мальчик был коренаст, белоголов. Шепард провожал его упорным взглядом. Как ясно читаешь будущее этого ребенка по его лицу. Пойдет служить в банк. Или того чище. Возглавит небольшую ссудную кассу.

Отцу ничего не нужно, лишь бы сын рос добрым и умел думать о других, да что-то непохоже. Шепард был молод, он рано поседел. Ежик коротких волос узким нимбом осенял его розовое нервное лицо.

Мальчик подошел к стойке, держа под мышкой банку орехового масла, в одной руке у него была тарелка с четвертушкой шоколадного кекса, в другой — бутылочка с кетчупом. Отца он, казалось, не замечал. Он влез на табуретку и стал намазывать кекс маслом. Большие уши лопухами оттопырились у него на голове, как бы растягивая в стороны и без того широко расставленные глаза. Его зеленая футболка так выцвела, что от лихого ковбоя на груди осталась только тень.

— Нортон, я вчера видел Руфуса Джонсона, — сказал Шепард. — И знаешь, чем он занимался?

Мальчик обратился к нему отсутствующий взгляд, слыша, но еще не слушая. Синева отцовских глаз на ребячьем лице будто выпвела, как и футболка, один глаз чуть приметно тяготел к виску.

— Он стоял в подворотне, рылся в помойном баке, — сказал Шепард. — Искал что-нибудь поесть. — Он помолчал, чтобы мальчик лучше прочувствовал сказанное. — Он голодает, — договорил Шепард, настойчиво взывая взглядом к совести сына.

Мальчик ухватил с тарелки кекс и откусил уголок.

— Нортон, ты вообще представляешь себе, что значит делиться?

Первый проблеск внимания.

— Пожалуйста, тут есть твоя доля, — сказал Нортон.

— Тут есть *его* доля, — хмуро сказал Шепард. Напрасные старания. Пусть бы, кажется, любой недостаток — буйный нрав, даже склонность приврать, — только не эгоизм.

Мальчик перевернул бутылку с кетчупом и, хлопая донышку, стал вытряхивать содержимое на кекс.

Шепард страдальчески поднял брови.

— Тебе вот десять лет, а Руфусу Джонсону — четырнадцать, — сказал он. — Но твои рубашки наверняка припились бы ему впору. — Руфусом Джонсоном из колонии для малолетних преступников он занимался весь этот год. Два месяца назад Руфуса выпустили. — В колонии он еще выглядел прилично, а сейчас — кожа да кости. Уж он-то не закусывает по утрам кексами с ореховым маслом.

Мальчик перестал жевать.

— Да кекс черствый, — сказал он. — Я и намастил.

Шепард отвернулся к окну у конца стойки. Стриженный зеленый газон покато стлался к жидкой пригородной рощице футах в пятидесяти от дома. При покойной жене они часто ели под открытым небом, даже завтракать садились на траве. В те дни он ни разу не замечал у сына признаков эгоизма.

— Послушай-ка меня, — сказал он, отворачиваясь от окна. — Гляди на меня и слушай.

Мальчик поглядел. Во всяком случае, обратился к отцу глаза.

— Когда Руфус уходил из колонии, я дал ему ключи

от нашего дома, во-первых, в знак доверия, а потом, чтоб ему было куда прийти как желанному гостю. Пока они ему не пригодились, но теперь, полагаю, пригодятся — он видел меня, и он голодает. Если же он не решится, я пойду отыщу его и сам приведу сюда. Я не могу спокойно смотреть, как дети питаются отбросами из помойки.

Мальчик насупился. Очевидно, до него дошло, что на его достояние посягают.

У Шепарда брезгливо поджались губы.

— Когда Руфус родился, его отца уже не было на свете. Его мать сидит в тюрьме. Он рос у деда, в хибаре без воды, без света, а старик к тому же драл его изо дня в день. Каково бы тебе было родиться в подобном семействе?

— Я не знаю, — растерянно сказал мальчик.

— А ты бы задумался как-нибудь.

В муниципалитете Шепард ведал организацией детского досуга. По субботам на правах консультанта работал в колонии, не получая иного вознаграждения, кроме чувства, что он помогает подросткам, до которых больше никому нет дела. Джонсон был самый смысленный из всех, с кем ему доводилось работать, и самый обездоленный.

Нортон вяло повозил по тарелке обьедок кекса.

— Раз начал, доедай, — сказал Шепард.

— Вдруг он еще и не придет, — сказал мальчик и чуть просветлел.

— Ты подумай, у тебя столько всего, а у него что есть? — сказал Шепард. — А если б тебе приходилось копать в помойке, когда проголодаешься? Если бы у тебя нога раздулась, как колода, и ты бы ходил, припадая на один бок?

Мальчик моргал глазами, явно не в силах вообразить такое.

— У тебя нет никаких увечий, — сказал Шепард. — У тебя хороший дом. Тебе никогда не внушали ничего, кроме правды. Твой папа смотрит, чтоб ты ни в чем не знал недостатка. У тебя нет деда, который тебя избивает. И мать не сидит в тюрьме.

Мальчик отпихнул от себя тарелку. У Шепарда вырвался стон. Под перекошенным мальчишеским ртом внезапно вспух желвак. Лицо собралось в бугры и шишки, от глаз остались щели.

— Да-а,— завел он надрывным, хватающим за душу басом.— Если бы в тюрьме, я бы мог сходить с ней повидаться.— По его лицу покатались слезы, на подбородок вытекла струйка кетчупа. Выглядело это так, словно его только что ударили в зубы. Уже не сдерживаясь, он заревел благим матом.

Шепард сгорбился на табурете, удрученный, беспомощный, как перед натиском стихийной силы. Есть что-то противоестественное в этом горе. Очередное проявление эгоизма, вот и все. Второй год, как ее не стало, дети не горюют так долго.

— Стыдись, ведь тебе вот-вот одиннадцать,— сказал он.

Мальчик перешел на тоненькие, прерывистые, нестерпимо жалостные всхлипывания.

— Ты бы забыл на минутку о себе да подумал, что можешь сделать для кого-то другого,— сказал Шепард.— Тогда и по маме перестанешь тосковать.

Мальчик затих, только по-прежнему вздрагивали его плечи. А потом исказилось лицо и он опять заревел.

— Ты что же думаешь, мне без нее не одиноко? — сказал Шепард.— Думаешь, я не ощущаю утраты? Еще как ощущаю, просто я не сижу сложа руки и не кисну. Я действую, я помогаю другим. Видел ты хоть раз, чтобы я сидел, уставясь в одну точку, и предавался размышлениям о своих горестях?

Мальчик, будто в изнеможении, обмяк всем телом, но его лицо вновь перечеркнули полоски слез.

— Чем ты сегодня намерен заняться? — спросил Шепард, чтобы как-то отвлечь его.

Мальчик провел по глазам рукавом.

— Семенами торговать,— невнятно выговорил он.

Вечно чем-нибудь да торгует. Скопил себе четыре банки медяков и серебра, чуть не каждый день достает из своего чулана и пересчитывает.

— Зачем тебе торговать семенами?

— Чтобы дали премию.

— И велика премия?

— Тысяча долларов.

— Ну допустим, у тебя в руках оказалась бы тысяча долларов — что б ты сделал?

— Берет бы,— сказал мальчик и утер нос о плечо.

— Да уж, не сомневаюсь,— сказал Шепард.— Слу-

шай.— Он понизил голос и едва ли не с мольбой продолжал: — Допустим, тебе действительно дали премию, тысячу долларов. Неужели тебе не захотелось бы истратить ее на других детей, не таких благополучных, как ты? Например, пожертвовать качели и трапецию сиротскому приюту? Или купить бедному Руфусу Джонсону новый башмак?

Мальчик стал потихоньку отодвигаться от стойки. Вдруг он качнулся вперед и с открытым ртом навис над тарелкой. У Шепарда снова вырвался стон. Кекс, ореховое масло, кетчуп — все вышло обратно осклизлой приторной кашей. Мальчик навис над нею, давась, его еще раз вывернуло, и он застыл над тарелкой, разинув рот, точно готовясь изрыгнуть напоследок и свое сердце.

— Ну-ну,— сказал Шепард.— Ничего. Ты не виноват. Вытри рот и поди приляг.

Мальчик не шевелился. Потом поднял голову и устремил невидящий взгляд на отца.

— Ступай, ступай,— сказал Шепард.— Отлежись.

Мальчик задрал край футболки и кое-как вытер губы. Затем слез с табуретки и побрел из кухни.

Шепард сидел, уставясь на лепешку полупереваренной пищи. Кислая вонь ударила ему в ноздри, он отстранился. Его замутило. Он поднялся, поставил тарелку в раковину, открыл кран и угрюмо смотрел, как вода смывает месиво в сток. Бедная, исхудалая рука Джонсона пытается напарить что-нибудь съедобное в мусорном баке, а тут его собственный сыночек, жадный, черствый эгоист, объедается до рвоты. Он двинул кулаком по крану, остановил воду. Джонсон, способный на настоящую отдачу, с пеленок лишен всего; Нортон, заурядный, чтобы не сказать тупой, ни в чем не знает отказа.

Он опять подсел к стойке и стал доедать свой завтрак. Овсянка слежалась в коробочке влажным комом, но Шепард не замечал, что глотает. На такого, как Джонсон, не жаль никаких усилий, все окупится. Шепард определил это еще в тот раз, когда Руфус впервые приковылял к нему для разговора.

В колонии Шепарду отвели под кабинет узкую каморку с одним окном — столик, два стула, и все. Шепард, в жизни не переступавший порога исповедадьни, считал, что здесь у него, вероятно, происходит то же, что и там, только он дает не отпущение грехов, а объяснение им.

И занимается своим делом на менее шатких основаниях, чем священник, — он по крайней мере прошел серьезную выучку.

Когда Джонсон явился для первого разговора, Шепард кончал листать его личное дело. Страсть бесцельно громить и рушить — бил окна, поджигал урны на улицах, вспарывал автомобильные покрышки — обычная история, когда сельский молодежь без подготовки пересаживают на городскую почву. А вот итог тестов на умственное развитие — 140. Шепард вскинул загоревшиеся глаза.

Подросток ссутулился на краю стула, свесив руки между разведенных колен. Свет из окошка падал ему на лицо. Глаза стальные, неподвижные, уставлены в одну точку. Черные редкие волосы прилизанной челкой срезают наискось лоб, и это производит впечатление не отроческой небрежности, а скорей какой-то стариковской истовости. И — печать исступленной, фанатической мысли.

Чтобы сократить разделяющее их расстояние, Шепард улыбнулся.

Ответной улыбки не последовало. Джонсон откинулся на спинку стула и уложил себе на колено чудовищный обрубок, хромую ногу. Нога была заключена в тяжелый черный стоптанный башмак на толстой, как копыто, подошве. В одном месте рант отошел, и из дыры, будто серый язык из мертвой головы, торчал пустой конец носка. Во мгновение ока Шепард разгадал, в чем корень зла. Мальчик хулиганит, вымещая обиду за свое увечье.

— Ну, Руфус, судя по бумагам, тебе здесь предстоит отбыть какой-нибудь год, — сказал он. — Вот ты выйдешь отсюда — какие у тебя планы?

— Никакие, — сказал Джонсон. — Я вперед не загадываю. — Он равнодушно перевел взгляд в даль за спиной Шепарда, за окном.

— А пожалуй, стоило бы, — сказал Шепард и улыбнулся.

Джонсон все так же безучастно глядел мимо.

— Я непременно хочу, чтобы ты нашел наилучшее применение своим способностям, — сказал Шепард. — Что для тебя важно? Давай-ка обсудим — что важно для такого человека, как ты? — Он невольно уронил взгляд на увечную ногу.

— Глядите досыта, не стесняйтесь,— вразяжку процедил Джонсон.

Шепард покраснел. Черный жуткий нарост расплылся у него перед глазами. Он никак не отозвался на это замечание, на глумливое злорадство в глазах мальчишки.

— Руфус, ты натворил без нужды достаточно бед,— сказал он,— но когда ты узнаешь, откуда в тебе тяга к подобным выходкам, у тебя, наверно, убавится к ним охоты.— И он еще раз улыбнулся. Им здесь до того недостает друзей, для них такая редкость увидеть доброе лицо, что порой стоит улыбнуться,— и уж полдела сделано.— Думается, я многое могу объяснить тебе про тебя самого.

Джонсон окинул его холодным взглядом.

— Я вроде никого не просил ничего объяснять. Я и без того знаю, зачем что делаю.

— Да? Прекрасно! — сказал Шепард.— Тогда, быть может, расскажешь, что тебя побуждало так себя вести?

Глаза подростка блеснули темным огнем.

— Это сатана,— сказал он.— Я у него в когтях.

Шепард взглянул на него в упор. По лицу не похоже, чтобы малый валял дурака. Узкие губы сомкнуты гордо. Глаза Шепарда уже не улыбались. Его охватила тоскливая безнадежность, словно при встрече с уродством, поразившим самую первооснову человеческой личности и столь застарелым, что его поздно исправлять. Такой Джонсон набирается жизненной премудрости с плакатов, прибитых где-нибудь на сосне: «А ты не в когтях сатанинских?», «Покайся — или сгоришь в адском пламени», «Христос — наш спаситель». Такой всегда будет знать Библию, неважно, читал он ее или нет. От досады тоска его прошла.

— Галиматъя какая! — фыркнул он.— Мы живем в космическом веке! Толковый малый, и не мог придумать ничего получше.

Джонсон дернул краем рта полунадменно-полусмешливо. В его глазах сверкнул вызов.

Шепард взглянул внимательней. Там, где жива мысль, не существует невозможного. Он улыбнулся снова, точно приглашая подростка войти в класс, где все окна запахнуты навстречу свету.

— Руфус, я договарюсь, чтобы раз в неделю ты приходил ко мне на собеседование,— сказал он.— Может быть, твоему объяснению тоже найдется объяснение.

Может быть, я объясню, у какого это дьявола ты в когтях.

Целый год с тех пор он каждую субботу беседовал с Джонсоном. Он говорил по наитию, вел речи, каких его собеседник наверняка не слыхивал. Он брал чуть выше разумения подростка — пускай тянется. Он начал с психологии, от изворотов человеческого мышления он переносился к астрономии, к космическим снарядам, что, обгоняя звук, опоясывают землю и в недалеком времени закружат среди звезд. Повинуясь чутью, он особенно упирал на звезды. Хотелось, чтобы мальчишка тянулся к чему-то, помимо чужого добра. Хотелось раздвинуть пред ним горизонты. Хотелось создать для него зримый образ вселенной, пусть видит, что самые глухие дебри ее досягаемы и постижимы. Чего бы он ни дал за возможность подвести Джонсона к телескопу!

Джонсон говорил мало, да и это небольшое из гордости говорилось назло, наперекор, и увечная нога, словно оружие наизготовку, постоянно оставалась вскинутой на колено — только Шепарда было не так-то легко провести. Он наблюдал, как с каждой неделей что-то поддается в глазах подростка. По лицу, замкнутому, но потрясенному, сведенному усилием устоять перед сокрушительным натиском света, видно было, что каждое слово бьет в цель.

Теперь Джонсону возвращена свобода — есть из помоиных баков и прозябать в прежнем невежестве. С ума сойти, какая несправедливость. Отослали к деду — можно себе представить, что за старый осел этот дед. Внук, чего доброго, успел удрать от него. Мысль взять над Джонсоном опеку являлась Шепарду не впервые, но вот дед — как обойти эту помеху. А ведь сколько можно бы сделать для такого мальчишка. Одно заманчивее другого. Первым долгом сводить к ортопеду, заказать новый ботинок. А то как сделает шаг, так корежит себе спину. Дальше — натолкнуть на какое-то умное увлечение и всячески в том поощрять. Например, телескоп. Купить по случаю старый школьный телескоп и вместе установить в проеме чердачного окна... Минут десять Шепард сидел, мечтая, как много полезного он мог бы сделать, окажись тут у него Джонсон. Все, что впустую расточается Нортону, дало бы у Джонсона благие всходы. Вчера, застигнув его у помойного бака, Шепард помахал рукой и хотел было подойти.

Джонсон увидел его, замер на секунду и с крысиным проворством скрылся, но и за этот миг Шепард успел уловить перемену в выражении его лица. Что-то затеплилось в этих глазах — да-да, несомненно, — некий отблеск утраченного света.

Он встал и бросил коробочку с остатками каши в мусорное ведро. Перед уходом он заглянул в комнату к Нортону удостовериться, что его больше не тошнит. Мальчик, скрестив по-турецки ноги, сидел на кровати. Он ссыпал мелочь из банок в одну общую грудку и теперь разбирал ее на монетки в пять, десять и двадцать пять центов.

В тот день Нортон остался в доме один. Присев на корточки у себя в комнате, он раскладывал полукольцом на полу пакетики с цветочными семенами. Дождь наотмашь хлестал по стеклам, рокотал в водосточных трубах. По комнате крался сумрак, но поминутно полыхали зарницы, высвечивая веселую пестроту пакетиков на полу. Посреди этого будущего цветника бледнокожим исполинским лягушонком недвижимо раскорячился мальчик. Внезапно его взгляд насторожился. Дождь разом перестал. Тишина давила, как будто ливень перекрыли насильно. Мальчик оставался недвижим, только поводил глазами.

Тишину разъял отчетливый щелчок ключа в парадной двери. Уверенный, нарочито неспешный. Он вторгался в сознание и держал не отпуская, словно не движение руки вызвало его, а усилие воли. Мальчик вскочил и залез в чулан.

Шаги надвигались из передней. Нарочито неспешные, неровные — легкий, потом тяжелый, потом остановка, словно пришелец не то и сам прислушивался, не то разглядывал что-нибудь. Вот взвизгнула дверь кухни. Шаги двинулись к холодильнику. Чулан примыкал к кухонной стене. Нортон стоял, прижав к ней ухом. Вот холодильник открыли. И дальше надолго — ни звука.

Мальчик разулся, выбрался на цыпочках из чулана, переступил через пакетики с семенами. Посреди комнаты он запнулся и окаменел. В дверях, отрезая ему путь к бегству, стоял тощий мальчишка в промокшей черной пиджачной паре. Щеки втянуты, волосы прилипли к темени. Нахохлился, как ворона под дождем. Недобрый

взгляд проткнул Нортон насквозь и пригвоздил его к месту. Потом этот взгляд обошел все, что было в комнате: незастеленную постель, несвежие занавески на большом единственном окне, кавардак на комодe и выступающую из него фотографию молодой женщины с широким лицом.

У мальчика вдруг развязался язык.

— Он тебя ждал, он тебе новый ботинок хочет подарить за то, что ты должен кормиться по помойкам, — тонко, как мышь, пропищал он.

Пришелец перевел на него стеклянный, немигающий взгляд.

— Где желаю, там кормлюсь, — с расстановкой сказал он. — Желаю по помойкам, кормлюсь по помойкам. Понял?

Мальчик кивнул.

— И насчет ботинка, нужно будет, соображу сам. Понял?

Мальчик кивнул, завороченный.

Пришелец, хромая, вступил в комнату и опустился на кровать. Под спину подложил подушку, вытянул короткую ногу, и черный огромный башмак по-хозяйски улегся на белые складки простыни.

Взгляд Нортон зацепился за него и прилип намертво. Подошва какая толстенная, прямо кирпич.

Джонсон с усмешкой поворочал ботинком.

— Дам разá кому надо вот этим, узнают, как ко мне соваться, — сказал он.

Мальчик кивнул.

— Сходи на кухню, — сказал Джонсон, — там у вас ветчина, черный хлеб, сделай мне бутерброд и принеси стакан молока.

Как заводная игрушка, когда ее подтолкнут в нужном направлении, Нортон двинулся на кухню. Он сделал большой бутерброд — жирная ветчина обвисла по краям — и налил стакан молока. Взял в одну руку молоко, в другую бутерброд и вернулся в комнату.

Джонсон царственно полулежал на подушке.

— Мерси, официант, — сказал он, принимая бутерброд.

Нортон со стаканом в руке остался стоять у кровати.

Джонсон вонзил зубы в хлеб с ветчиной и размеренно жевал, пока не съел все. Потом взял молоко. Он держал стакан двумя руками, как маленький, и когда опустил,

переводя дух, вокруг рта остался молочный ободок. Он протянул Нортону пустой стакан.

— Официант, у вас там апельсины, сходите, подайте,— сказал он осипшим голосом.

Нортон пошел и принес из кухни апельсин. Джонсон отдира л ногтями корку и ронял на постель. Неторопливо ел, выплевывая косточки куда попало. Доел, вытер пальцы о простыню и смерил Нортон долгим взглядом. Похоже было, что он смягчился, довольный обслуживанием.

— Сразу видно, чей ты есть,— сказал он.— Та же бессмысленная рожа.

Мальчик стоял как истукан, будто и не слышал.

— Бестолочь он,— шипло и со вкусом сказал Джонсон.— Не смыслит ни в чем ни бельмеса.

Мальчик отвел глаза и уставился в стену.

— Трещит как сорока,— сказал Джонсон.— И хоть бы слово по делу.

У мальчика дрогнула верхняя губа, но он и на это смолчал.

— Труха,— сказал Джонсон.— Звон один.

На лице мальчика опасно проступило воинственное выражение. Он слегка попятился, готовый тут же кинуться наутек.

— Он хороший,— пролепетал он.— Он всем помогает.

— Хороший! — с бешенством прошипел Джонсон. Он оторвал голову от подушки.— Чихать мне, хороший, нет — понял? Он неправильный человек!

Нортон ошарашенно вытаращил глаза.

На кухне хлопнула наружная дверь — кто-то вошел. Джонсон мгновенно спустил ногу с кровати.

— Он, что ли?

— Кухарка,— сказал Нортон.— Она на полдня приходит.

Джонсон соскочил на пол, проковылял в коридор, встал в дверях на кухню; Нортон как привязанный шел следом.

Кухарка, рослая молоденькая мулатка, стягивала с себя у стенного шкафа красный яркий дождевик. На светло-желтой коже рот ее был словно крупная роза, которая, привянув, потемнела. Многоярусная прическа примялась и клонилась на сторону наподобие Пизанской башни.

Джонсон со свистом втянул воздух сквозь зубы.

— Ишь какая чернушечка,— сказал он.

Кухарка покосилась на них пренебрежительно. Как будто они не люди, а сор под ногами.

— Айда,— сказал Джонсон,— глянем, что есть в этой хижине, помимо тети Тома.— В передней он открыл первую дверь направо и заглянул в уборную, выложенную розовой плиткой.

— Стульчак розовый, надо же!

Он обернулся к мальчику и скорчил насмешливую рожу.

— Это он здесь заседает?

— Это вообще для гостей,— сказал Нортон,— но, бывает, и он ходит сюда.

— Башку бы ему сюда опорожнить,— сказал Джонсон.

В комнату рядом дверь стояла открытой. Здесь, с тех пор как умерла жена, спал Шепард. Спартанская железная кровать на голом полу. В углу — стопка костюмов для детской бейсбольной команды. Широкое бюро с выдвижной крышкой завалено бумагами, их тут и там прижимают курительные трубки. Джонсон стоял, глядел, молчал. Наморщил нос.

— Угадай, кем пахнет? — сказал он.

Дверь в другую комнату была закрыта, но Джонсон ее открыл и сунул голову в полумрак за порогом. Шторы были спущены, в спертом воздухе застоялся еле слышный запах духов. Кроме широкой старинной кровати, здесь стоял необъятный туалет, его зеркало поблескивало в неясном свете. Джонсон щелкнул выключателем у двери, прошелся по комнате, оглядел себя в зеркале. На полотняной дорожке лежала щетка с гребенкой, оправленные в серебро. Джонсон взял гребенку и провел ею по волосам. Начесал их на лоб прямой челкой. Потом откинул наискось, как носил Гитлер.

— Не тронь ее гребенку! — сказал мальчик. Он стоял возле двери бледный и тяжело дышал, как если бы при нем оскверняли святыню.

Джонсон положил гребенку, взял щетку и пришлепнул волосы ко лбу.

— Она умерла,— сказал мальчик.

— А я не боюсь трогать, чего остается от покойников,— сказал Джонсон. Он выдвинул верхний ящик и запустил в него руку.

— Не смей хапать погаными лапами мамины вещи,— придушенным фальцетом сказал мальчик.

— Дыши носом, ягодка,— прожурчал Джонсон. Он подцепил мятую красную блузку в горошек и уронил обратно. Вытянул зеленую шелковую косынку, раскрутил над головой и отпустил, косынка плавно поплыла на пол. Рука Джонсона опять зарылась в недрах ящика и вынырнула, сжимая застиранный пояс, на котором болтались четыре резинки с металлическими пряжками.

— Никак ее сбруя,— заметил он.

Он жеманно поднял пояс в воздух и встряхнул. Потом обернул вокруг бедер, приладил на себе и подпрыгнул, так что затанцевали подвязки. Вихляя задом, прищелкивая в такт пальцами, он стал подпевать:

— Дерну рок да и врежу в шаг, а ей, этой стерве, все не так.— Он двинулся по кругу, притоптывая здоровой ногой, выбрасывая в сторону тяжелый башмак. В дверях миновал обомлевшего мальчика и, приплясывая, двинулся по коридору на кухню.

Через полчаса вернулся домой Шепард. Он скинул плащ в передней, бросил на стул, дошел до дверей гостиной и остановился. Лицо его вдруг преобразилось. Он расцвел. В кресле с высокой спинкой, четко чернея на фоне розовой обивки, сидел Джонсон. Позади него от пола до потолка рядами тянулись книги. Одну он читал. У Шепарда сузились глаза. Том Британской энциклопедии. Джонсон был поглощен чтением, он даже не поднял головы. Шепард затаил дыхание. Вот где место такому парню. Надо удержать его здесь. Надо что-то придумать.

— Руфус! — сказал он.— Как хорошо! Здравствуй! — Он протянул руку и устремился вперед.

Джонсон поднял к нему равнодушное лицо.

— А, здрастье,— сказал он. Руку он не замечал, пока мог, но, видя, что Шепард ее не опускает, нехотя пожал.

Шепард и не ждал ничего другого. По роли, взятой на себя Джонсоном, ни при каких обстоятельствах не полагалось обнаруживать бурные чувства.

— Ну, как дела? — сказал он.— Как ладите с дедом? — Он сел на край дивана.

— А он подох,— безучастно сказал Джонсон.

— Ты что, серьезно? — вскричал Шепард. Он поднялся и пересел поближе, на кофейный столик.

— Да нет,— сказал Джонсон.— Покамест нет. Я хотел сказать: чтоб он сдох.

— Где же он все-таки? — упавшим голосом спросил Шепард.

— Удалился на горы,— сказал Джонсон.— А с ним еще кое-кто. Схоронят в пещере священные книги, возьмут по паре всякого скота и прочее. Как Ной. Только в этот раз будет не потоп, а пожар.

Шепард недовольно поджал губы.

— Понятно,— сказал он.— Иными словами, старый дурень тебя бросил?

— Ничего он не дурень,— огрызнулся Джонсон.

— Бросил или нет? — нетерпеливо переспросил Шепард.

Джонсон пожал плечами.

— А инспектор твой где же?

— Я к нему в няньки не нанимался,— сказал Джонсон.— Это он у меня в няньках.

Шепард рассмеялся.

— Постой минутку,— сказал он.

Он встал, вышел в переднюю, взял со стула плащ, понес его вешать в шкаф. Хоть какая-то отсрочка, время сосредоточиться, подобрать такие слова, чтобы малый остался. Никакого нажима. Только добровольно. Джонсон разыгрывает неприязнь к нему. Просто боится уронить свое достоинство — и, значит, пригласить его нужно так, чтобы не нанести достоинству никакого урона. Он открыл стеной шкаф, снял вешалку. В шкафу до сих пор висело серое зимнее пальто его жены. Шепард хотел отодвинуть его, пальто не подавалось. Он рывком распахнул полы и передернулся, как будто, вскрыв кокон, увидел личинку. Внутри, зареванный, бледный, с одурманенным от горя лицом, стоял Нортон. Шепард секунду молча глядел на него. Внезапно его осенило.

— А ну вылезай,— сказал он.

Он крепко взял мальчика за плечо, ввел в гостиную и подтолкнул к розовому креслу, где, положив на колени энциклопедию, сидел Джонсон. Сейчас все разом решится.

— Руффус, я в трудном положении,— сказал он.— Мне не обойтись без твоей помощи.

Джонсон бросил на него подозрительный взгляд.

— Понимаешь,— сказал Шепард,— нам в доме необ-

ходим еще один мальчик.— Его голос звенел неподдельным отчаянием.— Нашему Нортону еще ни разу не приходилось хоть в чем-то себя ущемить. Он понятия не имеет, что значит делиться. И вот нужно, чтобы кто-то был рядом и научил его. Ты бы не выручил меня? Поживи немного у нас, а, Руфус? Без тебя мне не обойтись.— От волнения он пустил петуха.

Нортон вдруг вышел из оцепенения. Его лицо налилось яростью.

— Он влез к ней в комнату, он брал ее гребенку! — пронзительно выкрикнул он, дергая Шепарда за рукав.— Он надевал ее пояс и плясал с Леолой, он...

— Прекрати! — оборвал его Шепард.— Ты что, только ябедничать горазд? Тебя не просят докладывать, как Руфус вел себя. Тебя просят принять его по-человечески. Ясно тебе?

— Видишь, что творится? — сказал он, обращаясь к Джонсону.

Нортон злобно лягнул ножку розового кресла, норовя попасть по больной ноге Джонсона. Шепард дернул его назад.

— Он говорил, ты просто звонарь! — взвизгнул мальчик.

По лицу Джонсона воровато скользнуло удовлетворение.

Шепард и бровью не повел. Мальчишка задирается, это тоже защитный прием.

— Так как же, Руфус? — сказал он.— Поживешь ты у нас?

Джонсон, не отвечая, засмотрелся на что-то в отдалении. Должно быть, ему рисовалось впереди нечто приятное, во всяком случае, он ухмыльнулся.

— А чего,— сказал он и перевернул страницу энциклопедии.— Хуже терпели.

— И отлично,— сказал Шепард.— И превосходно.

— Он говорил, ты ни в чем ни бельмеса не смыслишь,— сдавленно прошептал мальчик.

Наступило молчание.

Джонсон послунил палец и опять перевернул страницу.

— Вот что я вам скажу обоим,— внятно и ровно начал Шепард. Переводя глаза с одного на другого, он чеканил каждый слог, давая понять, что говорит раз и на-

всегда, а им надлежит молчать и слушать.— Если бы мне было важно, что Руфус обо мне думает, я вряд ли стал бы зазывать его к себе,— сказал он.— Руфус окажет услугу мне, я — ему, а мы с ним вдвоем окажем услугу тебе. Пусть Руфус думает обо мне что угодно, это не мешает мне сделать для него все, что в моих силах. Иначе я был бы чистой воды эгоист. Если я чем-то могу помочь человеку, мне ничего другого не нужно. Личные счеты меня не занимают, я выше этого.

Ни звука в ответ. Нортон устался на сиденье кресла. Джонсон водил носом по странице, разбирая мелкий шрифт. Шепарду были видны только две макушки. Он усмехнулся. Что ж, победа. Руфус остается. Он протянул руку, взлохматил волосы Нортону, хлопнул Джонсона по плечу.

— Ну, ребятки, сидите пока, осваивайтесь,— весело сказал он, поворачиваясь к двери.— Я пойду взгляну, что там Леола оставила нам на ужин.

Когда он вышел, Джонсон поднял голову и посмотрел на Нортон. Мальчик ответил ему затравленным взглядом.

— Слушай, малявка,— надтреснуто сказал Джонсон,— как ты терпишь? — Его лицо напряглось от негодования.— Он же Иисуса Христа из себя корчит!

II

Чердак у Шепарда был просторный, неотделанный, с голыми балками и без электрического света. Телескоп установили на треножке в проеме слухового окна. Он был наведен сейчас на темный небосвод, где, добела высеребрив край облака, только что выставился ломтик луны, ломкий, как яичная скорлупа. Керосиновый фонарь, поставленный на сундук поодаль, отбрасывал вверх зыбкие людские тени, тасуя их в стыках стропил. За телескопом, на пустом ящике, сидел Шепард, у него под боком, дожидаясь своей очереди, топтался Джонсон. Телескоп был приобретен по случаю два дня назад за пятнадцать долларов.

— Эй, сколько можно зажимать,— сказал Джонсон.

Шепард встал, Джонсон юркнул на его место и прилип к телескопу.

Шепард отошел в сторону и сел на стул. Он разругнулся от радости. Пока что его мечта сбывалась. Не прошло и недели, как его стараниями взор подростка устремился сквозь тонкую трубку ввысь, к звездам. Он смотрел на согнутую спину Джонсона с чувством полного удовлетворения. Малый был в клетчатой ковбойке, взятой у Нортонa, в защитного цвета штанах, которые купил ему Шепард. А на той неделе подоспеет и новый башмак. На другой же день после того, как Джонсон объявился у них, Шепард свозил его в протезную мастерскую снять мерку. Джонсон оберегал свою ногу, как святые мощи. Он сидел чернее тучи, пока молодой протезист, сверкая розовой лысиной, обмерял ему ногу кощунственными перстами. Ничего, наденет ботинок, все переменится. Кто в его годы не чувствует себя именинником, надев даже на здоровые ноги новую обувь. Нортон вон, как получит обновку, целыми днями не налюбуется.

Шепард оглянулся на сына. Тот сидел на полу, прилягаясь к сундуку, стреноженный — нашел веревку и обмотался ею от лодыжек до колен. Казалось, он где-то далеко, словно Шепард смотрел на него в телескоп не с того конца. Его пришлось разок выпороть после того, как у них поселился Джонсон, правда только раз, в первый вечер, когда мальчик догадался, что чужой уляжется спать на кровать его матери. Шепард в принципе не признавал порки, тем более под горячую руку. А тут и выпорол, и сгоряча, и отлично подействовало. С тех пор с Нортонoм никаких хлопот.

Нельзя сказать, чтобы мальчик проявил готовность всем делиться с Джонсоном, но, видно, принял его как неизбежное зло. С утра Шепард выдавал им денег на завтрак в кафетерии и выпроваживал в детский плавательный бассейн, напоминая, чтобы днем они приходили в парк смотреть, как тренируется его бейсбольная команда. Каждый день они брели к нему по парку, вразвалку, молча, погруженные каждый в свои мысли, как бы не замечая присутствия друг друга. Спасибо, хоть не затевали драк.

К телескопу Нортон не проявил никакого интереса.

— Вставай, Нортон, посмотри в телескоп, неужели не хочется? — сказал Шепард. Никаких признаков любознательности у мальчика, до чего это раздражает. — А то оставит тебя Руфус по всем статьям.

Нортон вяло приподнялся и перевел взгляд на спину Джонсона.

Тот обернулся. Он заметно пополнил. Впалые щеки округлились, и волчье, неистовое выражение отступило в тень глазниц, таясь от Шепардовой доброты.

— Не трать попусту свое драгоценное время, старик,— сказал он.— Эка невидаль, луна.

Забавны эти его неожиданные выверты. Стоит мальчишке заподозрить, что его намерены просвещать, как он становится на дыбы и разыгрывает полное безразличие, а самому до смерти интересно. Только Шепарда не так-то легко провести. Исполдволь Джонсон усваивает то, что ему хотят внушить: его покровителя не задевают уколы и шпильки, ни одна стрела не пробьет брешь в броне доброты и долготерпения.

— А что, если когда-нибудь ты сам полетишь на Луну,— сказал Шепард.— Пройдет лет десять, и люди будут, вероятно, летать туда и обратно по твердому расписанию. Ведь вы, ребята, чего доброго, станете звездолетчиками. Первопроходцами космоса!

— Первопроходимцами,— сказал Джонсон.

— Проходцами или проходимцами, не знаю,— сказал Шепард,— а вот что ты, Руфус Джонсон, отправишься на Луну — это вполне вероятно.

Что-то шевельнулось на дне немигающих глаз. Сегодня Джонсон с утра был не в духе.

— Живьем до Луны не доберешься,— сказал он,— а помру, так отправлюсь в ад.

— До Луны по крайней мере добраться можно,— сказал Шепард. Лучшее в подобных случаях — беззлобная шутка.— Ее хоть видно. Известно, что она есть. Насчет того, есть ли ад, достоверных сведений пока не имеется.

— В Библии имеются,— глухо сказал Джонсон.— Если после смерти туда попадешь, будешь гореть в вечном пламени.

Нортон подался вперед.

— Кто говорит, что ада нет, тот перечит слову Христа,— сказал Джонсон.— Мертвых судят, и грешников ждет проклятье. И будет плач и скрежет зубов в геенне огненной,— продолжал он,— и мрак тьмы навеки.

У мальчика открылся рот. Глаза словно сразу запали.

— И царствует там сатана,— сказал Джонсон.

Нортон кое-как поднялся на опутанные ноги и неловко шагнул к Шепарду.

— И она там? — громко сказал он. — И ее там жгут? — Он сбросил с ног веревку. — Она тоже в геенне огненной?

— Вот несчастье, — вырвалось у Шепарда. — Да нет же, — сказал он. — Ничего похожего, Руфус ошибается. Нигде твоей мамы нет. Никто ее не мучает. Ее просто нет больше. — Как облегчил бы он свою участь, сказав Нортону после смерти жены, что она вознеслась на небеса и когда-нибудь мальчик с ней свидится, но разве он смел растить сына, пичкая его ложью?

Лицо у Нортона стало подергиваться. На подбородке вспух желвак.

— Послушай меня, — поспешно сказал Шепард и пригнул мальчика к себе. — Дух твоей матери продолжает жить в других и в тебе тоже, только надо быть хорошим и добрым, как она.

В блеклом мальчишеском взгляде стыло неверие.

Жалость Шепарда как рукой сняло. Значит, лучше пусть будет в аду, лишь бы где-то была.

— Попробуй понять, — сказал он. — Ее не существует. — Он положил руку на плечо сына. — Это правда, — негромко, ожесточаясь уже, сказал он, — то единственное, что ты можешь от меня получить.

Но мальчик не заревел, он вывернулся из-под отцовской ладони и схватил Джонсона за рукав.

— Там она, Руфус? — сказал он. — Она там горит?

У Джонсона сверкнули глаза.

— Если она грешница, то да, — сказал он. — Была она, к примеру, блудницей?

— Никакой блудницей твоя мать не была, — отчеканил Шепард. У него появилось такое ощущение, будто он ведет машину без тормозов. — Ну, хватит ерунды. Итак, вернемся к Луне.

— В Иисуса Христа она верила? — спросил Джонсон. Нортон смешался.

— Да, — сказал он не сразу, сообразив, по-видимому, какой требуется ответ. — Верила. Еще как.

— Неправда же, — негромко вставил Шепард.

— Нет, верила, — сказал Нортон. — Я сам слышал, она говорила. Еще как верила.

— Значит, ее ждет спасение, — сказал Джонсон.

Мальчика все еще что-то смущало.

— Где ждет? — сказал он. — Где она сейчас?

— В горних высях, — сказал Джонсон.

— Это где? — выдохнул Нортон.

— На небесах где-то, — сказал Джонсон. — Только туда не попасть иначе, как после смерти. На космическом корабле не долетишь. — Из глаз его исходил сейчас хищный блеск — так луч прожектора мертвой хваткой держит свою мишень.

— Человек достигнет Луны, — с мрачным упорством сказал Шепард, — как миллиарды и миллиарды лет назад выбрался на сушу первообитатель вод. У него не было земного скафандра. Ему пришлось выращивать нужные приспособления в самом себе. Так у него развились легкие.

— Я, когда умру, попаду в ад или туда, где она? — спросил Нортон.

— Умер бы сейчас, попал бы к ней, — сказал Джонсон, — а поживешь подольше, угодишь в ад.

Шепард решительно встал и взял фонарь.

— Руфус, закрывай окно, — сказал он. — Пора идти спать.

Спускаясь по чердачной лестнице, он слышал, как у него за спиной Джонсон сказал громким шепотом:

— Я тебе, старик, завтра все растолкую, дай только сам уберется из дому.

Назавтра, когда мальчики пришли в спортивный городок, Шепард наблюдал, как они появились из-за трибун и двинулись в обход по краю бейсбольного поля. Положив Нортону руку на плечо, Джонсон пригнулся к его уху, а тот слушал с выражением глубокого доверия, так, будто перед ним забрезжил свет. Шепард досадливо поморщился. Стало быть, Джонсон придумал новый способ его дожимать. Но его не проймешь. Нортон особенно не пострадает, все равно умишком не вышел. Шепард взглянул на сосредоточенную и такую обыкновенную рожицу сына. Стоит ли тащить его к высотам? Рай и ад существуют для посредственностей, а уж если кто посредственный, так это Нортон.

Мальчики поднялись на трибуну и сели чуть поодаль, лицом к нему, не подавая виду, что заметили его. Он окинул взглядом через плечо бейсбольное поле, по которому рассыпались юные игроки. Потом направился к трибуне.

При его приближении сиповатый, как змеиное шипенье, голос Джонсона смолк.

— Как провели день, ребята, что делали? — бодро спросил Шепард.

— Он тут мне рассказывал... — начал было Нортон. Джонсон пихнул его локтем в бок.

— А ничего особенного, — сказал он. Из-под его напускного равнодушия так и выпирала наглость сообщника.

У Шепарда кровь прилила к щекам, но он промолчал. Один мальчонка в бейсбольном костюме притащился на трибуну следом за ним и нетерпеливо подталкивал его сзади клюшкой. Он повернулся и, обняв мальчонку за плечи, возвратился на поле.

Вечером он поднялся на чердак посмотреть, что делается у телескопа, и застал там одного Нортонна. Мальчик скорчился на ящике, припав глазами к трубке. Джонсона не было.

— Где Руфус? — спросил Шепард.

— Где Руфус, я спрашиваю? — повторил он громче.

— Куда-то ушел, — не оборачиваясь, сказал мальчик.

— Куда же это? — спросил Шепард.

— Не знаю, сказал «ухожу», и все. Он говорит, ему надоело пялиться на звезды.

— Так, — угрюмо сказал Шепард. Он спустился с чердака и обошел весь дом. Джонсона нигде не было. Шепард сел в гостиной. Еще вчера он твердо верил, что с Джонсоном у него дело ладится. Сегодня приходилось признать, что в чем-то он, возможно, оплошал. Он слишком много спускал мальчишке, слишком заботился о том, чтобы расположить его к себе. Фу, как совестно. Какая разница, будет Джонсон к нему расположен или нет? Почему это должно его тревожить? Вот пожалуй с прогулки, надо будет в какие-то вопросы внести ясность. Пока ты здесь, никаких самовольных отлучек по вечерам, понятно?

А мне здесь быть не обязательно. Очень мне надо здесь ошиваться.

Ах, черт, подумал Шепард. Нельзя до этого доводить. Надо проявить твердость, но не раздувать из этого случая историю. Он взял вечернюю газету. Доброта и долготерпение — это само собой, но не было должной твердости. Шепард держал перед собой газету, не читая ее. Мальчишка первый не будет его уважать, если он не проявит твердо-

сти. В дверь позвонили. Шепард пошел открывать. Открыл и с изменившимся, расстроенным лицом отступил назад.

На пороге, придерживая за локоть Джонсона, стоял большой, сурового вида полицейский. У тротуара ждала патрульная машина. Джонсон был очень бледен. Он выставил вперед подбородок, очевидно подавляя дрожь.

— Вот заехали по дороге показать его вам, а то разошелся, не унять,— сказал полицейский.— Теперь отвезем в отделение, побеседуем.

— А что случилось? — выдавил из себя Шепард.

— В дом залез — здесь, как за угол завернешь,— сказал полицейский.— Настоящий погром, посуда перебита, черепки по всему полу, мебель опрокинута...

— Я-то при чем! — сказал Джонсон.— Иду по улице, никому не мешаю, а этот налетел, хватает...

Шепард смерил его уничтожающим взглядом. Сейчас он не пытался смягчить выражение своего лица.

Джонсон покраснел.

— Иду, никого не трогаю,— пробурчал он без прежней уверенности.

— Едем уж, артист,— сказал полицейский.

— Правда же, вы не дадите меня забрать? — сказал Джонсон.— Вы-то мне верите, да? — Шепард еще не слышал у него такого жалобного голоса.

Сейчас или никогда. Пусть усвоит, что за него никто не будет заступаться, когда он виноват.

— Придется тебе ехать, Руфус,— сказал он.

— Я говорю, что ничего не сделал, а вы, значит, ему дадите меня забрать? — надрывно крикнул Джонсон.

Шепард крепче стиснул зубы, его разбирала обида. Мальчишка сорвался, не дотянув даже до того дня, когда ему наденут новый ботинок. Как раз завтра его получать. Почему-то ботинка ему вдруг стало особенно жаль, и досада на Джонсона стала вдвойне нестерпима.

— Сами прикидывались, что доверяете мне незнамо как,— процедил Джонсон.

— Я и доверял,— с каменным лицом сказал Шепард.

Джонсон повернулся вслед за полицейским, но, прежде чем он тронулся с места, из провалов его глазниц Шепарда полоснуло лютой ненавистью.

Стоя в дверях, Шепард смотрел, как они влезли в машину, как отъехали. Он будил в себе сострадание. Нужно завтра наведаться в полицию, посмотреть, нельзя ли ма-

лого вызволить. А пока — ничего страшного, переночует в тюрьме, вперед будет знать, допустимо ли вести себя так с человеком, от которого видел только хорошее. Потом они отправятся за ботинком, и, может быть, после ночи, проведенной за решеткой, это событие только сильнее подействует на Джонсона.

В восемь утра позвонил сержант из полиции и сообщил, что Джонсона можно взять домой.

— Мы одного негра задержали по этому делу, — сказал он. — Ваш паренек тут не замешан.

Через десять минут Шепард, багровый от стыда, был уже в отделении. Джонсон сидел, нахоясь, на скамейке в обшарпанной приемной и читал полицейский журнал. Больше никого не было. Шепард опустился рядом и заискивающе тронул его за плечо.

Джонсон глянул — у него гадливо выпятилась губа — и снова уткнулся в журнал.

Шепард изнывал. С гнетущей внезапной отчетливостью ему представилась вся гнусность содеянного. Он отвернулся от своего подопечного, и как раз тогда, когда его можно было круто и твердо повернуть на путь истины.

— Руфус, прости, — сказал он. — Я виноват, правда на твоей стороне. Я судил о тебе превратно.

Джонсон продолжал читать.

— Я приношу тебе извинения.

Джонсон послунил палец и перевернул страницу.

Шепард собрался с духом.

— Я поступил как болван, Руфус, — сказал он.

Джонсон слегка скривил рот и, не отрываясь от журнала, пожал плечами.

— Забудь, ладно? — сказал Шепард. — Это первый и последний раз.

Джонсон поднял голову. Глаза его смотрели ясно и недобро.

— Я, так и быть, забуду, — сказал он, — вы-то попомните.

Он встал и прошествовал к двери. На полпути он обернулся к Шепарду, вскинул руку, и Шепард вскочил и последовал за ним, как будто мальчишка дернул невидимый поводок.

— Да, ботинок, — облегченно спохватился он, — сегодня

срок забирать твой ботинок! — Господи, какое счастье, что есть ботинок!

Но, когда они пришли в протезный кабинет, оказалось, что башмак на два номера мал, а новый могут сделать не раньше, чем через десять дней. У Джонсона мгновенно поднялось настроение. Разумеется, ему неточно сняли мерку, но он утверждал, что это выросла нога. Он уходил довольный, словно нога его, раздавшись, действовала из собственных тайных побуждений. Лицо Шепарда изображало муку.

После этого случая он удвоил свои усилия. Джонсон утратил интерес к телескопу — для него был куплен микроскоп и коробка предметных стекол с готовыми препаратами. Если не удалось поразить его воображение безмерно великим, надо испробовать безмерно малое. Два вечера Джонсон не отходил от нового прибора, на третий — разом остыл, зато ему не надоедало просиживать вечера в гостиной, читая энциклопедию. Он пожирал энциклопедию, как пожирал свои обеды: размеренно и ненасытимо. Хватал все подряд, перемалывал и отбрасывал прочь. Для Шепарда не было большей отрады, чем видеть, как на диване молча склонился над книгой Джонсон. Несколько таких вечеров, и к Шепарду вернулись его мечты. Он вновь обрел уверенность. Он знал, что настанет день, когда он будет гордиться Джонсоном.

В четверг вечером Шепард был на заседании муниципального совета. Мальчиков он посадил у кино и забрал на обратном пути. Когда они подъехали к дому, у обочины стояла машина с одиноким красным глазком на крыше. Шепард свернул к подъезду и осветил своими фарами два суровых лица внутри машины.

— Легавые! — сказал Джонсон. — Опять к кому-нибудь забрался негр, а явились за мной.

— Это мы посмотрим, — сказал сквозь зубы Шепард. Он остановил машину у дверей и выключил свет. — Вы, ребята, марш домой — и спать, — сказал он. — Этим займусь я.

Шепард вылез и твердо двинулся к патрульной машине. Он просунул голову в окошко. Полицейские глядели на него непроницаемо и многозначительно.

— Дом на углу Шелтона и Мельничной, — сказал тот, что сидел за баранкой. — Разворочено, словно танк прошел.

— Мальчик был в кино на другом конце города, — ска-

зал Шепард.— И с ним мой сын. В тот раз он был ни при чем, и в этот — тоже ни при чем. Я отвечаю.

— Я бы на вашем месте не брался отвечать за такого отпетого шпаненка,— сказал полицейский, который сидел ближе к Шепарду.

— Я сказал, что отвечаю за него,— холодно повторил Шепард.— Один раз вы, голубчики, промахнулись. Кажется, хватит.

Полицейские переглянулись.

— Что ж, не наша печаль,— сказал первый и включил зажигание.

Шепард вошел в дом и сел в темной гостиной. Да, Джонсон чист, и боже упаси навести его на мысль, что его подозревают. Если он подумает, что опять возбудил подозрения, все пропало. Надо только удостовериться, насколько прочное у него алиби. Зайти разве к Нортону, спросить, не отлучался ли Джонсон из кинотеатра. Нет, это совсем не годится. Джонсон разгадает его уловку и взорвется. Лучше спросить у него самого. Без обиняков. Шепард мысленно прикинул, как поведет речь, встал и подошел к двери Джонсона.

Дверь была открыта, словно его здесь ждали, хотя Джонсон уже лег в постель. При свете из передней можно было различить его очертания под простыней. Шепард вошел и стал в ногах кровати.

— Уехали,— сказал он.— Я им заявил, что ты тут не замешан и я беру это на свою ответственность.

С подушки донеслось неясное:

— Ага.

Шепард замялся.

— Руфус, ты, кстати, никуда не отлучался из кинотеатра?

— Сами прикидываетесь, что доверяете незнамо как,— немедленно крикнул оскорбленный голос,— а сами ни фиги не доверяете! Как не поверили в тот раз, так и теперь! — Незримый, этот голос с гораздо большей определенностью исходил из сокровенных недр Джонсонова существа, чем в те минуты, когда лицо его было видно. То был вопль укоризны — с едва заметным оттенком презрения.

— Неправда, я тебе доверяю,— горячо сказал Шепард.— Совершенно доверяю. Я в тебя верю и полагаюсь на тебя целиком.

— А сами за мной шпионите все время, — угрюмо сказал голос. — Сначала ко мне подсыпались с вопросиками, а сейчас потопаете через переднюю, подсыплетесь с вопросиками к Нортону.

— У меня и в мыслях не было расспрашивать Нортон, — ласково сказал Шепард. — Не было и нет. И я тебя вовсе не подозреваю. Да и мог ли ты за такое время добраться сюда с того конца города, залезть в чужой дом и опять вернуться в кино.

— А, вот почему вы мне верите! — крикнул Джонсон. — Потому что я, по-вашему, все равно не успел бы обернуться.

— Да нет же! — сказал Шепард. — Я просто считаю, что у тебя достаточно ума и силы воли, чтобы не наделать новых глупостей. Я считаю, что ты теперь основательно разобрался в себе и уяснил, что никаких причин куролесить у тебя нет. Я считаю, что при желании ты способен добиться чего угодно. Вот почему я тебе верю.

Джонсон сел в постели. В полосе неяркого света показался его лоб, лица по-прежнему не было видно.

— Между прочим, я бы и за такое время туда зашел, если б захотел, — сказал он.

— Да, но этого не было, я знаю, — сказал Шепард. — И не сомневаюсь ни секунды.

Наступило молчание. Джонсон лег обратно. И тогда голос, глухой и сдавленный, как бы исторгнутый через силу, сказал:

— С какой стати человеку воровать и бузить, когда у него и так все есть, чего надо.

У Шепарда перехватило горло. Ему же отдают должное! Ему говорят спасибо! В голосе парня слышна благодарность. Он стоял, глупо улыбаясь в темноте, стараясь продлить эту минуту. Невольно сделал шаг вперед, протянул руку к подушке Джонсона и коснулся его лба. Лоб был холоден и сухо шершав, как ржавое железо.

— Я понимаю, сын. Спокойной ночи.

Он быстро повернулся и вышел. Закрыв за собою дверь, он остановился, превозмогая волнение.

Дверь напротив, в комнату Нортон, была открыта. Мальчик лежал на боку и глядел в освещенный коридор.

Теперь с Джонсоном все пойдет гладко.

Нортон сел и стал знаками подзывать Шепарда к себе.

Шепард увидел, но тут же заставил себя посмотреть мимо. Нельзя сейчас идти к Нортону разговаривать, этим он подорвет доверие Джонсона. Его кольнуло сомнение, но он не двинулся с места, притворяясь, будто ничего не замечает. Завтра — день, когда им назначено прийти за ботинком. Вот что закрепит те нити, которые протянулись меж ними. Он круто повернулся и пошел к себе.

Мальчик посидел еще, глядя на то место, где только что был его отец. Потом смотреть стало не на что и он снова лег.

На другой день Джонсон был пасмурен и неразговорчив, видно от стыда, что выдал себя. Глаза его были как бы прикрыты заслонками. Он замкнулся в себе — там, внутри, явно решалось для него сейчас нечто самое главное. Шепард дожидаться не мог той минуты, когда они окажутся в протезном кабинете. Нортон он оставил дома, ему не хотелось дробить свое внимание. Хотелось отключиться от всего постороннего и не пропустить того, что будет совершаться с Джонсоном. Внешне впечатление такое, что перспектива получить новый башмак не только не прельщает парня, а и вообще не трогает — но когда дойдет до дела, его наверняка проймет.

Протезная мастерская помещалась в небольшом бетонном складе, битком набитом оснащением для людского убожества. Пол был заставлен креслами на колесах и станками для начинающих ходить. Стены увешаны разнообразными костылями и бандажами. Полки завалены протезами: искусственные руки, ноги, пальцы, клешни и крючья, помочи и подпруги, невиданные приспособления для неведомых увечий. Посередине, где было свободней, выстроился ряд желтых стульев с сиденьями из пластика, перед ними стояла примерочная скамейка. Джонсон плюхнулся на первый попавшийся стул, поставил на скамейку ногу и уперся в нее мрачным взглядом. Спереди, где полагалось быть носку, опорок снова прохудился и Джонсон залатал его брезентом, на другую заплату пошел, судя по всему, язык от того же опорка. Шнурком служил обрывок шпагата.

На лице Шепарда от возбуждения выступили пятна, сердце его колотилось.

Откуда-то из дальнего угла, держа под мышкой новый ботинок, вынырнул протезист.

— Теперь будет тютелька в тютельку, — сказал он.

Он оседлал скамью и поднял свое произведение, улыбаясь, как будто сотворил его чудом.

Черный, гладкий, бесформенный предмет отливал ядовитым гляncем. Он был похож на тупое, до блеска начищенное оружие.

Джонсон рассматривал его исподлобья.

— Шагнешь в такой обуви — и ног под собой не почувешь, — сказал протезист. — Сама понесет.

Склонив сверкающую розовую лысину, он после некоторой заминки принялся распутывать шпагат. Он стянул старый ботинок опасливым движением, будто свежевал еще живого зверя. Было видно, что ему стоит труда сохранять на лице улыбку. Когда показалась расчехленная кувалда в грязном носке, Шепарду стало не по себе. Он отвел глаза. Новый ботинок был надет, протезист проворно зашнуровал его.

— А ну, встань, пройдиcь, — сказал он. — Удостоверься — полетишь, как на крыльях. — Он подмигнул Шепарду. — В таком ботинке он и думать забудет, что у него не в порядке нога.

Шепард просиял от удовольствия.

Джонсон встал и прошел несколько шагов. Он ступал негнуцимися ногами, почти не припадая на бок. Остановился и несколько мгновений стоял как вкопанный, спиной к ним.

— Отлично, — сказал Шепард. — Превосходно. — Взял, можно сказать, и подарил парню новый позвоночник.

Джонсон обернулся. Его губы сошлись в ледяную бескровную черту. Он вернулся на место и снял ботинок. Сунул ногу в старый и начал затягивать шпагат.

— Ты что, сначала хочешь дома попробовать поносить? — негромко спросил протезист.

— Нет, — сказал Джонсон. — Я его не стану носить совсем.

— Чем же он тебе плох? — повысив голос, спросил Шепард.

— Мне не требуется новый ботинок, — сказал Джонсон. — А будет надо, соображу сам. — Лицо его было непроницаемо, но глаза поблескивали торжеством.

— Э, брат, тут не нога, — сказал протезист. — Не с головкой ли у тебя нелады?

— Сам пооди прополощи мозги, — сказал Джонсон. — Вон уж плешь подгорает.

Помрачнев, но сохраняя достоинство, протезист встал, разочарованно поболтал висящим на шнурке ботинком и спросил у Шепарда, что с ним делать.

Лицо Шепарда пылало темным, гневным румянцем. Взгляд остановился на кожаном корсете с приделанной к нему искусственной рукой.

Протезист повторил вопрос.

— Заверните, — с трудом проговорил Шепард. — Он перевел взгляд на Джонсона. — Значит, не дорос еще, — сказал он. — Я думал, он взрослее.

Подросток глумливо ощерился.

— Ошиблись, стало быть, — сказал он. — Вам это не впервой.

В этот вечер они по обыкновению сели читать в гостиной. Шепард мрачно укрылся за воскресным выпуском «Нью-Йорк таймс». Он силился вернуть себе хорошее расположение духа, но каждый раз при мысли об отвергнутом ботинке в нем с новой силой вскипало возмущение. Он не решался даже поднять глаза на своего подопечного. Понятно, впрочем, что Джонсон отверг ботинок лишь из-за неуверенности в себе. Его повергло в смятение собственное чувство благодарности. Он обнаружил в себе нечто новое и не знает, как с этим новым управляться. То, чем он был до сих пор, — под угрозой; он сознает это, он впервые увидел себя и свои возможности в истинном свете. Он подвергает сомнению собственное «я». Через силу Шепард вернул себе долю прежнего сочувствия к подростку. Спустя немного он положил газету и посмотрел на него.

Джонсон сидел на диване и отрешенно глядел куда-то вверх энциклопедии. Можно было подумать, что он прислушивается к чему-то вдальеке. Шепард следил за ним пристально — в самом деле слушает и головы не повернет. Да он совсем растерян, горемыка, думал Шепард. Я-то хорош, сижу целый вечер, как сыч, уткнул нос в газету и хоть бы слово проронил, чтобы разрядить обстановку.

— Руффус, — позвал он.

Джонсон сидел как изваяние и все прислушивался к чему-то.

— Руффус, — заговорил Шепард медлительным, властным голосом, — подумай, ты можешь стать кем угодно, кем

только пожелаешь. Хочешь — ученым или архитектором, хочешь — инженером, выбирай любое, что по душе; и в той области, какую ты облюбуйешь, ты можешь стать лучшим из лучших. — Он представлял себе, как его голос сочтется к Джонсону в темные провалы его подсознания. Подросток наклонился вперед, но глядеть продолжал туда же, что и раньше. На улице хлопнули автомобильной дверцей. Снова все стихло. И неожиданно — залиvistый трезвон из прихожей.

Шепард вскочил, пошел к двери, открыл ее. Опять тот же полицейский. И опять патрульная машина у тротуара.

— Покажите, где тут ваш молодой человек, — сказал полицейский.

Шепард, нахмурился, посторонился.

— Он весь вечер находился здесь, — сказал он. — Могу поручиться за это.

Полицейский прошел в гостиную. Джонсон, по всей видимости всецело захваченный чтением, поднял голову не сразу и раздраженно — ни дать ни взять, важная персона, которую оторвали от трудов.

— Что это ты, друг, высматривал на Зимней улице минут тридцать назад, через кухонное окошко? — спросил полицейский.

— Довольно травить мальчику! — сказал Шепард. — Я ручаюсь, что он находился здесь. Я сам был тут же.

— Слыхали, чего вам говорят? — сказал Джонсон. — Сидел все время здесь.

— Не всякий оставит после себя эдакие следы, — сказал полицейский, красноречиво скосив глаза на ногу Джонсона.

— Не может быть, это не его следы, — свирепея, прычал Шепард. — Он все время был здесь. Зря только тратите время — свое и наше. — Этим «наше» он как бы скрепил свое единение с Джонсоном. — Надоело в конце концов, — сказал он. — Обленились черт те как, не могут взяться и выяснить, кто это безобразничает. Чуть что — сразу сюда.

Не обращая на него внимания, полицейский продолжал буравить взглядом Джонсона. Медвежьи глазки на мясистом его лице светились умно и живо. Наконец он повернулся к двери.

— Накроем рано или поздно, — сказал он, — тепленького, нос в окне, хвост наружу.

Шепард проводил его и с шумом захлопнул дверь. Он испытывал необычайный подъем. До чего это кстати — как раз то, что требовалось. С радостным, нетерпеливым лицом он возвратился в гостиную.

Джонсон встретил его взглядом, исполненным ехидства. Книга лежала закрытой.

— Спасибочки,— сказал он.

Шепард оцепенел. Эта воровская усмешка... Малый откровенно глумился над ним.

— А вы и сами не дурак сбрехнуть,— сказал Джонсон.

— Сбрехнуть? — еле выговорил Шепард. Неужели Джонсон все-таки улизнул из дома и вернулся? У него потемнело в глазах. И тут же его подхватила и понесла волна гнева.— Так ты уходил? — в бешенстве спросил он.— Я не видел, чтобы ты уходил.

Мальчишка только скалил зубы.

— Ты ведь поднимался на чердак к Нортону,— сказал Шепард.

— Вот еще,— сказал Джонсон,— этот малец совсем чокнутый. Не спит, не ест, все бы только глазел в свой паршивый телескоп...

— Меня не интересует Нортон,— оборвал его Шепард.— Ты где был?

— Я-то? Сидел на розовом стульчаке, один-одинешенек,— сказал Джонсон.— Свидетелей не имеется.

Шепард достал платок и отер лоб. Ему удалось выжать из себя улыбку.

Джонсон закатил глаза.

— Не верите вы мне,— сказал он. Как в тот вечер, позавчера, в темной спальне, голос его звучал надтреснуто.— Сами прикидываетесь, что доверяете незнамо как, а сами ни фиги не доверяете. Все вы на один лад, почувуете, что пахнет керосином, и поминай как звали.— Надтреснутый голос стал деланным, дурашливым. В нем слышалась нескрываемая издевка.— Не верите мне. Не доверяете,— причитал он.— А между прочим, соображения в вас не больше, чем в том легавом. Насчет следов — это он ловил меня. Не было ведь следов. Там у черного хода все залито бетоном, а ноги у меня были сухие.

Непослушной рукой Шепард сунул платок в карман. Он осел на диван и опустил глаза на ковер. Увечная нога Джонсона оказалась в поле его зрения. Латаный опорок

ощерился на него в наглой усмешке Джонсона. Шепард вцепился в край дивана, так что побелели костяшки пальцев. Его сотряс приступ леденящей ненависти. Он ненавидел ботинок, ненавидел эту ногу, ненавидел мальчишку. Он побледнел. Он задыхался от ненависти. Он не узнавал себя.

Он схватил Джонсона за плечо и яростно стиснул — так хватаются, чтобы не упасть.

— Слушай,— сказал он.— Ты заглядывал в окно мне назло. Это единственное, чего ты добивался,— поколебать мою решимость помочь тебе. Но мою решимость поколебать нельзя. Я сильнее тебя. Я тебя сильнее, и я все равно тебя спасу. Добро восторжествует.

— А если оно липовое, ваше добро? — сказал Джонсон.— Если оно неправильное?

— Моя решимость осталась неизменной,— повторил Шепард.— Я во что бы то ни стало спасу тебя.

Глаза Джонсона вновь загорелись ехидством.

— Ничего вы меня не спасете,— сказал он.— Вы еще погоните меня из этого дома. Ведь те два дельца тоже сработал я — и в первый раз, и в тот раз, когда мне полагось сидеть в кино.

— Нет, я не прогоню тебя,— сказал Шепард. Слова звучали стерто, заученно.— Я тебя спасу.

Джонсон выставил голову вперед.

— Себя спасайте,— прошипел он.— Меня спасет Христос, больше никто.

Шепард отрывисто засмеялся.

— Оставь, меня не проведешь,— сказал он.— Это я еще в колонии вымел у тебя из головы. От этого я по крайней мере тебя избавил.

Лицо Джонсона напряглось. Его исказило такое отвращение, что Шепард невольно отшатнулся. В глазах мальчишки, как в паре кривых зеркал, он увидел себя страшным лицом, уродом.

— Ну, я вам покажу,— прошипел Джонсон. Он сорвался с места и опрометью кинулся к двери, точно не желал провести с Шепардом лишнюю секунду — но то была дверь в коридор, а не в переднюю. Шепард повернулся на диване и посмотрел назад, куда только что скрылся Джонсон. Он услышал, как хлопнула дверь его комнаты. Значит, он не уходит. От прежнего упорства в глазах Шепарда не

осталось и следа. Они смотрели тускло, безжизненно, как если бы слова подростка лишь сейчас дошли до глубин его потрясенной души и наступило откровение.

— Хоть бы он только ушел,— неслышно сказал он.— Хоть бы ушел теперь по собственной воле.

Утром Джонсон явился к завтраку в пиджачной паре с дедова плеча, которая была на нем, когда он пришел в первый раз. Шепард сделал вид, будто не замечает ничего необычного, хотя даже беглого взгляда было довольно, чтобы сказать ему то, что он знал и так,— что он попался, что отныне возможна лишь война на измор и победит в ней Джонсон. Зачем, зачем подвернулся ему на пути этот мальчишка. Сострадание изменило ему, он был опустошен. Он поспешил уйти из дому и целый день с ужасом думал о той минуте, когда пора будет возвращаться. Правда, в нем теплилась надежда, что, может быть, к тому времени Джонсон исчезнет. Может быть, дедов костюм означал, что он собрался уходить. К вечеру надежда окрепла. С замирающим сердцем подходил он к своему дому, открывал дверь.

В передней Шепард остановился и бесшумно заглянул в гостиную. Его лицо вытянулось, разом постарело, под стать его седине. Мальчики сидели рядышком на диване и читали вместе какую-то книгу. Щека Нортоня прильнула к черному рукаву Джонсона. Джонсон водил пальцем по строчкам. Два брата — старший и младший. Долгую минуту Шепард одеревенело глядел на эту картину. Потом шагнул в комнату, снял пиджак и бросил его на стул. Его не заметили. Он прошел на кухню.

Вечером перед уходом Леола оставляла ужин на плите, на стол подавал его Шепард. У него ныла голова, нервы были натянуты. Он опустился на табуретку и поник в тягостном раздумье. Нельзя ли чем-нибудь привести Джонсона в такое бешенство, чтобы он ушел сам? Вчера, например, он рассвирепел, когда ущемили в правах Христа. Да, Джонсон, может быть, рассвирепеет, но самому-то гаду. Отчего бы прямо не попросить его уйти? Признать свое поражение. Тошно, как подумаешь о новом столкновении с Джонсоном. Мальчишка держится так, будто это он, Шепард, виновен; будто видит в нем нравственного уроду. Он же вправе, не хвастаясь, считать себя хорошим

человеком, ему себя не в чем упрекнуть. А ощущения, которые сейчас вызывает в нем Джонсон, — они безотчетны. Разве он не хотел бы испытывать сострадание к этому подростку. Разве не хотел бы оказаться в силах ему помочь. Ах, наступило бы уж то время, когда в доме не останется никого, кроме него и Нортон, когда справляться нужно будет лишь с бесхитростным себялюбием сына да с собственным одиночеством.

Он встал, снял с полки посуду и подошел к плите. Рассеянно накладывал на тарелки мясное рагу с овощами, стручковую фасоль. Когда все было на столе, он позвал мальчиков ужинать.

Книгу они взяли с собой. Нортон отодвинул свой прибор на другую сторону стола, к прибору Джонсона, и перенес свой стул к его стулу. Они сели рядом и положили книгу посередине. Книга была в черном переплете, с красным обрезом.

— Это вы что читаете? — спросил Шепард, садясь за стол.

— Священное писание, — сказал Джонсон.

Господи, дай мне силы, беззвучно выговорил Шепард.

— Мы его свистнули в книжном киоске, — сказал Джонсон.

— Мы? — глухо переспросил Шепард. Он грозно оглядел Нортон. Он увидел осмысленное выражение лица, возбужденно сияющие глаза. Только сейчас Шепард заметил, какая перемена совершилась с его сыном. Мальчик словно бы пробудился от спячки. Оттого ли, что на нем была синяя ковбойка, или по другой причине, но такой яркой голубизны в его глазах Шепард еще не видел. Внове было и это непривычное оживление, признак новых и не детских пороков. — Значит, теперь ты еще и воруешь? — гневно сказал он. — Щедрости так и не выучился, зато научился воровать.

— Да не он, — сказал Джонсон. — Это я ее свистнул. Он только сторожил. Ему нельзя брать грех на душу. Мне то все едино, я так и так попаду в ад.

Шепард прикусил язык.

— Если, конечно, не покаюсь, — сказал Джонсон.

— Руфус, ты покайся, — просительно сказал Нортон. — Покайся, а? Зачем тебе в ад.

— Не болтай чепуху, — сказал Шепард, строго взглянув на сына.

— Уж если я покаюсь, я стану проповедником,— сказал Джонсон.— Делать, так до конца, наполовину — смысла нет.

— А ты кем хочешь стать, Нортон? — срывающимся голосом спросил Шепард.— Тоже проповедником?

Глаза мальчика заблестели лихорадочно и восторженно.

— Космонавтом! — вскричал он.

— Замечательно,— сказал Шепард с горечью.

— Тут главное верить в бога, без этого тебе от космических кораблей проку будет чуть,— сказал Джонсон. Он послонявил палец и начал листать Библию.— Стой, я тебе почитаю, где об этом сказано.

Шепард нагнулся вперед и тихо, сдерживая ярость, сказал:

— Руфус, положи Библию и ешь.

Джонсон как ни в чем не бывало продолжал мусолить страницы.

— Сию минуту отложи Библию! — закричал Шепард.

Джонсон остановился и поднял глаза. Вид у него был оторопелый, но довольный.

— Ты нашел себе эту книгу, чтоб было за что прятаться,— сказал Шепард.— Она написана для малодушных, кому страшно стоять на собственных ногах, собственным умом разбираться, что к чему.

У Джонсона вспыхнули глаза. Он слегка отодвинулся от стола.

— Вы в когтях сатанинских,— сказал он.— Не я один. Вы тоже.

Шепард потянулся через стол за Библией, но Джонсон успел схватить ее и положить себе на колени.

Шепард рассмеялся.

— Не веришь ты этой книжице, и сам знаешь, что не веришь!

— Нет, верю! — сказал Джонсон.— Почему вы знаете, во что я верю, во что — нет.

Шепард покачал головой.

— Не веришь. Чересчур хорошо у тебя варит голова.

— Ничего не чересчур,— буркнул Джонсон.— Много вы знаете про меня. Пусть бы я даже не верил, а там все равно правда.

— А ты и не веришь! — сказал Шепард. Лицо его подрашивало, издевалось.

— Нет, верю! — часто дыша сказал Джонсон. — Смотрите — вот как я верую! — Он раскрыл у себя на коленях Библию, вырвал страницу и закинул себе в рот. Не сводя с Шепарда глаз, он остервенело работал челюстями. Бумага шуршала у него на зубах.

— Перестань, — сказал Шепард чужим, неживым голосом. — Сейчас же прекрати.

Подросток высоко поднял Библию, зубами выдрал из нее еще страницу и с горящим взглядом принялся перемалывать ее во рту.

Шепард нагнулся через стол и вышиб книгу у него из рук.

— Выйди из-за стола, — холодно сказал он.

Джонсон проглотил то, что держал во рту. Глаза его широко раскрылись, словно им явилось сияние вечной славы.

— Съел! — задохнулся он. — Съел подобно Иезекиилю, и было в устах моих сладко, как мед!

— Вон из-за стола, — сказал Шепард. Его ладони по обе стороны тарелки сжались в кулаки.

— Съел! — воскликнул подросток. Сопричастность чуду преобразила его лицо. — Съел, как Иезекииль, и не надо мне после этого вашей пищи ни сейчас, ни во веки веков.

— Иди же тогда, — тихо сказал Шепард. — Уходи. Уходи.

Джонсон встал, взял Библию и направился с нею в переднюю. В дверях он остановился — черное тщедушное существо на пороге некоего ужасного прозрения.

— Вы в лапах дьявола, — возвестил он с ликованием в голосе и скрылся.

После ужина Шепард сидел один в гостиной. Джонсон покинул его дом, но ему не верилось, чтобы мальчишка ушел просто так. Первое чувство облегчения прошло. Им овладела вялость, его знобило — заболел, наверное, — в душу туманом вползал страх. Уйти и только — нет, для такого, как Джонсон, подобная развязка была бы слишком пресной; он еще вернется, еще постарается что-то доказать. Возьмет, да через неделю устроит им здесь пожар. С такого станется что угодно.

Шепард взял газету и попробовал читать. Секунду спустя он отшвырнул ее, встал, вышел в переднюю, прислушался. Не прячется ли Джонсон на чердаке? Шепард подошел к чердачной двери, открыл ее.

Фонарь горел, на ступеньки сеялся неясный свет. И ничего не было слышно.

— Нортон, это ты там наверху? — позвал Шепард. Никто не откликнулся. Он поднялся по узкой лестнице.

Оплетенный лианами теней от фонаря, сидел, прикинув к телескопу, Нортон.

— Нортон, куда пошел Руфус, не знаешь? — сказал Шепард.

Мальчик сидел спиной к нему. Он сгорбился в напряженном внимании, большие уши топырились прямо у него на плечах. Неожиданно он замахал рукой, тесней подбываясь к телескопу, устремляясь как можно ближе к тому, что он там видел.

— Нортон! — громче повторил Шепард.

Мальчик не шевелился.

— Нортон! — гаркнул Шепард.

Нортон вздрогнул и обернулся. Горячно сияли его глаза. Мгновение — и он опомнился, узнав Шепарда.

— Я ее нашел! — сказал он, прерывисто дыша.

— Кого нашел? — сказал Шепард.

— Мамочку!

Шепард бессильно прислонился к косяку. Вокруг мальчика гуще сплелись ползучие тени.

— Поди посмотри! — воскликнул Нортон. Он вытер взмокшее лицо полой ковбойки и опять припал к телескопу. Его спина застыла в напряженной неподвижности. Внезапно он снова замахал рукой.

— Нортон, — сказал Шепард. — То, что ты видишь в телескопе, — это скопление звезд, больше ничего. И хватит с тебя на сегодня. Иди-ка ты спать. Где Руфус, случайно не знаешь?

— Да вон же она! — крикнул мальчик, не отрываясь от телескопа. — Она мне помахала!

— Чтоб через пятнадцать минут ты был в постели, — сказал Шепард. И, чуть выждав, прибавил: — Слышишь, Нортон?

Мальчик изо всех сил замахал рукой.

— Я не шучу, — сказал Шепард. — Через пятнадцать минут я зайду проверю, в постели ты или нет.

Он спустился по лестнице и вернулся в гостиную. Потом пошел, открыл парадную дверь и выглянул наружу. Небо усеяно звездами — еще недавно он, глупец, мечтал, что их достигнет Джонсон. Где-то за домом, в рожице, гулко квакнула лягушка. Шепард пошел обратно к своему креслу, посидел немного. Нет, все-таки лучше пойти лечь. Он положил ладони на ручки кресла, и тут, как первый вестник беды, возник визгливый вой полицейской сирены, он медленно нарастал, приближаясь, пока не захлебнулся со всхлипом возле самого дома.

Холодная тяжесть легла на плечи Шепарду, словно кто-то окутал их ледяным плащом. Он вышел в переднюю и открыл дверь.

По дорожке к дому шли два полицейских, между ними, пристегнутый к каждому наручниками, — злобно оцетинившийся Джонсон. Рядом трусил репортер, в патрульной машине ждал еще один полицейский.

— Вот он, ваш молодой человек, — сказал тот, суровый. — Говорил я вам, что мы его накроем?

Джонсон бешено дернул к себе руку.

— Я вас дожидался нарочно! — сказал он. — Вам бы меня не накрыть, если б я сам не захотел попасться. Это у меня было так задумано. — Слова его были обращены к полицейскому, глумливая усмешка — к Шепарду.

Шепард глядел на него отчужденно.

— Почему же ты хотел попасться? — спросил репортер, забегая вперед, поближе к Джонсону. — Зачем ты построил так, чтобы тебя поймали?

То ли этот вопрос, то ли присутствие Шепарда повергли Джонсона в лютую ярость.

— Вот этому показать, Иисусу самозваному! — прошипел он и лягнул ногой в сторону Шепарда. — Корчит из себя господу бога. Чем быть в его доме, пускай я лучше буду в колонии — пускай хоть в тюрьме! Он в лапах дьявола. Он ни бельмеса ни в чем не смыслит, в сыночке его чокнутом и то разумения больше! — Он перевел дух и выметнул то невероятное, что приберег напоследок. — Он ко мне приставал!

Шепард побелел и ухватился за край двери.

— Приставал? — жадно подхватил репортер. — Как именно?

— Грязно приставал! — сказал Джонсон. — А вы думали как? Да не на такого напал, я в бога верую, я...

Лицо Шепарда свело как от боли.

— Он знает, что это неправда,— с усилием сказал он.— Он знает, что лжет. Я делал для него все, что только можно придумать. Делал для него больше, чем для родного сына. Я надеялся его спасти и не сумел, но это — поражение в честном бою. Мне себя не в чем упрекнуть. И я никогда его не совращал.

— Ты не припомнишь, как он к тебе приставал? — спросил репортер.— Ну, какие он тебе говорил слова?

— Он, гад, безбожник,— сказал Джонсон.— Он говорил, что ада нету.

— Ну, нагладелись друг на друга, и будет,— с привычным вздохом сказал один из полицейских.— Поехали.

— Погодите,— сказал Шепард. Он сошел на ступеньку ниже и впился глазами в зрачки Джонсона в последней отчаянной попытке обрести спасение.— Скажи правду, Руфус,— сказал он.— Зачем тебе это вранье? Ты не злодей, у тебя просто невероятная путаница в голове. Тебе нет надобности ополчаться на весь свет из-за своей ноги, нет надобности...

Джонсон рванулся вперед.

— Вы только послушайте его! — надсадно крикнул он.— Мне нравится врать и воровать, у меня это здорово выходит! Нога тут совсем ни при чем! В царстве небесное хромые внидут первыми! Увечных созовут на пир. Когда приспееет срок моего спасения, меня спасет Христос, а не этот нехристь, подонок, трепло, этот...

— Все, высказался,— сказал полицейский и дернул его назад.— Мы только хотели вам показать, что он попался,— сказал он Шепарду, конвоиры повернулись кругом и поволокли Джонсона прочь, а он, полуобернувшись, все выкрикивал что-то Шепарду.

— Хромые восхитят добычу! — надрывался он, но его голос уже поглотили стенки машины. Репортер забрался в кабину к водителю, захлопнул дверцу, сирена жалобно взвыла и понеслась в темноту.

Шепард стоял на прежнем месте, чуть согнувшись, как стоит подстреленный, пока его держат ноги. Минуту спустя он повернулся, вошел в дом и опять сел в кресло. Он закрыл глаза, отгоняя навязчивую картину: полицейское отделение, Джонсон в кругу репортеров плетет новые небылицы.

— Мне не в чем себя упрекнуть,— прошептал он. В каждом своем поступке он был самоотвержен, он ставил себе единую цель: спасти Джонсона для какого-нибудь достойного поприща, он не щадил себя, он пожертвовал своим добрым именем, он сделал для Джонсона больше, чем для родного сына. Скверна обволакивала его подобно зловонию, плотно, как если бы исходила от его же дыхания.

— Мне не в чем себя упрекнуть,— повторил он. Хрипло, безжизненно звучал его голос.— Я делал для него больше, чем для родного сына.— Безумная тревога внезапно обуяла его. Он услышал ликующий голос Джонсона. Ты в когтях сатанинских.

— Мне не в чем себя упрекнуть,— начал он снова.— Я делал для него больше, чем для собственного ребенка.— Он услышал свой голос как бы из уст своего обвинителя. Он повторил эти слова про себя.

Медленно с его лица схлынула краска. Оно стало почти серым под нимбом седых волос. Слова проносились в его сознании, и каждый слог отдавался тупою болью. Рот его искривился, он закрыл глаза, пронзенный откровением. Перед ним возникло лицо Нортонa, потерянное, несчастное, один глаз чуть приметно тяготел к виску, как бы не в силах прямо взглянуть в лицо горю. Сердце Шепарда стеснилось омерзением к себе, таким страстным и отчетливым, что ему стало нечем дышать. Он прожорливо набрасывался на добрые дела, тщась начинить ими свою пустоту. Он забросил родное дитя ради того, чтобы тешить свое тщеславие. Провидец дьявол, искунитель сердец, глумливо следил за ним глазами Джонсона. Собственный образ, созданный им в воображении, съезжился и истаял, оставив после себя черную тьму. Шепард сидел в оцепенении, скованный ужасом.

Он увидел Нортонa у телескопа — спина и уши, больше ничего, увидел, как взлетает его рука, машет изо всех сил. Прилив нестерпимой любви к сыну захлестнул его, как новый прилив жизни. Преображенное, ему явилось лицо мальчика, образ его спасения, осиянный светом. Шепард застонал от радости. Он ему все возместит. Никогда больше не даст ему страдать. Будет ему и отцом и матерью. Он вскочил и кинулся в комнату сына — поцеловать, сказать, что любит, что никогда больше не предаст его.

В комнате Нортон горел свет, но кровать стояла пустая. Шепард повернулся, взбежал по чердачной лестнице и на верхней ступеньке отпрянул назад, словно от края пропасти. Треножник был опрокинут, телескоп валялся на полу. Над ним, в дремучем переплетении теней, висел мальчик, чуть пониже балки, с которой он отправился в свой космический полет.



Окно спальни миссис Май было невысоко и выходило на восток, и бык, посеребрённый луной, стоял под ним, подняв голову, словно ждал, как некий терпеливый бог, явившийся искать ее любви, когда же в комнате послышится движение. Но окно оставалось темным, а ее дыхание слишком легким и не было слышно снаружи. На луну набежали облака, покрыли его тенью, и в темноте он принялся обрывать живую изгородь. Потом они проплыли, и он снова возник на том же месте, размеренно жуя и высоко держа на челе зеленый веночек, который он выдрал себе, зацепивши рогом ветку. Когда луна снова удалилась со сцены, о том, где он стоит, можно было догадаться лишь по мерному звуку жующих челюстей. Внезапно окно

розово озарилось. Полосы света упали на быка сквозь щели жалюзи. Он отступил на шаг и наклонил голову, словно показывая веночек у себя на рогах.

С минуту изнутри не доносилось ни звука, потом, когда он снова поднял венчанную голову, сдавленный женский голос сказал ему грубо, как говорят собаке: «Пшел отсюда, ну! — и добавил как бы про себя: — Чей-то беспородный бык, у негров сбежал, наверно».

Он взрыл землю копытом, и миссис Май, которая стояла, вытянув шею, у самого окна, поспешно сомкнула жалюзи, чтобы он не вздумал ринуться сквозь живую изгородь на свет. Несколько мгновений она еще так стояла, подавшись вперед и выжидая, и просторная ночная сорочка обвисала на ее узких плечах. Вокруг головы у нее аккуратно зеленели резиновые бигуди, а лицо было гладким, как гипс, под слоем белкового крема, который разглаживал морщины, пока она спала.

Еще во сне она слышала этот размеренный жующий звук, будто что-то пожирало одну из стен дома. И знала, что это продолжается с давних пор и что это что-то уже сжевало все, от забора до самого дома, и теперь жуёт стены и так же размеренно и спокойно сжует и дом, и ее самое, и ее сыновей, и пойдет дальше, и сжует все, кроме Гринлифов, — все-все, пока не останутся одни только Гринлифы на маленьком собственном островке посреди того, что было прежде ее владением. Когда оно дожевало до ее локтя, она вскочила и, окончательно проснувшись, увидела, что стоит посреди спальни. Что это за звук, она поняла сразу: корова гложёт кусты под окном. Мистер Гринлиф оставил открытыми ворота усадьбы, и у нее на лужайке уже, конечно, все стадо. Она включила тускло-розовую настольную лампу и, подойдя к окну, открыла жалюзи. Бык стоял в четырех шагах от нее, угловатый и длинноногий, и безостановочно жевал, как деревенский верзила ухажер.

Пятнадцать лет, думала она, возмущенно вглядываясь в темноту, пятнадцать лет чужие свиньи разрывают ее овсы, чужие мулы валяются на ее лужайке, чужие беспородные быки кроют ее коров, и она должна все терпеть. Этот вот, если его немедленно не загнать, продерется через изгородь и к утру перепортит ей все стадо — а мистер Гринлиф спит сладким сном в полумиле отсюда, у себя в сторожке. И единственный способ позвать его — это одеться, вывести машину, доехать до сторожки и разбудить его. Прийти он придет, но выражение его лица, весь вид и самое его молчание будут красноречиво говорить: «Вот уж не подумал бы, что двое сынов допустят свою мамашу разъезжать этак посреди ночи. Будь это мои сыны, они бы загнали быка сами, и дело с концом».

Бык опустил голову и потряс рогами, и венчик соскользнул вниз и лег ему на лоб наподобие устрашающего тернового венца. Вот тогда она и закрыла жалюзи, и через несколько мгновений он с шумом удалился.

Мистер Гринлиф сказал бы: «Будь это мои сыны, они бы ни о чем не допустили свою мамашу гонять среди ночи за работником. Они бы сами бы сгоняли».

Взвесив это, она решила не беспокоить мистера Гринлифа. Она снова легла в постель и стала думать о том, что если Гринлифовские сыновья и преуспели в жизни, то благодаря ей, это она дала их отцу работу, а ведь никому

другому он был задаром не нужен. Она держит мистера Гринлифа уже пятнадцать лет, хотя другие и пяти минут бы не стерпели. Достаточно посмотреть, если кто не слепой, как он ходит, и сразу видно, что за работник: ногами шаркает, голова втянута в плечи и прямо никогда не подойдет, а словно бы по краю какого-то невидимого круга, и, чтобы заглянуть ему в лицо, нужно забежать вперед. Она не увольняла его просто потому, что ведь неизвестно, попадется ли кто получше. Он был слишком ленив, чтобы ездить и подыскивать себе другое место; слишком нерасторопен, чтобы воровать; и, когда повторишь ему раза три или четыре, что надо сделать, он сделает, но, если он сообщал ей о болезни коровы, значит, было уже поздно звать ветеринара; и случись, загорится ее сарай, он бы сначала позвал жену посмотреть на пламя и только потом взялся бы тушить. А что до жены его, то о ней даже и думать не хотелось. Рядом с женой мистер Гринлиф просто аристократ. «Будь это мои сыны,— сказал бы мистер Гринлиф,— да они бы дали отрубить себе правую руку, а не позволили бы своей мамаше...»

«Будь у ваших сыновей хоть крупица гордости, мистер Гринлиф,— хотелось бы ей ответить ему когда-нибудь,— они бы много чего не позволили своей мамаше».

Назавтра утром, как только мистер Гринлиф явился к заднему крыльцу, она сказала ему, что по ее земле разгуливает чей-то бык и его надо немедленно поместить в загон.

— Третий уж день у нас,— сказал мистер Гринлиф, обращаясь к своей правой ступне, которую он поднял и слегка вывернул, словно хотел увидеть подошву. Он стоял на земле у заднего крыльца, а она говорила с ним через порог кухни с высоты трех ступенек — малорослая женщина с блеклыми близорукими глазами и седыми волосами, которые стояли торчком у нее над теменем, точно хохолок встревоженной птицы.

— Третий день! — повторила она визгливым шепотом, который стал для нее привычным.

Мистер Гринлиф, устремив взор куда-то за дальние пастбища, вынул из нагрудного кармана рубахи пачку сигарет и уронил одну себе на ладонь. Пачку он положил обратно и с минуту рассматривал сигарету в своей ладони.

— Загнал я его в бычье стойло, да только он вырвал-

ся,— проговорил он наконец.— А больше я его в глаза не видел.

Мистер Гринлиф сторбился, закурил и на мгновенье повернул к ней голову. Лицо его, постепенно сужаясь, оканчивалось вытянутым, похожим на совок подбородком. Рыжие крапчатые глаза были глубоко посажены и затенены полями серой фетровой шляпы, которую он носил сдвинутой наперед, почти на нос. Сложения он был никудышного.

— Мистер Гринлиф,— сказала она,— загоните этого быка сегодня же утром, прежде чем браться за что-либо иное. А то он нам перепортит всех коров. Загоните и не выпускайте и в следующий раз, когда сюда забредет чужой бык, извольте сообщить мне сразу же. Вы поняли?

— Куда ж мне, по-вашему, его загонять? — спросил мистер Гринлиф.

— Меня не интересует куда,— ответила она.— Должны же вы сами что-то соображать. Куда-нибудь, откуда он не вырвется. Чей это бык?

Было видно, что мистер Гринлиф колеблется, ответить или промолчать. Он разглядывал пространство где-то слева от себя.

— Чей-нибудь да должен быть,— ответил он наконец.

— Вот именно! — сказала она и довольно громко хлопнула у него перед носом дверь.

Она прошла в столовую, где завтракали ее сыновья, и села во главе стола на самый кончик своего стула. Сама она никогда не завтракала, но сидела с ними и смотрела, чтобы они ели как следует.

— Вы только подумайте,— начала она и подробно рассказала им все, изобразив даже, как мистер Гринлиф говорит про быка: «Чей-нибудь да должен быть».

Уэсли читал сложенную вчетверо газету, которая лежала рядом с его прибором, но Скофилд время от времени отрывался от тарелки, оборачивался к матери и смеялся. Эти двое ко всему относились по-разному. Они были разные, как день и ночь, любила повторять она. Общего у них только и было, что оба нисколько не интересовались хозяйством. Скофилд был делового склада, а Уэсли пошел по научной части. Уэсли, младший, перенес в семилетнем возрасте ревмокардит, и миссис Май считала, что из-за этого его и потянуло на науку. Скофилд, который за всю жизнь не проболел и дня, был страховым агентом. Миссис

Май ничего не имела бы против, если бы он только представлял какую-нибудь солидную, приличную фирму, но он продавал самые дешевые полисы, их брали одни негры. Он был для них «наш страховщик». Правда, он утверждал, что страховка негров — самое прибыльное дело, и при гостях любил распространяться на эту тему.

— Мама вот не жалуется такие разговоры, — провозглашал он во всеуслышанье, — но я — лучший негритянский страховщик на всю округу.

Скофилду шел тридцать седьмой год, у него было широкое, всегда улыбающееся лицо, но он до сих пор оставался холост.

— Что правда, то правда, — отвечала на это миссис Май, — вот работал бы ты от солидной фирмы, мог бы найти себе приличную девушку. А какая приличная девушка согласится выйти за негритянского страховщика? Когда-нибудь спохватишься, да поздно будет.

Скофилд в ответ неестественно взвизгивал и говорил:

— Что ты, мама! У меня и в мыслях нет жениться до твоей смерти. А уж тогда я подыщу себе толстомясую фермерскую дочку, чтобы управлялась здесь после тебя!

А однажды еще добавил:

— Какую-нибудь симпатичную особу, наподобие миссис Гринлиф.

В тот раз, когда он сказал такое, миссис Май поднялась со стула, прямая, точно доска, и ушла к себе в комнату. Посидела молча на краю кровати, сразу осунувшись личиком. Потом зашептала: «Я для них тружусь в поте лица, из сил выбиваюсь, чтобы содержать в порядке хозяйство, а только я умру, они поженятся на всяком отребье и сюда приведут и все погубят. Поженятся на всяком отребье и погубят все, что мною сделано». Вот тогда-то она и задумала изменить свое завещание. Назавтра же поехала к юристу и ввела в документ оговорку, лишаящую их права оставить недвижимость своим женам.

От одной мысли, что тот или другой может жениться на женщине, хотя бы отдаленно напоминающей миссис Гринлиф, ей становилось худо. Она пятнадцать лет терпела у себя мистера Гринлифа, но с присутствием его жены она мирилась все эти годы только потому, что научилась обходить ее стороной. Миссис Гринлиф была крупная и нерасторопная женщина. Двор, на котором она хозяйничала, походил на свалку, а ее пять дочек бегали неумытые —

даже маленькая и та жевала табак. Вместо того чтобы разводить огород или обстирывать своих детей, мать занималась тем, что сама именовала «исцелением молитвой».

Каждый день она вырезала из газет все страшное — про случаи изнасилования, и про беглых преступников, и сгоревших на пожаре детей, и про крушение поездов, и про авиационные катастрофы, и бракоразводные процессы кинозвезд. Вырезки она уносила в лес, закапывала там в ямку, а сама наваливалась сверху и целый час стонала и бормотала, то раскидывая толстые руки, то подгребая под себя что ни попало, и в конце концов, подозревала миссис Май, так и засыпала там прямо на земле.

Узнала она об этом, когда Гринлифы прожили у нее уже около полугода. Однажды утром она осматривала поле, которое она распорядилась засеять рожью, а возшло оно клевером, потому что мистер Гринлиф по ошибке засыпал в барабан сеялки не те семена. Она шла обратно по засаженной деревьями меже, разделявшей два выгона, и разговаривала сама с собой, ударяя в землю длинным посохом, который брала на случай встречи со змеей. «Мистер Гринлиф,— говорила она вполголоса,— мне не по средствам расплачиваться за ваши ошибки. Я бедная женщина, и мое хозяйство — это все, что у меня есть. У меня два сына, которым нужно дать образование. И я не могу...»

Тут до нее непонятно откуда донесся хриплый, стонающий голос: «Иисусе! Иисусе!» Минуту спустя повторилось с душераздирающей настойчивостью: «Иисусе! Иисусе!»

Миссис Май остановилась как вкопанная, поднеся руку к горлу. Звук был такой нечеловечески жуткий, ей почудилось, будто какая-то яростная сила вырвалась из-под земли и несется прямо на нее. Потом ей пришла в голову мысль более простая: кто-то получил увечье на ее земле и теперь отсудит за это все ее имущество. Страховки у нее не было. Она бросилась бегом по меже и за поворотом вдруг увидела миссис Гринлиф на четвереньках, с низко опущенной головой.

— Миссис Гринлиф! — взвизгнула она. — Что случилось?

Миссис Гринлиф подняла голову. Лицо ее было все в разводах слез и грязи, маленькие гороховые глазки покраснели и распухли, но челюсти были сжаты, как у буль-

дога. Она раскачивалась, стоя на четвереньках, и стонала: «Иисусе, Иисусе!».

Миссис Май передернуло. Она считала, что это имя уместно только в церкви, как иные слова уместны лишь в четырех стенах спальни. Она была хорошая христианка и глубоко уважала религию, но, разумеется, верить ни во что это не верила.

— Что с вами? — спросила она строго.

— Не мешайте, — отмахнулась миссис Гринлиф. — Я не могу говорить, пока не кончу исцеления.

Миссис Май стояла над ней, пригнувшись и разинув рот, и держала занесенную палку, словно не могла решить, куда панести удар.

— О, Иисусе, пронзи мое сердце! — взывала миссис Гринлиф. — Иисусе, пронзи мое сердце! — И повалилась ничком на землю, большой глыбой человеческого мяса, раскинув руки и ноги, словно пытаюсь обхватить ими земной шар.

Миссис Май почувствовала растерянность и бессильный гнев, словно ее оскорбил ребенок.

— Иисусу, — проговорила она, выпрямляясь, — было бы стыдно за вас. Он велел бы вам немедленно встать и пойти постирать на ваших детей.

И, повернувшись, она со всех ног зашагала прочь.

Теперь всякий раз, когда она задумывалась о том, как преуспели в жизни Гринлифовские сыновья, ей довольно было вспомнить миссис Гринлиф, бесстыдно распростертую на земле, и сказать самой себе: «Ну, как там далеко они ни пошли, вот она, их порода».

Ей было жаль, что нельзя так распорядиться завещанием, чтобы после ее смерти Уэсли и Скофилд не держали мистера Гринлифа. Она-то знала на него управу, а они нет. Один раз мистер Гринлиф заметил ей, что ее сыновья не умеют отличить сена от силоса. Она тогда ему ответила, что у них зато имеются другие таланты, что Скофилд преуспевает в делах, а Уэсли — в научной работе. Мистер Гринлиф ничего на это не сказал, но он никогда не упускал случая выразить ей жестом или взглядом, как глубоко он их обоих презирает. Уж, казалось бы, такое отребье, эти Гринлифы, а он по всякому поводу давал ей понять, что в сходных обстоятельствах его сыновья — О. Т. и Ю. Т. Гринлифы — повели бы себя более достойным образом.

Сыновья Гринлифа были года на три моложе сыновей миссис Май. Они были близнецы, и, разговаривая с одним, невозможно было угадать, который это — О. Т. или Ю. Т., а у них самих не хватало воспитания вразумить вас на этот счет. Были они длинноногие, костлявые, с облупленными носами и блестящими понятливыми глазами, такими же рыжими, как у отца. Все в них вызывало гордость мистера Гринлифа, даже то, что они близнецы. Можно подумать, говорила миссис Май, что это их собственное гениальное изобретение. Конечно, они были дельные и работающие и в жизни далеко пошли, ничего не скажешь, но это все вторая мировая война.

Оба вступили в армию и, переодетые в военную форму, выглядели точь-в-точь как сыновья других людей. Конечно, их можно было распознать по первому же слову, но они все больше помалкивали. А самое главное, они сумели попасть за границу и там поженились на француженках. И не на каких-нибудь голодранках, а на приличных девушках, ведь не могли же те знать, как они коверкают английский язык и вообще что за люди эти Гринлифы.

Уэсли слабое сердце не позволило вступить в ряды защитников родины, а Скофилд отслужил в армии два года. Ему это было не по душе, и он кончил всего только рядовым. А Гринлифовские сыновья были оба какими-то там сержантами, и мистер Гринлиф всю войну иначе о них не говорил, как только величая по чину. Они оба ухитрились получить ранения, и теперь обоим идет пенсия. Мало того, они лишь только пришли из армии, воспользовались льготами для демобилизованных и поступили учиться на сельскохозяйственный факультет университета, а налогоплательщики пока кормили их француженок-жен. И теперь оба жили в двух милях от нее на участке, который правительство помогло им купить, в кирпичном сдвоенном доме, который правительство помогло им построить и оплатить. Если кому-нибудь война — мать родная, говорила миссис Май, то это Гринлифовским сыновьям. У них было теперь по тройке детишек, лопочущих на Гринлифовском английском и на французском, и поедут они учиться в монастырскую школу, как принято в семьях их матерей, и получают хорошее воспитание.

— И через двадцать лет эти люди будут знаете кем? — спрашивала миссис Май у Скофилда и Уэсли. И мрачно отвечала: — Высшим обществом.

Пятнадцать лет она билась с мистером Гринлифом, и теперь умение прилаживаться к нему стало для нее второй натурой. От того, в каком он сегодня расположении духа, она зависела в своих делах не меньше, чем от погоды. И она научилась читать его лицо, как настоящие деревенские жители читают восходы и закаты.

Сама она была деревенской жительницей только по необходимости. Покойный мистер Май был дельцом и купил эту землю, когда участки шли за бесценок. Однако в наследство он ничего другого не оставил. Мальчишкам не очень-то по сердцу было перебираться из города на заброшенную ферму, но другого выхода не было. Она продала на сруб лес со своего участка, а на эти деньги завела молочное хозяйство, заручившись по газетному объявлению помощью мистера Гринлифа. «В ответ на ваше объявление еду двумя сыновьями», — оповестил он ее, но, когда он на завтра действительно приехал на собранном из старых частей грузовике, кроме него и двух мальчиков в кабине, в кузове прямо на полу сидели еще жена и пять дочек.

За годы, что они у нее прожили, ни мистер, ни миссис Гринлиф нисколько не постарели. Естественно — никакой ответственности, никаких тревог. Живут, точно цветики божи, на тучной от ее трудов земле. Когда труды и заботы сведут ее в могилу, Гринлифы останутся в полном здравии и благополучии и сразу же сядут на шею Скоффилду и Уэсли.

Уэсли говорил, что миссис Гринлиф оттого не стареет, что дает выход всем своим страстям в молитвах. «Тебе бы надо приняться за исцеление молитвой, дорогуша», — заключал он советом, которому не мог, бедный мальчик, не придать издевательского тона.

Скоффилд, конечно, выводил ее из себя, но действительно серьезную тревогу внушал ей Уэсли. Он был худ, нервозен, лыс, и вообще ученые занятия при его здоровье были для него почти непосильной нагрузкой. На то, что он женится, пока она жива, у нее не было никакой надежды, а уж потом, она знала, его приберет к рукам совсем не та женщина, какая ему нужна. Скоффилд не пользовался успехом у приличных девушек, тогда как Уэсли самому не нравились приличные девушки. Ему вообще ничего не нравилось. Каждый день он ездил за двадцать миль в университет, где состоял преподавателем, и каждый вечер проделывал те же двадцать миль в обратном

направлении, но при этом не уставал говорить, что ему противны эти поездки и противен этот второразрядный университет и все дегенераты, которые там учатся. Ему противна была местность, в которой они жили, и жизнь, которую они вели; противно было жить с матерью и болваном-братцем, противно слушать с утра до ночи про эту чертову молочную ферму, и про идиота-работника, и про вечно неисправный инвентарь. Но несмотря на такие разговоры, он не делал ни малейших попыток куда-нибудь перебраться. Рассуждал о Париже, о Риме, а сам не побывал даже в Атланте.

— Попадешь в чужие края, обязательно заболеешь,— говорила ему миссис Май.— Кто тебе в Париже устроит бессолевую диету? А думаешь, если ты женишься на какой-нибудь из этих твоих, так она станет устраивать тебе бессолевую диету? Да, как бы не так!

Когда она принималась ораторствовать на эту тему, Уэсли грубо поворачивался к ней спиной и переставал слушать. Один раз, когда она чересчур долго не унималась, он огрызнулся:

— Так что же ты ничего не предпримешь, женщина? Помолилась бы за меня, что ли, как миссис Гринлиф.

— Не люблю, когда мои дети отпускают шуточки насчет религии,— сказала она тогда.— Ходили бы лучше в церковь, могли бы познакомиться с приличными девушками.

Но им бесполезно было что-нибудь говорить. Вот и сейчас, когда она переводила взгляд с одного на другого и видела, что им ни малейшего дела нет до того, что приبلудный бык может погубить ее стадо — их стадо, их будущее,— когда она смотрела, как они сидят, один — скрючившись над газетой, другой — откинувшись вместе со стулом назад и обернувшись к ней с идиотской ухмылкой, ей хотелось вскочить, ударить кулаком об стол и закричать: «Погодите, вы еще узнаете! Вы еще узнаете, что такое жизнь, да поздно будет!»

— Мама,— сказал Скоффилд,— ты только не волнуйся, но я тебе сейчас открою, чей это бык.— Взгляд его был ехиден. Он опустил ножки стула и встал. Пригнувшись и прикрыв голову руками, на цыпочках прошел к двери, вышел, пятясь, за порог, потянул за собою дверь и просунул голову назад в кухню.— Сказать, детка?

Миссис Май холодно посмотрела на него через плечо.

— Это бык О. Т. и Ю. Т. Гринлифов, вот чей,— сказал Скофилд.— Я вчера заезжал за взносом к их негру, и он сообщил мне, что у них пропал бык.

И, сверкнув преувеличенно широкой улыбкой, он бесшумно исчез.

Уэсли поднял глаза от газеты и захохотал.

Миссис Май снова повернулась к нему. Лицо ее не дрогнуло.

— Я здесь единственный взрослый человек,— произнесла она. Перегнувшись через стол, она потянула к себе газету.— Вам понятно, что тут будет, когда я умру и вы должны будете сами иметь с ним дело? Вам понятно, почему он не знал, чей это бык? Потому что это их бык. Вам понятно, с чем мне приходится мириться? Ведь если бы я не держала его за горло все эти годы, вы бы сами, голубчики, должны были каждое утро в четыре часа доить коров.

Уэсли притянул назад газету и, глядя матери прямо в лицо, вполголоса сказал:

— Даже для спасения твоей души я бы все равно не стал доить никаких коров.

— Как будто я не знаю! — срывающимся голосом воскликнула миссис Май. Она откинулась на спинку стула и вертела в пальцах нож.— О. Т. и Ю. Т. прекрасные мальчики,— проговорила она.— Им бы надо было родиться моими сыновьями.— Мысль эта была так ужасна, что прозрачная стена слез сразу же загородила сидящего перед нею Уэсли. Ей видна была только расплывчатая тень, вдруг воздвигаемая над столом.

— А вам,— крикнула она,— вам бы лучше родиться у той женщины!

Он шел к двери.

— Просто не знаю,— тонким голосом сказала она,— что с вами будет после моей смерти.

— Все-то ты скулишь про свою смерть,— прошипел он с порога.— А на мой взгляд, у тебя лошадиное здорье.

Она осталась сидеть за столом, прямо держа голову, глядя через окно напротив в неясную серо-зеленую даль. Потом глубоко вздохнула, прищурилась, откинув голову, но вид в окне по-прежнему расплывался водянистым серым пятном. «Пусть не думают, что я уже умирать собралась»,— негромко сказала она, а какой-то голос внутри

нее с вызовом добавил: «Когда мне надо будет, тогда и умру!»

Она утерла глаза салфеткой, встала и подошла к окну. За дорогой расстилались два зеленых выгона, на них паслись коровы, а вдали их замыкала черная стена деревьев, зубчатая, как пила, и отстраняла равнодушное небо. Вида пастбищ было довольно, чтобы она успокоилась. В какое бы окно своего дома она ни посмотрела, ей открывалось отражение ее собственного «я». Городские знакомые уверяли, что она — самая замечательная женщина на свете. Поселиться вот так, практически без копейки и без всякого опыта, на какой-то захудалой ферме и добиться успеха!

— Когда все против вас,— говорила она,— и погода, и грязь непролазная, и работник. Ну словно сталкивались против вас. Тут единственное спасение — это железная рука.

— Смотрите все на мамину железную руку! — кричал в таких случаях Скофилд, хватал ее за локоть и поднимал ее руку кверху, и нежная, с голубыми жилками кисть болталась, точно лилия на сломанном стебле. Все неизменно раздражались смехом.

В облачном небе над черно-белыми коровами едва заметным светлым пятном проступало солнце. Она перевела взгляд вниз и увидела черную тень, словно обратное отражение этого пятна, передвигающуюся среди коров. Она вскрикнула и выбежала из дома.

Мистер Гринлиф стоял в силосной яме и грузил тачку. Миссис Май подошла к самому краю и посмотрела вниз.

— Я, кажется, сказала, чтобы вы заперли этого быка. Он теперь разгуливает в молочном стаде.

— Нельзя делать два дела зараз,— философски заметил мистер Гринлиф.

— Я сказала, чтобы это было сделано в первую очередь.

Он выкатил тачку с пологого конца ямы к сараю, но миссис Май шла за ним по пятам.

— И не думайте, пожалуйста, мистер Гринлиф,— сказала она,— мне отлично известно, чей это бык и почему вы не спешили сообщить мне о его появлении. Пока бык О. Т. и Ю. Т. тут портит мое стадо, пусть, значит, заодно кормится на моих лугах?

Мистер Гринлиф опустил тачку и обернулся.

— Неужто это моих сынов бык? — изумленно спросил он.

Она ни слова не ответила. Только поджала губы и посмотрела вдаль.

— Они говорили, что у них бык сбежал, да я не знал, что это он и есть.

— Немедленно загоните и закройте его, — распорядилась она. — А сама я еду к О. Т. и Ю. Т. и скажу им, чтобы они сегодня же за ним приехали. Надо бы взыскать с них плату за то время, что он пробыл здесь, тогда бы это больше не повторилось.

— Они и отдали-то за него всего семьдесят пять долларов, — намекнул мистер Гринлиф.

— Мне его и задаром не нужно, — отрезала она.

— Они как раз собирались свезти его на бойню, — не отступался мистер Гринлиф, — да он сорвался и пропорол рогами пикап. Не любит машины. Сколько бились, пока вытащили ему рог из бампера, а когда выдрали, он дал стрекача, а у них уж сил не было за ним гоняться — только я не знал, что это он и есть.

— Вам не было расчёту знать, мистер Гринлиф, — сказала она. — Но теперь вы знаете. Садитесь на лошадь и загоните его.

Полчаса спустя из окна своей гостиной она увидела быка — рыжий, с торчащими мослами и длинными светлыми рогами, он вразвалку шел по аллее, ведущей к дому. Сзади на лошади ехал мистер Гринлиф.

— Вот уж по всем статьям Гринлифовский бык, ничего не скажешь, — проговорила она вполголоса и вышла на крыльцо. — Загоните его куда-нибудь, откуда ему не вырваться! — крикнула она мистеру Гринлифу.

— Любит, скотина, на волю вырваться, — ответил он, с одобрением поглядывая на крестец быка, — молодец хоть куда.

— Если ваши сыновья за ним не приедут, быть этому молодцу говядиной, имейте в виду!

Он слышал, но ничего не ответил.

— Вот уродина, в жизни такого не видела! — крикнула она ему вслед, но он уже скрылся за поворотом дороги.

Дело шло к полудню, когда она свернула с шоссе к дому О. Т. и Ю. Т. Новое одноэтажное строение, похожее на склад с окнами, стояло на вершине безлесного холма.

Солнечные лучи падали отвесно на белую крышу. Дом был как дом, такие строили теперь все, и ничто не указывало на его принадлежность Гринлифам, разве вот три собаки, помесь гончей со шпицем, выбежавшие из-за угла, как только она остановила машину. По собакам всегда можно сказать, что за люди их хозяева, сказала она себе и, не выходя из машины, посигналила. Дожидаясь, пока кто-нибудь покажется, она продолжала рассматривать дом. Все окна были закрыты, не иначе как правительство установило им кондиционеры. Никто не показывался, она посигналила еще раз. Наконец одна дверь открылась и на пороге появилась кучка детей. Они толпились в дверях и смотрели на нее, но с места не двигались. Вот уж воистину чисто Гринлифовская черта — они так могут стоять в дверях и глазеть целый час.

— Дети, может быть, кто-нибудь из вас подойдет ко мне? — позвала она.

Они еще минуту постояли и все вместе медленно двинулись вперед. Дети были в комбинезончиках и босиком, но вовсе не настолько грязны, как она ожидала. Двое или трое были с виду типичные Гринлифы, остальные ни то ни се. Младшая была девчонка с гривкой спутанных черных волос. Шагах в пяти от автомобиля они остановились, не сводя с нее глаз.

— Ах ты, какая хорошенькая, — сказала миссис Май младшей девочке.

Ответа не последовало. На всех лицах застыло одинаковое невозмутимое выражение.

— Где ваша мама? — спросила она.

На это сначала тоже не последовало ответа. Потом один ребенок сказал что-то по-французски. Миссис Май по-французски не говорила.

— А где папа? — спросила она.

Немного погодя один из мальчиков прогнусавил совсем по-гринлифовски:

— Тозе нету.

— Ага, — удовлетворенно откликнулась миссис Май, словно получила доказательство чему-то. — А где же ваш негр?

Она подождала и убедилась, что никто ей не ответит.

— Кошка проглотила шесть язычков, — сказала она. — Вот поедемте со мной, я вас научу разговаривать. — Она засмеялась, но смех ее повис в воздухе. У нее возникло

чувство, будто она стоит перед судом присяжных, которые все как один Гринлифы и сейчас ей вынесут смертный приговор.— Я съезжу поищу вашего негра,— сказала она.

— Позалуйста,— ответил один из мальчиков.

— И на том спасибо,— пробормотала она, отъезжая.

К коровнику вела от дома грунтовая дорога. Миссис Май никогда не была в нем, но мистер Гринлиф описывал ей его подробнейшим образом, потому что там все было оборудовано по последнему слову техники. У них была установка для механической дойки коров. Молоко по трубам бежит от машин в молочную, и рука человеческая не прикасается к нему, и не надо таскать его ведрами, пояснял мистер Гринлиф.

— А вы когда же заведете у себя такую? — спросил он при этом.

— Мистер Гринлиф,— ответила она ему тогда,— мне приходится самой о себе заботиться. Мне-то правительство не помогает на каждом шагу. Доильная установка обошлась бы мне в двадцать тысяч. Я и так едва свожу концы с концами.

— У моих сынов есть такая,— негромко заметил мистер Гринлиф, а затем последовало: — Да ведь не все дети одинаковы.

— Вот именно! — подхватила она.— И я благодарю за это господа.

— Я за все что ни на есть благодарю господу,— протянул мистер Гринлиф.

Еще бы вам не благодарить, подумала она среди наступившего грозного молчания, сами-то вы для себя ровным счетом ничего не сделали.

Она затормозила перед коровником и посигналила, но никто не вышел. Несколько минут она сидела в автомобиле и разглядывала разные машины, которые у них там стояли. Интересно, заплачено за них или нет. И сеноуборочная, и ротационная сенопрессовка. У нее эти тоже есть. Она решила, пока никто не видит, заглянуть в доильню и посмотреть, в чистоте ли они ее содержат.

Открыв дверь доильни, она просунула голову внутрь, и у нее перехватило дыхание. В белоснежные бетонные стены плескались волны солнечного света, лившегося сквозь ряд окон на высоте человеческого роста. Металлические стойки сверкали так, что больно было смотреть.

Она отступила назад и поспешно закрыла дверь. Постояла, прислонившись к ней спиной. Снаружи свет был не так ослепителен, но она почувствовала, что солнце серебряной пулей ударило ей в голову и сейчас вонзится в самый мозг. В это время из-за навеса, где стояли машины, появился негр, он нес в руке желтое ведро с телячьим кормом. Он шел прямо к ней. Это был светлокожий молодой негр в поношенной гимнастерке с хозяйского плеча. Остановившись на почтительном расстоянии, он опустил ведро на землю.

— Где мистер О. Т. и мистер Ю. Т.? — спросила она.

— Масса О. Т., он в городе, а масса Ю. Т., он вон на том поле, — ответил негр, указав пальцем сначала налево, потом направо, словно определяя местоположение двух планет на небосклоне.

— Ты запомнишь, что им передать? — спросила она с сомнением в голосе.

— Не забуду, так запомню, — ответил он, насупившись.

— Тогда я лучше напишу, — сказала она. Она влезла в машину, достала из сумочки огрызок карандаша и начала писать на пустом конверте. Негр подошел ближе и встал у окна машины.

— Я — миссис Май, — пояснила она, не прерывая писания. — У меня на ферме их бык, и я хочу, чтобы его сегодня же забрали. Можешь сказать им, что я очень сердита.

— Да этот бык еще в субботу у нас пропал, — сказал негр. — С тех пор мы никто его и не видели. Мы и не знали, где он есть.

— Ну, так теперь знаете, — отрезала она. — И можешь сказать мистеру О. Т. и мистеру Ю. Т., что, если они сегодня за ним не приедут, я завтра же утром велю их папаше его пристрелить. Не буду ждать, пока он перепортит мне все стадо.

Она передала ему записку.

— Как я это дело понимаю, — сказал негр, беря конверт, — масса О. Т. и масса Ю. Т. вам только спасибо скажут. Он нам уже один грузовик разнес, не чаем, как от него избавиться.

Она запрокинула голову и посмотрела на него чуть помутневшими глазами.

— Так они ждут, что я употреблю свое время и время своего работника на то, чтобы пристрелить их быка? —

возмутилась она.— Он им, видите ли, не нужен, поэтому они отпускают его на все четыре стороны и пусть другие его убивают? Он травит мои овсы и портит мое стадо, и мне же еще его и пристреливать?

— Выходит, так,— негромко ответил негр.— Он нам уже...

Она метнула на него убийственный взгляд.

— Ну, что ж. Ничего удивительного.— Она поджала губы.— Просто есть такие люди.— И, сделав паузу, спросила: — А который из них хозяин, О. Т. или Ю. Т.?

Она всегда подозревала, что втайне они враждуют между собой.

— Они никогда не ссорятся,— серьезно сказал негр.— Они как один человек в двух лицах.

— Гм. Просто ты не слышал, как они ссорятся.

— И я не слышал, и никто того не слышал! — ответил он, глядя в сторону, словно перечил не ей, а еще кому-то.

— Ну да,— хмыкнула она.— Я как-никак пятнадцать лет терплю их папашу и в Гринлифах немного смыслю.

Негр посмотрел на нее, будто только что увидел.

— А не вы будете моего страховщика мать? — спросил он.

— Не знаю никакого страховщика,— резко ответила она.— Вот передашь записку да скажи на словах, если сегодня не приедут за быком, их же папаша его завтра и пристрелит,— и отъехала прочь.

До вечера она сидела дома, дожидаясь, когда приедут близнецы за своим быком. Никто не приехал. Словно она у них в работах, негодую, думала она. Они просто решили урвать с нее все, что возможно. За ужином она опять подробно пересказала все сыновьям, чтобы они понимали, на что способны О. Т. и Ю. Т.

— Им, видите ли, этот бык не нужен,— говорила она,— передай-ка масло — поэтому они просто-напросто выпускают его и пусть другие думают, что с ним делать. Как вам это нравится? А страдать должна я. Мне всегда приходится страдать.

— Передай масло страдалице,— сказал Уэсли. Он был в особенно скверном настроении, потому что по пути из университета у него сел баллон.

Скофилд передал ей масло и сказал:

— Ай-яй-яй, мама, и не стыдно тебе убивать старого быка, который никому не сделал худого, только подбавил

немного беспородной крови в твое стадо? Чтоб у такой мамочки и вырос такой паинька-сын, как я! Просто диво, ей-богу.

— Да ты ей не сын,— тихо сказал Уэсли.

Она откинулась на спинку стула, держа пальцы на краю стола.

— Я только знаю, что я просто молодец, раз вырос такой хороший при моем-то происхождении.

Когда они дразнили ее, то нарочно говорили, как Гринлифы. Но сквозь речь Уэсли, точно острие ножа, проблекивала его природная желчность.

— Слышь ты, я тебе кой-чего скажу, брательник,— начал он, вытянув над столом шею.— Ты б это и сам давно усек, если бы мозгой пошевелил.

— Ну, и чего ж это, брательник? — подхватил Скофилд, ухмыляясь в перекошенное узкое лицо брата своей довольной, во всю ширину щек, улыбкой.

— А то,— продолжал Уэсли,— что и ты ей не сын, и я не сын...

Он оборвал фразу, потому что она вдруг визгливо всхрапнула, словно старая лошадь, которую полоснули хлыстом, поднялась и выбежала из комнаты.

— О, черт,— прошипел Уэсли.— Ты зачем ее довел?

— Я не доводил,— огрызнулся Скофилд.— Это ты ее довел.

— Как бы не так!

— Она уже не молода и не может все переварить.

— Она может только изрыгать, а переваривать все приходится мне,— сказал Уэсли.

Добродушное лицо Скофилда безобразно исказилось, обнаружив черты сходства с братом.

— Никому тебя не жалко, дерьмо поганое! — выдохнул он и, перегнувшись через стол, схватил Уэсли за грудь.

Миссис Май из своей комнаты услышала звон разбиваемой посуды и побежала через кухню обратно в столовую. Она успела увидеть, как Скофилд выходит через другую дверь в коридор. Уэсли лежал на спине, точно огромный жук, край опрокинутого стола придавил его поперек туловища, а сверху усеяли осколки тарелок. Она сдвинула стол, ухватила Уэсли за локоть, чтобы помочь ему встать, но он кое-как сам поднялся, с неожиданной силой оттолкнул ее и бросился вон вслед за братом.

Все поплыло у нее перед глазами, но в эту минуту раздался стук у заднего крыльца, и она поспешила обратиться к кухне сразу окаменевшее лицо. За проволочной сеткой, натянутой в дверях, стоял мистер Гринлиф. Вся ее энергия немедленно возвратилась к ней, словно ей нужен был только вызов дьявола, чтобы снова стать собою.

— Я слышал, чтой-то грохнулось! — крикнул ей мистер Гринлиф. — Думал, может, штукатурка на вас обвалилась!

Был бы он ей сейчас нужен, его бы верхом не сыскать. Она прошла через кухню, вышла на крыльцо и сказала, остановившись у самой сетки:

— Да нет, ничего особенного. Просто стол опрокинулся. Одна ножка у него плохо держалась, — и тут же без паузы, — ваши сыновья не приехали за быком, так что завтра извольте его пристрелить.

Поперек неба тянулись узкие фиолетовые и красные полосы, и по ним, как по лестнице, медленно спускалось солнце. Мистер Гринлиф присел на нижней ступеньке крыльца спиной к хозяйке, и туляя его шляпы оказалась вровень с носками ее туфель.

— Завтра утром я вам его отгоню домой, — сказал он.

— Нет уж, извините, мистер Гринлиф, — издевательским голосом возразила она. — Вы его завтра отгоните домой, а на будущей неделе он снова тут как тут. Я уже учена, — и с горечью добавила: — Не думала я, что О. Т. и Ю. Т. так со мною обойдутся. Я-то ждала от них благодарности. Ваши сыновья провели у меня на ферме немало счастливых дней, ведь так, мистер Гринлиф?

Мистер Гринлиф ничего не ответил.

— По-моему, так, — продолжала она. — По-моему, так. Но теперь они позабыли все то хорошее, что я для них делала. Помнится, они и старую одежду моих сыновей носили, и старыми их игрушками играли, и кроликов из их старых ружей стреляли. Они купались в моем пруду, охотились на мою дичь и удили рыбу в моем ручье, и я никогда не забывала их день рождения, а там уж и рождество, оглянуться не успеешь. Ну, а помнят они обо всем этом сейчас? — спросила она и ответила: — Нет, какое там.

Несколько мгновений она молча смотрела вслед уходящему солнцу, а мистер Гринлиф разглядывал собственные

ладони. Потом, словно мысль эта только теперь пришла ей в голову, она спросила:

— А знаете, какая настоящая причина, что они не приехали за этим быком?

— Нет,— нехотя отвечал мистер Гринлиф.

— Причина та, что я женщина,— объявила она.— Все с рук сойдет, когда имеешь дело с женщиной. Будь тут мужчина хозяин...

Молниеносно, как наносит удар змея, мистер Гринлиф отозвался:

— У вас два сына. Они знают, что у вас в доме двое мужчин.

Солнце скрылось за краем леса. Она перевела взгляд вниз на запрокинутое теперь темное, насмешливое лицо и настороженные глаза, поблескивающие из-под полей шляпы. По затянувшемуся молчанию он мог убедиться, что причинил ей боль; потом она со вздохом сказала:

— Есть люди, мистер Гринлиф, которые выучиваются благодарности слишком поздно, а есть и такие, что так и не выучиваются никогда.

И, повернувшись, скрылась в доме, оставив его одного сидеть на крыльце.

Полночи она сквозь сон слышала какой-то звук, словно большой камень сверлил дыру в наружной ограде ее мозга. Сама она гуляла внутри ограды по живописным холмам, ставя перед собой палку при каждом шаге. Потом она поняла, что это звучит солнце, которое хочет прожечь частокол леса, и остановилась посмотреть, что будет. Она чувствовала себя в безопасности, так как знала, что оно не сможет, что оно обязательно должно будет сесть, как садилось всегда, далеко за пределами ее владений. Когда она только остановилась, оно было разбухшим красным шаром, но, пока она стояла и смотрела, оно начало бледнеть и сжиматься и сделалось под конец как пуля. И вдруг оно прорвалось из-за края леса и понеслось под гору прямо к ней. Она проснулась, прижимая ладонь к губам, а в ушах не такой громкий, но отчетливый раздавался все тот же звук. Это бык жевал листья у нее под окном. Мистер Гринлиф опять упустил его.

Она встала, в темноте пробралась к окну и глянула сквозь жалюзи, но бык успел отойти от кустов, и сначала она его не заметила. Потом чуть в отдалении различила что-то большое и темное. Бык перестал жевать и словно

разглядывал ее. Последняя ночь, больше я этого не потерплю, сказала она себе и смотрела до тех пор, пока железная тень не скрылась во мраке.

На следующее утро она выждала ровно до одиннадцати часов, села в машину и подъехала к коровнику. Мистер Гринлиф мыл молочные бидоны. Семь штук уже стояли снаружи за дверью доильни и прожаривались на солнце. Она две недели не могла добиться, чтобы он это сделал.

— Ну вот что, мистер Гринлиф,— сказала она,— ступайте возьмите ружье. Мы сейчас пристрелим того быка.

— Я думал, вы хотите, чтоб я бидоны...

— Ступайте возьмите ружье, мистер Гринлиф,— повторила она. Голос ее и лицо были лишены выражения.

— Молодец-то опять вырвался нынче ночью,— сокрушенно пробормотал он, еще ниже склонившись над бидоном, в который засунул руку.

— Ступайте возьмите ружье, мистер Гринлиф,— произнесла она в третий раз все тем же торжествующе невыразительным голосом.— Бык сейчас на выгоне с яловыми коровами. Я видела его из верхнего окна. Я отвезу вас туда, и вы сможете отогнать его на соседний луг и пристрелить.

Он неохотно выпустил из рук бидон.

— Виданное ли дело, пристреливать собственного быка своих родных сынов,— произнес он тонким скрипучим голосом.

Он вытащил из заднего кармана тряпицу и стал яростно обтирать руки, потом сморкаться. Она повернулась и пошла, будто ничего не слыхала, только бросив через плечо:

— Жду вас в машине. Ступайте за ружьем.

Из машины она смотрела, как он плетется на конюшню, где хранилось его ружье. Вот он вошел внутрь, и раздался грохот — видно, в сердцах отбросил что-то ногой. Наконец он вышел с ружьем в руке, обошел машину сзади, рывком открыл дверцу и повалился на сиденье рядом с миссис Май. Ружье он держал между колен и смотрел прямо перед собой. Он бы рад меня застрелить вместо этого быка, подумала она и отвернулась, пряча улыбку.

Утро было сухое и ясное. Она проехала четверть мили через лес и выехала на открытое место, где по обе стороны от узкой дороги простирались пашни и луга. Торжест-

во обострило все ее чувства. Отовсюду неслись пронзительные птичьи крики, яркая зелень лугов слепила глаза, небеса блистали невысшимой ровной синевой. «Весна!» — весело сказала она. Мистер Гринлиф чуть вздернул уголок рта, словно счел это величайшей глупостью. Перед вторым выгоном она затормозила, он с ходу вывалился из машины и, не оборачиваясь, с силой захлопнул дверцу. Потом отвел слегу, она проехала, он завел слегу на место и, не говоря ни слова, повалился обратно на сиденье.

Она медленно ехала кругом выгона, пока не разглядела быка — он мирно щипал траву вместе с коровами посередине выгона.

— Вон он, красавец, вас дожидается, — удовлетворенно сказала она, украдкой взглянув на свирепый профиль мистера Гринлифа. — Отгоните его на соседний луг, а я потом туда въеду и сама закрою ворота.

Он снова выскочил из машины, на этот раз нарочно оставив дверцу незакрытой, так что ей пришлось перегнуться через сиденье и захлопнуть ее. Она сидела и с улыбкой смотрела, как он шагает через выгон к противоположным воротам. Он делал шаг, подаваясь вперед всем телом, и тут же откидывался назад, словно призывал какие-то силы в свидетели, что действует по принуждению.

— Что ж, — сказала она вслух, как будто он все еще был рядом. — Это ваши родные детки вас заставляют, мистер Гринлиф.

О. Т. и Ю. Т. сейчас, наверное, животики надрывают, хохочут над ним. Она словно слышала их одинаковые гнусавые голоса: «Заставила папашу пристрелить нам этого быка. Папаше-то невдомек, что да как, он думает, это хороший бык. Ему пристрелить быка — нож острый».

— Если бы ваши сыновья хоть сколько-нибудь о вас думали, — продолжала она, — то приехали бы за быком. Удивляюсь я им.

Он обходил выгон по краю, видно, хотел открыть сначала ворота. Бык, черный среди пестрых коров, не сдвинулся с места. Он стоял с опущенной головой и непрерывно жевал траву. Мистер Гринлиф открыл ворота и стал обходить быка сзади. Шагах в десяти он замахал руками, ударяя себя по бокам. Бык лениво поднял голову, потом опустил и опять принялся за траву. Мистер

Гринлиф, нагнувшись, подобрал что-то с земли и со злобой швырнул в быка. Наверно, это был острый камень, потому что бык встрепенулся, пустился галопом и скрылся из виду за гребнем холма. Мистер Гринлиф, не торопясь, шагал за ним следом.

— Не рассчитывайте опять его упустить! — крикнула она и направила машину напрямик через выгон. Из-за кочек ехать пришлось очень медленно, и, когда она очутилась у ворот, ни мистера Гринлифа, ни быка нигде не было видно. Дальний выгон был меньше того, где паслись коровы, он лежал зеленой ареной, почти со всех сторон окруженный лесом. Она вышла из машины, сама закрыла ворота и постояла, высматривая мистера Гринлифа. Но он исчез бесследно. Она сразу разгадала его замысел. Он хочет, чтобы бык потерялся в лесу. Кончится все тем, что он выйдет к ней из-за обступивших выгон деревьев, приковыляет к машине и устало скажет: «Теперь его в лесу подите сыщите. Я, например, не смогу».

А она ему тогда ответит: «Мистер Гринлиф, если даже мне придется пойти в лес вместе с вами и провести там весь день, мы все равно найдем этого быка и застрелим. Вы его застрелите, пусть даже мне придется за вас спустить курок». И он, убедившись, что она говорит всерьез, вернется в лес и сам быстро пристрелит быка.

Она села обратно в машину и выехала на середину выгона, так, чтобы ему не далеко было к ней ковылять, когда он выйдет из леса. Она представила себе, как он сидит сейчас где-то там на пенечке и чертит палкой землю. Жду еще ровно десять минут по часам, решила она, а тогда начну сигналить. Она вылезла из машины, обошла ее спереди и села на передний бампер — отдохнуть в ожидании. Она вдруг почувствовала, что страшно устала, и, откинув голову на капот, закрыла глаза. Непонятно было, откуда такая усталость, ведь день еще только начался. Сквозь сжатые веки она ощущала докрасна раскаленное солнце над головой. Она попробовала было приоткрыть глаза, но белое сияние принудило ее закрыть их опять.

Какое-то время она просидела так, с закрытыми глазами, откинувшись на капот, сонно недоумевая, откуда эта усталость. Время представлялось ей сейчас расчлененным не на дни и ночи, а лишь на прошлое и будущее. Не удивительно, что она испытывает усталость, ведь она

пятнадцать лет без передышки работала. И она имеет право чувствовать себя усталой, как имеет право сейчас немного отдохнуть, прежде чем вернуться к работе. Перед лицом любого судьи она сможет сказать: «Я трудилась. Я не предавалась праздности». Вот и в эту самую минуту, когда она припоминает свою трудовую жизнь, мистер Гринлиф бездельничает где-то в лесу, а миссис Гринлиф, наверно, спит, распластавшись на земле над своей ямкой с бумажками. С годами эта женщина становилась все невозможнее, миссис Май считала, что она стала окончательно слабоумной.

— Боюсь, религия довела вашу жену до помрачения рассудка, — тактично намекнула она как-то мистеру Гринлифу. — Все хорошо в меру, знаете ли.

— Она исцелила одного, ему глисты все нутро выели, — ответил мистер Гринлиф, и она с омерзением отвернулась.

Бедные люди, думалось ей теперь, какое простодушие. На несколько мгновений она задремала.

Когда она выпрямилась и взглянула на часы, прошло уже больше, чем десять минут. Выстрела она так и не слышала. Ей пришла в голову новая мысль: что если бык разозлился на мистера Гринлифа за то, что тот швырял в него камнями, напал на него и забодал, пригвоздив к древесному стволу? Мало того: О. Т. и Ю. Т. еще, пожалуй, наймут себе какого-нибудь ловкача-адвоката и подадут на нее в суд. Вот уж воистину достойное завершение всех этих пятнадцати лет, что она мается с Гринлифами. Мысль эта даже доставила ей удовольствие, словно ей удалось придумать удачный финал для истории, рассказанной в кругу друзей. Впрочем, она тут же ее отбросила, потому что у мистера Гринлифа было ружье, а у нее — страховка.

Она решила посигналить. Встав, просунула руку в окно машины и дала три продолжительных и три коротких гудка, чтобы он понял, что терпенье ее истощилось. Потом вернулась на прежнее место и снова села.

Через несколько минут что-то отделилось от стены леса, некая темная, могучая тень раз или два вскинула голову и ринулась вперед. Еще через мгновение миссис Май поняла, что это бык. Он бежал к ней через выгон небыстрым галопом, весело, почти вразвалку, точно очень обрадовался новому свиданию. Она поискала глазами, не

вышел ли вслед за ним мистер Гринлиф с ружьем, но его не было. «Вот он, мистер Гринлиф!» — крикнула она и оглянулась, не идет ли он с другой стороны, но мистера Гринлифа было не видно. Снова посмотрела вперед — бык, пригнув голову, бежал прямо на нее. Она оставалась недвижима, не из страха, а от леденящего неверия. Она смотрела на черную молнию, устремленную к ней, словно утратила чувство расстояния, словно все еще не понимала его намерений, и бык успел зарыться головой ей в колени, как пылкий, истосковавшийся любовник, прежде, чем выражение ее лица изменилось. Один его рог пронзил ее и достиг сердца, другой обхватил сбоку и сжал в нерасторжимом объятии. Она продолжала глядеть вперед, но картина перед ее взором стала иной — стена леса теперь казалась темной раной на теле мира, который был одно небо, — и глаза у нее сделались как у человека, который внезапно прозрел, но не в силах вынести дневного света.

Сбоку, подняв ружье, к ней бежал мистер Гринлиф, и она его видела, хотя не смотрела в ту сторону. Она видела его приближение где-то за гранью незримого круга, а позади него чернела стена леса, а под ногами у него было небо. Он застрелил быка четырьмя выстрелами в глаз. Выстрелов она не слышала, но ощутила, как содрогнулось его большое тело, когда он, рухнув, приподнял ее и потянул на себя, и подбежавшему мистеру Гринлифу представилось, что она наклонилась и нашептывает на ухо зверю нечто, открывшееся ей в последние мгновенья.

<i>М. Тугушева. Гротески Фланнери О'Коннор</i>	5
<i>Перемещенное лицо. Перевод М. Беккер</i>	15
<i>Гипсовый негр. Перевод С. Белокриницкой</i>	60
<i>Судный день. Перевод А. Кистяковского</i>	81
<i>На вершине все тропы сходятся. Перевод М. Литвиновой</i>	102
<i>Береги чужую жизнь — спасешь свою! Перевод М. Зинде</i>	119
<i>Хорошего человека найти не легко. Перевод Л. Беспаловой</i>	131
<i>Соль земли. Перевод В. Муравьева</i>	148
<i>Озноб. Перевод И. Архангельской</i>	169
<i>Откровение. Перевод Ю. Жуковой</i>	197
<i>Хромые внидут первыми. Перевод М. Кан</i>	219
<i>Весной. Перевод И. Бернштейн</i>	260

Фланнери О'Коннор

**„ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА
НАЙТИ НЕ ЛЕГКО“.**

Редактор *А. Смирнова*

Художник *В. Кириллов*

Художественный редактор *А. Купцов*

Технические редакторы *Е. Гоц, Н. Андрианова*

Корректор *А. Илюхина*

Сдано в производство 26/VII 1973 г.

Подписано к печати 20/XI 1973 г.

Бумага 84×108¹/₃₂ тип. № 2 Бум. л. 4¹/₂.

Печ. л. 15,12.

Уч.-изд. л. 15,54. Изд. № 15440.

Цена 99 коп. Заказ № 560.

Издательство «Прогресс» Государственного
комитета Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, Г- 1, Зубовский бульвар, 21

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова
Союзполиграфпрома при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Редакция художественной литературы

ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ:

МУЛИН, Ларс. Взрыв. Роман. Перевод со шведского. Серия «Зарубежный роман о рабочем классе».

На шахте происходит взрыв, в результате которого погибают три человека. Кто виноват в их гибели, кто должен нести за это ответственность? Герой романа пытается выяснить причину катастрофы, а руководство шахты, напротив, всячески этому препятствует, стараясь замаять дело. К сложным обстоятельствам жизни героя прибавляется и личный конфликт — любимая девушка боится соединить с ним свою судьбу, ибо каждая жена шведского горняка живет в непрестанном страхе перед мыслью внезапно остаться вдовой.

**ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1974 ГОД
НА ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК
«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
ЗА РУБЕЖОМ»,**

который выпускают Всесоюзная государственная библиотека иностранной литературы и издательство «Прогресс». Сборник содержит литературно-критические рецензии, обзоры и аннотации (около 70 материалов в номере) на новейшие произведения художественной литературы, литературоведения и критики, драматургии и театроведения, литературы для детей и юношества.

Сборник предназначен для литературоведов, научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов и студентов, работников издательств, редакций журналов и газет, библиотек и всех интересующихся зарубежной литературой.

К сотрудничеству в сборнике привлечены квалифицированные специалисты в области современной зарубежной литературы, известные литературоведы и критики.

Периодичность сборника — 6 выпусков в год. Подписка принимается всеми отделениями Союзпечати с сентября 1973 года (индекс в дополнительном списке каталога Союзпечати 70931).